

Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

**ОТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
СРЕДНЕВЕКОВОГО СЛАВЯНИНА
К СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА**

Коллективная монография

Магнитогорск
2008

УДК 81
ББК Ш141.12
О 80

Рецензенты:

Доктор филологических наук, профессор
Магнитогорского технического университета
С. А. Песина

Доктор филологических наук, профессор
Челябинского государственного педагогического университета
Л. А. Глинкина

О 80 **От языковой картины мира средневекового славянина к современной русской языковой картине мира** : коллектив. монография / под ред. **С. Г. Шулежковой**: в 2-х ч. – Магнитогорск : МаГУ, 2008. – Ч. 2. – 270 с.
ISBN 978–5–86781–481–6

Данная книга представляет собой продолжение выпущенной в 2007 г. коллективной монографии. Как и первая часть, она подготовлена группой учёных, работающих над проблемой формирования русской языковой картины мира. В книге 4 раздела. В первом – «Фрагменты языковой картины мира средневековых славян» (по материалам памятников X–XI вв.) – раскрываются особенности сенсорного восприятия и анализируются этические ценности древних славян; их представления о мучителе как субъекте мучений в зеркале старославянской фразеологии. Во втором разделе описываются фрагменты языковой картины мира носителей русского языка по источникам XVII–XIX вв., в третьем излагаются результаты исследования современной русской языковой картины мира по лексикографическим данным (концепты «Грех», «Россия»), в четвёртом фрагменты русской языковой картины мира даны сквозь призму художественного сознания (Д. Мережковского, Е. Замятина, В. Распутина, В. Астафьева).

Монография адресована специалистам-филологам, студентам гуманитарных факультетов, а также всем, кого интересует история русского языка и русской культуры.

Художник-дизайнер: член Союза дизайнеров России **А. Г. Куликов**

УДК 81
ББК Ш141.12

ISBN 978–5–86781–481–6

© Магнитогорский государственный
университет, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	5
I. Фрагменты языковой картины мира средневековых славян (по материалам памятников X–XI вв.)	
Д. З. Сулейманова	8
Особенности сенсорного восприятия в зеркале старославянской фразеологии ..	8
Л. Н. Мишина	27
Вербализация представлений о мучителе как фрагмент концепта «Мученичество» в старославянском языке (на материале Супрасльской рукописи)	27
А. Н. Салимова	49
Устойчивые словесные комплексы как вербализаторы этических ценностей средневековых славян (на материале Зографского евангелия)	49
II. Фрагменты языковой картины мира носителей русского языка (по источникам XVII–XIX вв.)	
М. А. Коротенко.....	57
Устойчивые словесные комплексы фразеосемантического блока «наказать»/«освободить от наказания» как вербализаторы фрагментов языковой картины мира представителя церковной оппозиции второй половины XVII в. (на материале сочинений первого расколоучителя Ивана Неронова)	57
Н. В. Меркулова	72
Языковые единицы, репрезентирующие представления носителей русского языка второй половины XVIII столетия о наказаниях за различные отступления от закона (на материале следственного дела Ем. Пугачева).....	72
О. А. Арапов.....	85
Фразеологические средства обозначения представителей царства небесного в духовном фольклоре XIX в. (на материале сборника Е. А. Ляцкого).....	85
III. Опыты исследования современной русской языковой картины мира по лексикографическим данным	
Л. Н. Чурилина	93
Концепт <i>Грех</i> как фрагмент современного религиозного дискурса	93
И. А. Постникова.....	102
Имя собственное <i>Россия</i> как имя концепта: лексикографический аспект	102
О. В. Гневэк.....	111
Ирония как характерная черта русского языкового сознания и способы ее создания (по материалам «Универсального словаря»).....	111

IV. Русская языковая картина мира сквозь призму художественного сознания

А. Н. Михин	136
Бинарность художественного мышления Д. С. Мережковского, или «Жизнь, созерцаемая в аспекте культуры»	136
С. Л. Андреева	147
Истоки формирования концепта «Счастье» в антиутопии Евгения Замятина «Мы».....	147
С. А. Анохина	182
Вербализация концепта «Развитие» в творчестве В. Распутина 1994–2003 гг.	182
А. А. Осипова	228
Зона вербализаторов концепта «Смерть» с дополнительной семой, указывающей на следствия смерти, в творчестве В. П. Астафьева 1980–1990-х гг.	228
Литература	261
Словари	267

От редактора

Вторая часть коллективной монографии продолжает развивать идеи группы учёных Магнитогорского государственного университета, занимающихся проблемой формирования русской языковой картины мира. Организующим центром деятельности группы является Словарная лаборатория, где идёт работа над созданием фразеологического словаря старославянского языка и словаря крылатых единиц современного русского языка. Собранные при Словарной лаборатории картотеки старославянских устойчивых словесных комплексов (УСК), УСК памятников раскола XVII в. и следственных документов по делу Е. Пугачёва XVIII в., русской духовной поэзии XIX столетия, а также картотеки по языку писателей XX – начала XXI в. служат базой для наблюдений над процессами становления русской языковой картины мира.

Книга содержит 4 раздела. В первом – **«Фрагменты языковой картины мира средневековых славян (по материалам памятников X–XI вв.)»** – характеризуются особенности сенсорного восприятия в зеркале старославянской фразеологии, представления о мучителе как фрагменте концепта «Мученичество», анализируются этические ценности средневековых славян. Д. З. Сулейманова приходит к выводу о том, что семантическая система, которая выстраивается при анализе совокупности старославянских перцептивных УСК, совершенно специфична: «сенсорные системы зрения и слуха устроены особым образом – это духовное зрение и духовный слух, которые воспринимают и отражают в первую очередь феномены духовного мира. Сенсорная система вкуса и интерцептивные ощущения служат, главным образом, для уподобления явлений реального мира и нравственных, этических явлений. Тактильные и обонятельные ощущения не играют сколько-нибудь значительной роли в постижении божественного мира, конструируемого с помощью старославянского языка, и в поиске пути, по которому человек может приблизиться к этому миру». Л. Н. Мишина установила, что в Супрасльской рукописи *мучитель*, охарактеризованный 30 языковыми единицами в 357 употреблениях, – это не просто лицо, причиняющее мученику боль, физические и нравственные страдания. Это, прежде всего, человек, наделённый земной властью, впавший в смертный грех и погубивший свою душу. А.Н. Салимова А.Н. выделила важнейшие ценности средневековых славян – доброту, истину, верность, преданность, совесть, сострадание, любовь к ближнему.

Во втором разделе – **«Фрагменты языковой картины мира носителей русского языка (по источникам XVII–XIX вв.)»** – на материалах сочинений вождя раскола Ивана Неронова и допросных речей Ем. Пугачёва авторы глав исследуют представления наших предков о наказаниях. М. А. Коротенко предполагает, что в восприятии И. Нероновым

абсолютного плюса (от Бога) и абсолютного минуса (от земных властей) в системе наказаний и поощрений кроется его отказ от смирения и презрение к терпению. Н. В. Меркулова пишет, что языковые единицы, называющие различные виды наказаний в допросных речах самозванца, и сам контекст, в котором они использованы, характеризуют Е. Пугачёва как жёсткого, иногда жестокого человека, который безжалостно казнил и убивал своих противников вполне в духе своего жестокого времени. О. А. Арапов обнаружил в духовных стихах XIX в. «непропорциональность» представлений русского народа о Святой Троице: самыми частотными в духовных стихах оказались именованя Бога-Сына, в то время как Дух Святой и Бог-Отец предстают как бы производными от Иисуса Христа.

В разделе третьем – **«Опыты исследования современной русской языковой картины мира по лексикографическим данным»** – исследуются концепт «Грех» как фрагмент современного религиозного дискурса, «Россия» как имя концепта и ирония как характерная черта русского языкового сознания. Л. Н. Чурилиной на основе анализа организации лексического уровня фрагментов дискурса удалось создать в первом приближении представление о текстовом концепте «Грех»: «основу его составляет мысль о предназначении человека, о цели жизни»; грех мыслится «не как нарушение установленных норм и правил <...> но скорее как нежелание преодолеть расстояние между человеком и зоологическим явлением, живым, но не одухотворённым»; грех – «суть отказа от активной духовной деятельности, ведущий к разрушению человеческого в человеке». И. А. Постникова пришла к выводу о том, что образная составляющая концепта «Родина», или прагматический компонент, остаётся «за пределами лексикографических источников». О. В. Гневэк считает, что обогащение наличного арсенала ФЕ новыми ироническими значениями «свидетельствует не только об эволюции языка посредством языковой игры, но и о существенном усложнении» русской языковой личности.

В разделе четвёртом – **«Русская языковая картина мира сквозь призму художественного сознания»** читатель найдёт главы, посвящённые бинарности художественного мышления Д. С. Мережковского (А. Н. Михин), истокам формирования концепта «Счастье» в антиутопии Е. Замятина «Мы» (С. Л. Андреева), вербализации концепта «Развитие» в творчестве В. Распутина (С. А. Анохина), зоне вербализаторов концепта «Смерть» в творчестве В. П. Астафьева 1980—1990-х гг. (А. А. Осипова).

Содержание книги подтверждает мысль Т. И. Вендиной о том, что «язык культуры Средневековья, её ценностные ориентиры оказались во многом созвучны русской культуре, являясь нашим своеобразным “молчаливым наследием”» [Вендина 2002].

I.
Фрагменты языковой картины мира
средневековых славян
(по материалам памятников X–XI вв.)

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ЗЕРКАЛЕ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Устойчивые словесные комплексы (УСК) – сложные по своей структуре и семантике языковые единицы, поэтому при анализе их роли в формировании языковой картины мира должны учитываться два аспекта: во-первых, собственно фразеологическое значение, характеризующее единицу в целом, во-вторых, внутренняя форма УСК, предполагающая учет исходной семантики каждого из слов – компонентов устойчивого сочетания, которую они имели в свободном употреблении. Лингвисты часто обращают внимание именно на второй аспект, на выявление первоначального значения того образа, который, воплощаясь в УСК, становится знаком определенного явления. Некоторые исследователи говорят о синхронной этимологии, которая «имеет дело с такими фразеологизмами, внутренний образ которых пока еще «прозрачен» [Зимин: 55].

Фразеология «молодого», еще не имеющего длительной истории существования языка, каким являлся старославянский язык эпохи древнейших памятников славянской письменности, то есть язык X-XI вв., отличается именно прозрачностью внутренней формы ее единиц. Конечно, устойчивые словесные комплексы, наряду с лексемами, служат средством создания сложных систем метафоры и символики старославянского языка, которая имеет во многом заимствованный характер и которая поддержана многовековой предшествующей традицией, сформировавшейся в других языках, например, греческом. Но значение самих УСК в таком молодом языке, к тому же одновременно использовавшемся многими славянскими народами, должно было быть понятным для людей, пользующихся этим языком, должно было быть мотивированным. Даже если УСК калькируется с другого языка, он создается с опорой на грамматические, лексические, семантические законы принимающего языка, с опорой на реалии жизни людей, среди которых функционирует. При семантическом калькировании происходило расширение семантической структуры славянского слова, и эта новая расширенная

семантическая структура значения слова становилась уже фактом старославянского языка. Не случайно исследователями отмечается, что «уже в XI в. русский переводчик может использовать грецизмы (имеются в виду семантические грецизмы – ДС.) не только для передачи соответствующего греческого слова, но и вне зависимости от греческого оригинала» [Успенский: 61]. Полагаем, что в таком языке, как старославянский, невозможны УСК с затемненной внутренней формой, которая является следствием многообразных и длительных социальных и структурно-семантических изменений в национальном языке, например, таких как *гол как сокол, кричать во всю ивановскую, с первого абзуга* и тому подобных в русском языке.

Анализируя УСК старославянского языка, которые зафиксированы в проспекте «Фразеологического словаря старославянского языка: более 4000 единиц» под редакцией С. Г. Шулежковой, мы рассматриваем их семантику и их внутреннюю форму, анализируя семантику составляющих его слов. Рассмотрение связи слов внутри УСК становится актуальным для выявления семантических тенденций языковой системы в целом в силу повторяемости, частотности употребления УСК в речи и их прецедентного характера. Эта связь слов в составе УСК каузирована реальными связями явлений действительности и фиксирует постоянство связи между определенными денотатами. В таком аспекте значение слов-компонентов может рассматриваться вне контекста употребления самого УСК. Если перцептивное слово – компонент УСК – имело изначально метафорическое значение, то это обстоятельство оговаривается при анализе. В работе И. Г. Рузина «Когнитивные стратегии именованья: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке» такие сочетания, как *черная работа, сладкий сон* не рассматриваются [Рузин: 80]. Мы анализируем такое метафорическое значение слова, реализованное в УСК, как находящееся в причинно-следственной связи с исходным, перцептивным, как обусловленное ассоциативными отношениями между понятиями исходной сферы и новой, метафорической.

Для анализа были избраны те УСК из зафиксированных в проспекте «Фразеологическом словаре старославянского языка», которые связаны с сенсорной системой человека. Благодаря сенсорной системе, включающей зрение, слух, осязание, вкус, обоняние, человек воспринимает объекты окружающего мира через различные ощущения. Языковая фиксация ощущений (в данном случае через УСК и их составляющие) порождает те единицы, которые называют перцептивными. Какие именно устойчивые единицы мы будем в рамках этой статьи относить к перцептивным? Сравним, к примеру, три следующих УСК: **гласъ слышати**, **гласъ велии**, **гласъ искрь**. Сочетание **гласъ слышати** фиксирует сам процесс восприятия с помощью слуха. Сочетания **гласъ велии** и **гласъ искрь** обозначают источник перцепции, но не обозначают связи с самим процессом перцепции. Однако единица **гласъ велии** включает в себе сенсорные характеристики субмодусов, выделяемые для каждого из модусов перцепции. В данном случае это акустическая характеристика громкости. Единица **гласъ искрь** не имеет акустических характеристик и не является перцептивной, такие единицы будут привлекаться к анализу только для уточнения отдельных перцептивных характеристик.

Слуховое восприятие представлено УСК с существительным, обозначающим орган слуха (**оухо**): **вълагати въ оуши**, **внимати оухъмь**, **въннати въ оуши**, **приклонити оухо**, **оуши имѣти и не слышати**, **оухо не слышитъ**; с абстрактным существительным **слоухъ**: **въннати въ слоухъ**, **прострѣти слоухъ**, **слоухъ отъвръзати**; выражениями с аудиальным глаголом **слышати (послоушати)**, употребленным вне связи с названием органа слуха: **видяще не видятъ • и слышаще не слышатъ**, **послоушати словесъ**. Все эти единицы обозначают само состояние слушания, процесс восприятия звука и являются собственно перцептивными.

Но необходимо обратить внимание и на УСК, обозначающие явления, воспринимаемые слухом, то есть объекты перцепции, те звуки, которые зафиксированы старославянской фразеологией. Многочисленные в любом языке «звучащие» слова с семантикой звука определенного характера вроде

звон, шелест, шепот, гром, звенеть, брякать, шуршать, звонкий, скрипучий и т. п. не представлены среди слов-компонентов старославянских УСК (сравним с многочисленными фразеологическими единицами такого характера в современном русском языке: *под шумок, пустой звук, звонить во все колокола, ни звука, ветер свистит в ушах, стон стоит, метать громы и молнии* и т. д.). Единственная звукоизобразительная единица среди УСК старославянского языка – **скръжетание зъбы (скръжетъ зъбыни, зъбомъ)**. Основные для исследуемой системы источники звука другие, они связаны не с природными, естественными звуками, а с миром человека, являются звуками искусственными, созданными.

Фактически таких искусственных по источнику разновидностей звука две: это **гласъ** (а также **слово**) и **пѣние (пѣснь)**. Мы не считаем объектами аудиального восприятия явления, обозначенные такими встречающимися в составе УСК словами, как **молитва, рыдание, псаломъ, глаголъ** и им подобные, потому что в них акустический аспект периферийный, к тому же эти явления не имеют собственно акустических характеристик и не связаны в составе старославянских УСК с процессом восприятия слухом, с глаголом **слышати** и подобными ему. Словарное толкование таких единиц не будет основано на понятии *звук*; дефиниции же слов *глас (голос), пение*, полны аналогов – соответствующих старославянских слов, содержат понятие ‘звук’ как родовое (*голос* – звуки, возникающие в результате колебания голосовых связок при разговоре, крике, пении; *пение* – музыкальные звуки, производимые голосом). Слово **пѣснь** было в старославянском языке синонимично слову **пѣние** [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 560], значение ‘определенный жанр музыкального творчества’ у слова **пѣсня** еще не отделилось от значения ‘пение’. Если для выявления значимости «акустической» семы в значении слов **пѣние, молитва, рыдание** сопоставить их с мотивирующим глаголом, то становится очевидным, что для глаголов *рыдать* и *молить* акустическая семантика не является основной, так как значения этих глаголов не определяются через родовое

понятие звука, тогда как дефиниция глагола *петь* содержит это понятие – ‘издавать голосом музыкальные звуки’).

По характеру источника оба объекта слуховой перцепции – **гласъ** и **пѣннѣ** – показательно отличаются друг от друга. **Гласъ** – звук, источником которого может быть и Бог (**гласъ съ небесе, гласъ аггельскъ(н), трѣжвнъ, господнъ**), и человек (**чловечьскъ гласъ, гласъ вопищааго въ поустыни, гласити осан(н)ж**). Глас – это средство «взаимной коммуникации» в системе Бог – человек. УСК не фиксируют сопряжения понятий ‘глас’, ‘звук’ и понятий, связанных с ‘преисподней’: ад в старославянской фразеологии беззвучен, и его обитатели не обладают **гласомь**. **Пѣннѣ** же, в отличие от **гласа**, может исходить только от человека, но песни могут различаться по своему характеру: могут быть адресованы Богу (**пѣсни божиа, доуховныа, сионьскыа, пѣснь господня, евангельскаа, псалъмьска**), а могут быть связаны с повседневностью жизни (**пѣснь зъла, неприазнина, пѣснь погребению**). **Гласъ** и **пѣннѣ (пѣснь)**, безусловно, имеют и иные семантические особенности, которые могут быть выявлены при анализе других достаточно многочисленных УСК, содержащих эти лексемы и отраженных в проспекте «Фразеологического словаря старославянского языка». Но такие характеристики уже не атрибутируют акустическую природу **гласа** и **пѣннѣ** как разновидностей звука вообще и поэтому не будут здесь предметом нашего анализа (например, **гласъ выстъ, гласъ испощати, пѣснь съпѣти, пѣснь давидова** и др.).

Обычно выделяют следующие разновидности акустических характеристик звука, определяемые человеческим ухом: громкость, длительность, высоту, тембр. Звук, представленный в УСК из старославянских памятников, не имеет характеристик высоты, длительности, тембра, хотя в принципе фразеологией живого языка, например, русского, они отмечаются (*повышать голос, понижать голос, не своим голосом, тишь да гладь, бархатный голос, дурным голосом* и т. д.). Звук в УСК старославянского языка

имеет только одну из этих акустических характеристик – громкость. Характерно, что эта бинарная для человеческого восприятия характеристика, которая проявляется в оппозиции *тихий – громкий*, в старославянской фразеологии представлена только одним полюсом – наличия интенсивности признака, громкости: **великомь гласомь (реци, въскричати, въпити, възъпити), възъвати велнемь гласомь**. Второй оппозиит – *тихий, тишина* – УСК не фиксируется. Акустическая характеристика громкости, по данным исследуемой фразеологической системы, относится только к голосу – это единственный звук, который может и должен выделяться среди остальных, так как он выполняет роль коммуникативного средства между Богом и человеком. Слово, то, что следует понять, по-видимому, менее важно: главное – **услышать** Бога, воспринять его глас слухом, а не установить значение его слов. Именно поэтому **слово** также не имеет звуковой характеристики, оно может быть **истинное, святое, чьловечское**, но не громкое. Однако оно все же непосредственно связывается с процессом перцептивного восприятия с помощью глагола **слышати** в составе УСК (**послоушати словесъ**).

Восприятие мира через **зрение** также активно отражается УСК старославянского языка. Собственно перцептивными являются единицы, описывающие самый общий процесс визуального восприятия. Их составными элементами являются существительное, обозначающее орган зрения: **въ очию, очи възвести, очима (окомь) видѣти, очи поущати, прозьрети окомь, очи имжтъ и не оузржтъ, око не видитъ**; глагол **видѣти** вне сочетания со словом **очи**: **видиши сжчьць • иже естъ въ очесе брата твоего • а брьвна еже естъ въ очесе твоємь не чюеши**; глагол **зьрети**: **не зьрѣти на лице**.

Если определять вид сенсорной системы как один из перцептивных модусов, то для каждой системы можно выделить несколько субмодусов. Для визуального восприятия это субмодусы восприятия света, восприятия цвета, восприятия формы, восприятия размера [Рузин: 79]. В старославянской фразеологии представлен почти исключительно субмодус восприятия света и

очень незначительно – субмодус восприятия цвета. Совершенно неактуальны единицы, которые фиксировали бы восприятие субмодусов формы, размера, реализующиеся в языке через градуальные языковые оппозиции *большой – маленький, прямой – кривой, длинный – короткий, толстый – тонкий, высокий – низкий* (что касается последней оппозиции, необходимо уточнить, что слова, связанные с понятием *высокий* и *низкий* нередко встречаются в УСК, но они характеризуют не внешний вид объекта, а его положение в пространстве, причем в большинстве случаев на понятие положения в пространстве налагается еще и метафорический аспект: *высокий* – это небесный, божественный, а *низкий* – это относящийся к аду), *узкий – широкий* (зафиксирована одна единица, отражающая эту оппозицию – **широкъ(и) пѣть въводитъ въ пагоубѣж... тѣсны(и) пѣть въводитъ въ животъ**). Данные же современного языка, в отличие от языка старославянского, подтверждают актуальность субмодусов восприятия формы и размера для языкового сознания человека (ср. *заколдованный круг, за круглым столом; делать большие глаза, с большой буквы, от мала до велика, малую толику; идти прямой дорогой, кривить душой, руки коротки, с высоты своего величия; узкое место, во всю ширь* и многое тому подобное).

Субмодус восприятия света реализуется через оппозицию *светлое – темное*. Данные анализа УСК старославянского языка, безусловно, подтверждают тезис, сформулированный Т. И. Вендиной на основе анализа лексики старославянского языка: «Понятия света и тьмы в языковом сознании средневекового человека <...> строились на противопоставлении земного и божественного, причем они соотносились не столько с физическими явлениями, сколько с нравственными. Свет в представлениях средневекового человека – это сущностный атрибут Бога <...> Эта светоносная природа Бога распространяется и на его творения (ср. библейское учение о божественном происхождении света и его отделении от тьмы как первом божественном деянии). Поэтому свет в языковом сознании средневекового человека соотносится с миром (ср. **свѣтъ** ‘мир, свет’ [СС: 596]), причем с миром

земным и потусторонним, а именно с «пресолнечным раем», тогда как «тьма ассоциируется с адом» [Вендина: 240-241]. В УСК старославянского языка оппози́т *светлое* с «визуальным» значением ‘яркое, блестящее, сияющее’ представлен существительным: **свѣтъ очесоу (очию мою), свѣтъ мирови (мироу, мира), како свѣтъ (извѣсти правдѣ)**. В части выражений «визуальная» семантика реализуется не в самом значении, которое уже испытало смещение в сторону значения ‘мир, вселенная’, а скорее во внутренней форме: **свѣтъ сии(сь)** (свет – ‘мир’ ← ‘то, что можно видеть’, ‘то, что освещено’). Семантика устойчивых выражений может предполагать одновременную актуализацию, переключку двух значений и своеобразную семантическую игру между ними: **свѣтъ божии** (и ‘лучистая энергия’, и ‘мир’). Оппози́т *светлое* представлен также прилагательным: **свѣтлыи ангелъ, свѣтлыи камы**; производным существительными **свѣтильникъ: свѣтильникъ тѣлеси (тѣлоу) есть око • аще оубо вждеть око твое просто • все тѣло твое вждеть свѣтло; акы свѣтильници**. Прилагательное **свѣтлыи** может реализовываться в составе УСК и значение, метонимически связанное с исходным понятием света – **свѣтлая неделя**, т. е. посвященная богу, а следовательно, радостная.

Оппози́т *темное* (т. е. ‘черное, лишнее света’) представлен с помощью единиц с существительным **тьма: тьма безвѣдна(а), тьма бесвѣтна(а), тьма вѣнѣшнага, тьма вѣчнага, тьма грѣховнага, тьма кромѣшьнага, тьма прочага, тьма и мракъ**. Известное уже в старославянском языке метафорическое употребление слова **тьма** 1) в значении ‘неизвестное, непонятное’ проявляется в единицах **тьмна вода въ облацѣхъ, тьмнѣ(и) помыслѣ**; 2) в значении ‘много’ – в обороте **тьмами тьмы**. Эти метафорические употребления также реализуют понятие ‘лишение света’, но очень опосредованно, через этимологическую форму. Синонимично слову **тьма** слово **мракъ**, которое также служит источником образования фразеологических единиц: **мракъ грѣховныи, облакъ и мракъ**. На основе

значения 'темнота' у слов, производных от слова **мракъ**, формируется переносное значение 'утративший ясность': **омраченъ оумъмь**.

Оба члена оппозиции *светлое – темное* представлены в оборотах **свѣтъ въ тьмѣ, яко свѣтило въ тьмѣ мѣстѣ**.

Интересно, что слово **свѣтъ** в составе перечисленных фразеологических оборотов не имеет качественных характеристик: свет универсален, сакрален по своей природе, всеобъемлющ и качественно не определим. В составе УСК имеются только члены, характеризующие его источник – Бог, ангел (**свѣтъ божии, свѣтлыи ангелъ**) – и адресат – мир, очи людей, мирян (**свѣтъ очесоу (очию мою), свѣтъ мирови**). УСК не называют в качестве источника света солнце, в устойчивом употреблении понятие *свет* всегда связано с высшими силами или земными объектами, опосредующими эти силы, как в оборотах со словом **свѣтильникъ: свѣтильникъ телеси есть око, акы свѣтильници**). Возможно только уподобление света солнца и света, имеющего божественный источник: **яко лучь слъньчъныи, акы слънце сипати**.

В УСК со словом **тьма** также указывается источник – мир по ту сторону, ад, поэтому она **тьма кромѣшьнага** или **вънѣшьнага**. Но для того чтобы стать вселенской, эсхатологической, безусловной тьмой, совершенно не воспринимаемой зрением, именно тьмой, а не темнотой, в отличие от абсолюта – света – ей нужны дополнительные качественные интенсифицирующие характеристики, которые и реализуются УСК с помощью употребления тавтологичных по семантике сочетаний – **тьма и мракъ, тьма бесвѣтна(га)** – и количественных временных характеристик – **тьма вѣчна(га)**.

Восприятие модуса цвета представлено УСК крайне скудно. Собственно «хроматическими» словами являются только три слова: это прилагательные **чръныи** и **бѣлыи**, причем оба могут характеризовать один предмет: **чръныи ризы; бѣлыи ризы (сѣвлѣци)**, и глагол **оубѣлити сѧ** в выражении **паче снѣга оубѣлити сѧ**. Непосредственного изображения других цветов нет. Эта особенность средневековой эстетики – нежелание цвета – отмечалась

исследователями [Панченко: 9; Вендина: 245]. Наблюдения лингвистов, опирающиеся на лексический материал (кстати, также крайне бедный в смысле цветообозначения и позволяющий выделить только три цвета: белый, черный и красный), безусловно верны: «Широкая употребительность прилагательных *белый* и *черный* в памятниках старославянской и древнерусской письменности исследователями объясняется связью этих прилагательных с символическим значением: в соответствии с христианской символикой белый цвет является символом причастности к ангельскому чину, лику блаженных, святых, тогда как черный – символ причастности темным силам, сонмищу бесов, поэтому белый цвет воспринимался как символ спасения, тогда как черный – как символ греха и гибели человека» [Вендина: 246]. Фразеологический материал не дает, однако, возможности развить эту мысль. Как видим, во фразеологии *белый* и *черный* имеют отношение к миру материальному, но все же связанному с миром божественным через служение ему, что подтверждает мысль о том, что «...семантико-символическая парадигма этих цветов в метафорическом регистре подсказывает нам еще одно их символическое значение, связанное с идеей божественности: белый цвет используется в номинации человека, свободного от служения Богу (ср. **вѣлоризьць** ‘мирянин’ [СС: 106]), тогда как черный, наоборот, человека, принявшего обет монашества (ср. **чръница** ‘монахиня’ [СС: 783], **чръноризьць** ‘монах’ [СС: 83]...)» [Вендина: 247].

Кроме лексем, непосредственно своей семантикой передающих цвет, можно относить к языковым средствам выражения модуса цветовосприятия и слова, опосредованно, только на периферии своего значения или ассоциативно выражающие цвет. Такие слова обозначают так называемые эталоны ощущений, которые, во-первых, могут быть включены в самую словообразовательную структуру (например, *лимонный*, *вишневый цвет*) или, во-вторых, могут находиться вне слова и выражаться с помощью сравнительного оборота (*мягкий, как бархат*; *желтый, как лимон*) или конструкции с родительным качества (*цвет вишни, ощущение шелка*) [Рузин: 80]. В старославянском языке отмечены УСК визуального восприятия,

построенные на основе сравнительного оборота. В УСК **яко снѣгъ ризы (одѣяние его) вѣлы и паче снѣга оубѣлити сѧ** то, что слово **снѣгъ** актуализировано именно как эталон цвета, подчеркивается с помощью хроматического прилагательного **вѣлъ** и глагола **оубѣлити сѧ**. По-видимому, в сочетании **яко трава (трѣва) въсияти** трава также может рассматриваться как эталон зеленого цвета, что актуализировано с помощью абстрактного глагола визуальной семантики **въсияти**. Поскольку в метафорике церковно-богослужебной литературы трава выступает как символ недолговечности, бренности человеческой жизни, то и зеленый цвет, цвет травы вбирает в себя метафорический план обозначения скоротечности всего земного, его умирания, подобного увяданию зелени. В выражении **яко сребро (слезы капаахъ по ланитамъ)** лексических актуализаторов значения цвета нет, но сама семантика оборота выявляет как основание сравнения именно аспект цвета (это цвет серебра, также разновидность белого цвета), допущение здесь других признаков в качестве основания сравнения затруднительно.

Сенсорные системы зрения и слуха являются наиболее важными для человека среди всех сенсорных систем, поэтому естественно, что и во фразеологии старославянского языка они представлены самым большим количеством единиц. Первостепенность этих двух сенсорных систем и их взаимосвязь подчеркивается в старославянской фразеологии двойными формулами: **око не видитъ и оухо не слышитъ; очи имжтъ и не оузрьятъ • оуши имжтъ и не оуслышатъ**. Обе сенсорные системы имеют в рамках исследуемой языковой системы одну особенность: сенсорное восприятие в сакральном мире, создаваемом старославянским языком, совершенно специфично, оно чрезвычайно узко направлено, сфокусировано на мире божественном, потустороннем. Зрение и слух в рамках картины мира, создаваемой старославянским языком, – это духовное зрение и духовный слух. Сенсорное восприятие реального мира очень мало маркируется фразеологическими средствами. Старославянский язык последовательно создает формулы отрицания, подчеркивающие противопоставленность

мирского зрения и слуха и духовного: человек может иметь орган зрения, быть зрячим и не видеть в сакральном аспекте, иметь орган слуха, быть слышащим и не слышать: **ОЧИ ИМЖТЪ И НЕ ОУЗЪРЯТЪ • ОУШИ ИМЖТЪ И НЕ ОУСЛЫШАТЪ; ОКО НЕ ВИДИТЪ И ОУХО НЕ СЛЫШИТЪ.**

Именно отрешенность сенсорного восприятия от мира реального, сфокусированность на мире вышнем обуславливает то обстоятельство, что количество субмодусов сенсорного опыта человека, изображаемого самой системой старославянского языка, как уже было отмечено, ограничено. В этом мире человек видит свет и тьму, но «не различает» форму, для него не важны размер и цвет. Слышит он только свое пение, направленное к Богу, и глас (или слово), который направлен от Бога к человеку или от человека к Богу, причем воспринимает этот глас как великий, громкий, всеподчиняющий, но не воспринимает всего многообразия звуков мира. Таким образом, по данным старославянских памятников, для восприятия сенсорными системами верующего человека естественны только две ипостаси божества – свет и глас (логос, слово), другие сенсорному опыту человека недоступны и непостижимы для него.

Отсутствие у человека доступа к визуальному или аудиальному восприятию всего, что связано с Богом, фиксируется фразеологическими средствами, но это также отсутствие именно духовного зрения (**ослѣпити очи, очеса съмѣжити, слѣпць слѣпца водитъ, видима(ѿ) и невидима(ѿ), затворити очи (кому) и духовного слуха (затыкати оуши, затъкнѣти слоухъ, глоухъ и нѣмъ).**

В многочисленных психологических исследованиях давно доказано, что из всех видов перцепции наиболее значимым для человека является визуальное восприятие, так как именно с помощью зрения в норме мы получаем основную часть информации о мире. Второй по значимости сенсорной системой является слух. Это обстоятельство находит свое отражение, например, во фразеологической системе русского языка, где количество единиц, связанных исходной формой с визуальной сферой, превышает количество единиц,

связанных с аудиальной сферой. Но иначе обстоит дело во фразеологии старославянского языка. В клерикально ориентированной языковой картине мира, реконструируемой по данным фразеологии, более значимой оказывается информация, получаемая через слух. Такой вывод можно сделать не столько на основе статистического подсчета, который обнаруживает количественное преобладание единиц, связанных с аудиальной системой, хотя оно не столь значительно, сколько на основе анализа семантических особенностей. УСК старославянского языка подчеркивают, что зрительное сенсорное восприятие может быть ошибочным, оно не всегда ведет к постижению истины: **ВИДИШИ СЖЫЦЬ • ИЖЕ ЕСТЬ ВЪ ОЧЕСЕ БРАТРА ТВОЕГО • А БРЪВНА ЕЖЕ ЕСТЬ ВЪ ОЧЕСЕ ТВОЕМЪ НЕ ЧЮ~ШИ**. К тому же отсутствие зрения вообще не мешает постигать истину, что подтверждено фразеологией: можно **ВЕЗЪ ОЧИЮ ВИДѢТИ**. То же, что слышимо (звук, голос, слово) выражает суть: **ИСХОДЯЩАГА ИЗЪ ОУСТЪ ОТЪ СРЪДЦА ИСХОДИТЬ**.

Перцептивные УСК, связанные со **вкусовой и тактильной сенсорными системами**, представлены в старославянском языке значительно в меньшем количестве, чем УСК, связанные с визуальной и аудиальной системами. Наличие вкусовых ощущений обусловлено теми процессами, которые обозначаются глаголами *пить, есть* и им подобными. Такие глаголы фиксируются и в старославянской фразеологии: **пастн хлѣбъ, насытити чрѣво, сънѣсти плѣть и пити кръвь его**, но собственно вкусовые ощущения не обозначены какими-либо компонентами внутри этих единиц. В наиболее абстрактном виде сам процесс восприятия вкуса представлен глаголами *вкушать, пробовать*, а результат этого процесса – словом *вкус* (ср. в современной фразеологии *входить во вкус, пробовать на вкус, быть по вкусу, вкушать плоды* и т. д.). В Проспекте фразеологического словаря старославянского языка отмечены две единицы, включающие в себя глагол **въкоусити**: **въкоусити вина, въкоусити съмръти**. Во втором из этих УСК глагол **въкоусити** изначально имеет переносное значение, на базе которого и сформировался УСК.

Среди разновидностей вкусовых ощущений традиционно выделяют вкусы сладкого, соленого, кислого, горького, иногда также выделяют вкус вяжущий, резкий, острый, вкус пресной воды. В составе УСК старославянского языка зафиксированы слова, обозначающие: 1) вкусы сладкого и горького: **въ сласть, сладость имѣти, сласти житєискыѧ, сладѣкаѧ жизнь, змиѧ сладѣка беседою • нѣ горька льсти\;** **сладѣкъ паче меда** и 2) вкус кислого: **вино кысѣло** (кисло, молодо), **оцѣтно вино** (с вкусом оцета-уксуса, кисло). Как и в лексических единицах, описывающих восприятие цвета, восприятие вкусовых ощущений, может передаваться через использование понятий-эталонов. Как видно из примеров, в качестве эталона вкусового ощущения кислого в старославянском языке служит вино (виноград), а ощущения сладкого – мед. Зафиксированы и УСК со словом **квасъ**, которое этимологически связано со словом *кислый*, но эти УСК, например, **квасъ хлѣбьныи** не демонстрируют самого восприятия соответствующего вкуса. Слов, передающих восприятие соленого вкуса среди фразеологизмов не зафиксировано, но упоминание самого эталона этого вкуса есть: **слово солью растворено, соль земля**.

Таким образом, восприятие вкуса представляет практически все субмодусы этой сенсорной системы – и сладкий, и кислый, и горький (да и соленый, хотя и опосредованно, через внутреннюю форму уже ставшего переносным значения слова-эталона данного субмодуса). Такое «разнообразие вкусов» можно отметить и в современной фразеологии: *кислая мина, горькая пилюля, пить горькую, соленая шутка, в зубах вязнет* и т. д.).

Если обратиться к анализу источников вкусового ощущения, которые обозначены словом в пределах самого УСК, то станет понятным, что вкусовые ощущения так же, как и ощущения слуховые и зрительные, моделируют в старославянском языке особый, духовный мир, «параллельный» миру реальному: даже вкус есть не столько у вещей материальных, реально обладающих вкусом (таковым, по сути, в наших единицах является только вино (виноград): **вино кысѣло, оцѣтно вино**), сколько у абстрактных, духовно-

нравственных явлений (**сласти житєискыѧ, сладъка жизнь, змиѧ сладъка бесѣдоуж • нъ горька льстиѭ**). То есть в большинстве случаев лексема вкусового ощущения (собственно говоря, в нашем случае это только слова, передающие понятие сладкого), в свободном сочетании уже имеет переносное метафорическое значение, которое является первоначальным для формирования УСК.

Представление вкусовых ощущений в старославянской фразеологии в большей мере характеризует реальную, земную жизнь, суетное бытие человека, прельщаемого земными благами и, в отличие от перцептивных УСК, связанных с аудиальной и визуальной сенсорными системами, демонстрирует мало связи с миром божественным, которому модус вкуса, видимо, не свойствен.

Тактильная сенсорная система, по данным анализа фразеологической системы старославянского языка, также связана с реальной, земной жизнью. Восприятие субмодусов тактильной модальности – качества поверхности, консистенции, температуры, массы, которые реализуются в языке через оппозиции *гладкий – шероховатый, холодный – теплый, легкий – тяжелый, мягкий – жесткий* и т. п., переданные с помощью перцептивных лексем, являющихся членами данных градуальных оппозиций, в старославянской фразеологии практически не представлено. В Проспекте отмечена только одна из характеристик качества поверхности (**магъка риза**) и одна единица, характеризующая восприятие температуры (**огньмь жегомъ**). Примечателен факт, что старославянский язык практически игнорирует отмечаемое исследователями противопоставление «тепло – холод – древний архетип, воплощающий идею жизни и смерти» [Григорьева: 69], хотя он становится базой возникновения многочисленных фразеологических единиц в других языках, например, в русском (ср. *бросает в жар, чужими руками жар загребать, ни жарко ни холодно, гореть огнем, под горячую руку, окатить холодной водой, кровь холодеет, горячие головы, ядерная зима* и многие другие). «Температурная характеристика» остается вне фразеологического состава старославянского языка.

Таким образом, воздействие внешнего мира на тактильную систему не является важным в зафиксированной фразеологией части языковой картины мира, создаваемой старославянским языком. Эта обстоятельство подтверждается и тем, что не обнаружены УСК, содержащие такие перцептивные глаголы, как **КАСАТИ СЯ**, **ОСЯЗАТИ**, которые, собственно, и обозначают процесс получения осязательных ощущений (ср. с современным русским языком: *тронуть пальцем, приложить руки, затрагивать за живое* и т. д.)

Но вопрос с определением границ модуса тактильной чувствительности осложняется тем обстоятельством, что перечисленные субмодусы, например, температуры (*холодное – горячее*), массы (*тяжелое – легкое*), качества поверхности (*твердое – мягкое*) могут характеризовать не только восприятие собственно кожными, но и иными рецепторами, например, температуру человек может ощущать «извне» – тактильно – и «изнутри», как температуру своего тела, тяжесть – кожными рецепторами и всем телом и т. д. Поэтому мы считаем примыкающими к тактильным ощущениям и другие разновидности выделяемых физиологами ощущений, например, ощущения гравитации, вибрации, а также ощущения, обозначаемые некоторыми психологами как проприоцептивные (кинестетические), «отражающие движение и относительное положение частей тела благодаря работе рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях и суставных сумках» и интероцептивные (органические), сигнализирующие с помощью специализированных рецепторов о протекании обменных процессов во внутренней среде организма» [Кратк. психол. словарь: 247]. Глагол **ЧЮТИ (ЧЮГАТИ)**, скорее всего, и характеризует интероцептивные ощущения человека: **НЕ ЧЮТИ СЕБЕ, ВИДИШИ СЯЧЬЦЬ • ИЖЕ ЕСТЬ ВЪ ОЧЕСЕ БРАТРА ТВОЕГО • А БРЪВНА ЕЖЕ ЕСТЬ ВЪ ОЧЕСЕ ТВОЕМЪ НЕ ЧЮЕШИ, НЕ ЧЮЕТЪ ШЮИЦА (ТВОЯ) • ЧЬТО ТВОРИТЪ ДЕСНИЦА (ТВОЯ)**. Интероцептивная разновидность ощущений представлена старославянской фразеологией скупой: это внутренние ощущения боли, причем метафорической, душевной боли (**БОЛѢТИ ДОУШЕЮ**) и

нетипичное для живого организма ощущение неподвижности какого-либо органа (**окаменение срьдъца, прильпе ѡзыкъ мои грѣтани моеь**).

Таким образом, внешний мир дает старославянскому языку мало поводов для фиксации экстероцептивных тактильных ощущений в УСК, несколько чаще УСК старославянского языка фиксируют интероцептивные, внутренние ощущения человека, но и они не представляют большого интереса с позиций семантической системы старославянского языка, так как УСК говорит нам, что чаще человек **не** чувствует (во всех указанных выше единицах глагол **чюти (чюати)** употреблен с отрицанием **не**).

Воздействие на еще одну сенсорную систему человека – обоняние – не зарегистрировано в «Перспекте фразеологического словаря старославянского языка». Среди компонентов УСК данного свода не встречаются слова, обозначающие характер запаха или его наличие. Возможно, в готовящийся словарь старославянской фразеологии можно включить не зафиксированную в Перспекте достаточно частотную единицу, отмеченную в «Старославянском словаре»: **ноздри имѣтъ и не обоняютъ** [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 383]. Но и эта единица фиксирует не наличие воздействия на обонятельную систему, а его отсутствие.

По-видимому, обонятельная сенсорная система наименее значима для человека в клерикально ориентированном мире, отраженном старославянским языком (ср. с русским: *потерять нюх, не нюхал (чего-л.), пороха не нюхал, запахло порохом* и т. д.). Вероятно, не случаен тот факт, что в Перспекте в составе старославянских УСК неоднократно упоминаются различные части лица и тела человека: **очи, оуши, оуста, зѣбы, ѡзыкъ, ланиты, выпѣ, прѣси, жтробѣ, срьдъце, рѣка, нога, прѣсты**, но слова **ноздри (нос)** нет. Совершенно иная картина в современном русском языке, где эта выдающаяся часть лица стала частью значительного числа фразеологизмов: *совать под нос, тыкать в нос, вешать нос, нос к носу, кровь из носу, держать нос по ветру, утереть нос* и многие другие.

Ощущения, получаемые с помощью различных модусов перцепции, могут становиться источником дальнейшей метафоризации. Выше отмечались те лексемы, которые в составе УСК выступают не в своем исходном перцептивном значении, а в переносном, сформировавшемся на его базе. Таковы единицы, связанные с модусом зрения: **тъмьнѣ (и) помыслѣ, тъмьна вода въ облацѣхъ, омрачѣнѣ оумомѣ, свѣтъ сѣ, свѣтълага недѣла, свѣтъ божи**, с модусом вкуса: **сласти житенскыѣ, сладкага жизнь, въкоусити съмръти**, с интероцептивными ощущениями: **окаменение сръдца, болѣти доушею**. Появление переносных значений свидетельствует о большой степени ассоциативной нагруженности семантики перцептивных лексем, которая наделяет их возможностью уподоблять явления, делать их понятнее и ближе человеку. Высокая способность перцептивных единиц создавать метафорическую проекцию в полной мере реализовалась в живых славянских языках, безусловно вобравших в себя, в частности, и лексико-фразеологический фонд старославянского языка. Например, в русском языке мы имеем многочисленные фразеологизмы, реализующие метафорическое значение слов, связанных со сферой ощущений, и широко распространенные метафорические употребления (например, *шероховатости в законе, вкус денег, сладкие обещания, красные СМИ, горячая точка, коричневый патриотизм* и др.).

Современному языку свойственно также такое явление, как языковая синестезия. Синестезия предполагает перенос качеств одной сенсорной системы в другую: *мягкий свет* (тактильная → визуальная), *вкусный цвет* (вкусовая → визуальная), *яркий звук* (визуальная → слуховая), *острый вкус* (тактильная → вкусовая) и т. д. Такое явление можно отметить и в старославянской фразеологии, правда, в зачаточном состоянии: **гласѣ тъжкъ**. По-видимому, уже в старославянском языке реализовывалась тенденция, отмечаемая исследователями для современных языков – «явление гравитационной синестезии в музыке (шире – в восприятии звука вообще – Д.С.), отражающееся в языке в таких синестетических переносах, как *легкая музыка, грузный аккорд, тяжелый рок, баритон*» [Григорьева: 26].

Анализ отраженных в языке процессов восприятия важен для выявления и понимания многих деталей языковой картины мира, определяемой языком. Процесс восприятия – это не процесс фотографирования окружающего мира, как отмечают психологи; восприятие «всегда связано с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией» [Крат. психол. словарь: 52]. Восприятие – не пассивное копирование мгновенного воздействия, а живой, творческий процесс познания. Отбор и словесное маркирование самых существенных для этого процесса познания мира узлов осуществляется при помощи языка, например, его лексико-фразеологической системы. Язык фиксирует тем или иным способом, в том числе частотностью употребления, которая влияет на процесс фразеологизации словесных сочетаний, те ощущения, которые важны для человека – его носителя и создателя, – на которые он мотивирован, которые являются для него ключевыми в постижении мира.

Семантическая система, которая выстраивается при анализе совокупности старославянских перцептивных УСК, совершенно специфична: как отмечалось выше, сенсорные системы зрения и слуха устроены особым образом – это духовное зрение и духовный слух, которые воспринимают и отражают в первую очередь феномены духовного мира. Сенсорная система вкуса и интероцептивные ощущения служат, главным образом, для уподобления явлений реального мира и нравственных, этических явлений. Тактильные и обонятельные ощущения не играют сколько-нибудь значительной роли в постижении божественного мира, конструируемого с помощью старославянского языка, и в поиске пути, по которому человек может приблизиться к этому миру.

Источники

Перспект: Фразеологический словарь старославянского языка : более 4000 единиц. Перспект / под ред. С. Г. Шулежковой. – М. : Магнитогорск : ООО «Издательство ЭЛПИС»; Магнитогорск. гос. университет, 2006. – 340 с.

**ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МУЧИТЕЛЕ
КАК ФРАГМЕНТ КОНЦЕПТА «МУЧЕНИЧЕСТВО»
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СУПРАСЛЬСКОЙ РУКОПИСИ)**

Концепт, будучи глобальной единицей мыслительной деятельности [Попова, Стернин 2001, 2005], обладает сложной структурой. Для её описания в лингвистике используются различные методики, одной из которых является методика фреймового анализа. Фрейм представляет собой структуру знаний, пакет информации об определённом фрагменте человеческого опыта, стереотипной ситуации [Кобозева 2000: 65]. На наш взгляд, методика фреймового анализа является оптимальной для построения структуры концепта «Мученичество», что связано с некоторыми особенностями жанра житийной литературы.

Церковная литература, по словам Д. С. Лихачёва, обладала наибольшей устойчивостью среди всех средневековых литературных жанров [Лихачёв 1973: 54]. Внимание авторов житий было обращено на неизменяемые сферы или на те, которые представлялись ему неизменяемыми, «вечными» [Лихачёв 1973: 69], что влекло за собой описание стереотипных ситуаций и характеров, которые создавались при помощи использования определённых трафаретных языковых формул, требуемых литературным этикетом [Лихачев 1967: 85]. Принятие мук во имя веры, описываемое в средневековых текстах житий мучеников, могло быть создано только по определённому канону, при помощи описания типичных ситуаций. Являясь образцовой, типичной, неизменяемой в основных своих характеристиках с точки зрения средневековых авторов, ситуация мученичества является фреймовой, и при анализе вербализаторов концепта «Мученичество» нам кажется целесообразным использовать именно методику фреймового анализа.

Фрейм – это когнитивная структура, состоящая из терминальных узлов – инвариантных частей и слотов – их вариативного наполнения [КСКТ: 241, 327].

В состав фрейма входят знания и типические представления не только о самой ситуации, но и об ожидаемых свойствах её участников [Красных 2002: 165]. По мнению Л. А. Шестак, любой из существующих фреймов реализует аспекты исходного прафрейма – борьбы Космоса с Хаосом и предполагает наличие в своей структуре бинарной оппозиции – двух противостоящих друг другу объектов [Шестак 2003: 164]. Следовательно, основные терминальные узлы фрейма *Мученичество* – участники процесса мучения (мучитель и мученик), а их слотовые наполнения – конкретные представления об участниках процесса мучения. Несомненный интерес в этом плане представляют единицы терминального узла *мучитель*. К числу этих единиц относятся слова и устойчивые словесные комплексы (УСК), содержащие в структуре значения интегральную для всех вербализаторов концепта «Мученичество» сложную сему *‘боль, физическое страдание во имя веры’*. Данные единицы могут быть разделены на следующие группы:

1. Слова и УСК, объединённые значением *‘человек, причиняющий кому-либо боль, подвергающий кого-либо физическому страданию’* (всего 11 единиц): *мжчитель, гоубитель, гонитель, томитель, казньць, коментарисии, капикларии, стражь, сѣчьць, тьмьничьныи стражь, мжчани слоуга*.

2. Слова и УСК, в структуру значения которых входит сема *‘обладать властью’* (30 единиц):

– слова и УСК, объединённые значением *‘человек, обладающий властью причинять боль, подвергать физическому страданию’* – *владька, цѣсарь/кѣсарь, кѣназь, творьць закономъ, воєвода* и др.

– слова и УСК, объединённые значением *‘обладать властью причинять боль, подвергать физическому страданию’* – *власти, възати власть, цѣсарьствовати, старѣшиньствовати, на старѣшиньство прити* и др.

3. Слова и УСК, объединённые значением *‘эмоциональное состояние человека, причиняющего боль, подвергающего кого-либо физическому страданию’* (25 единиц):

– слова и УСК, объединённые значением *‘эмоциональное состояние гнева, ярости’* – гнѣваниѣ, възвѣшениѣ, ярость гнѣва, ярость звѣриньска и др.;

– слова и УСК, объединённые значением *‘пребывать в эмоциональном состоянии гнева, ярости’* – възвѣсьнѣти, възвѣсити сѧ, гнѣвати/разгнѣвати сѧ, възарити сѧ, възещи сѧ гнѣвомъ, испълнити сѧ ярости, прѣвъзвърѣти яростиѣ, испълнѣнъ гнѣва (быти) и др.;

– единица со значением *‘избавление от эмоционального состояния гнева, ярости’* – раздрѣшениѣ.

4. Слова и УСК, объединённые значением *‘язычник как человек, причиняющий кому-либо боль, подвергающий кого-либо физическому страданию’* (25 единицы):

– единицы, объединённые семой *‘поклоняться/поклониться языческим богам’* – жрьти/пожрьти богоу(омъ)/вѣсоу(омъ)/капищемъ/камению, вѣсомъ/капищемъ поклонати/поклонити сѧ, коумиромъ/богомъ слоужовати/слоужити и др.;

– единицы, объединённые семой *‘поклонение языческим богам’* – жрьтик соукътьнымъ богомъ;

– единицы, объединённые семой *‘совершать жертвоприношения языческим богам’* – жрътвно ѡсти, ѡсти жрътвы мрътвыимъ;

– единицы, объединённые семой *‘жертвоприношение языческим богам’* – скврънаваѧ жрътва, жрътва крѣвава;

– единицы, объединённые семой *‘место поклонения языческим богам’* – храмъ коумирьскыи, мѣсто коумирьско, капище нечисто/поганьскоѣ, црѣкъвище капищноѣ, капище/црѣкъвище артемидово, капище/црѣкъвище аполоново, храмъ аполоновъ и др.;

– единицы, объединённые семой *‘языческое божество’* – коумиръ бездоушъныи/жрътвъныи/вещоувъствъныи, камѣныи богъ, артемида, асклипии и др.

Языковые единицы, объединённые значением 'человек, причиняющий кому-либо боль, подвергающий кого-либо физическому страданию'

Данную группу составляют 11 единиц в 32 употреблениях: *мжчитель* «мучитель, палач» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 344], *гоубитель* «губитель» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 180], *гонитель* «преследователь, гонитель» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 174], *томитель* «мучитель» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 689], *казньць* «воевода» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 208], *коментарисии* «тюремный надзиратель» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 210], *капикларии* «тюремный надзиратель, надсмотрщик» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 208], *стражь*, *сѣчьць* «палач» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 680], *тьмьничьныи стражь* «тюремщик, тюремный надзиратель» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 627], *мжчи слоуга* «палач» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 344]. Слова *мжчитель*, *гоубитель*, *гонитель*, *томитель* называют инициаторов мучения христиан, что подтверждается контекстами употребления данных языковых единиц. Мучители самостоятельно изобретают муки, которым они подвергают христиан: *и многа ѿрость звѣриньска дивизаше сѧ · ѡтъ несправедныхъ на благовѣрныхъ <...> и различни ѡбрази мжкъ примышлѣни бываахъ · и мжчимий неославили* [СР: 85, 9–14]; советуясь друг с другом, выбирают, какому именно наказанию подвергнуть христианина: *сѣвѣтъ же сътвориша мжчителѣ рекоста · сѧ ѡстанькы ѡште сице ѡставимъ · възати ѧ имжтъ крѣстиани · и наплѣнити въсь миръ · нь придѣте да ѧ въврѣжемъ въ рѣкж* [СР: 80, 24-28].

Единицы *коментарисии*, *капикларии*, *стражь*, *сѣчьць*, *тьмьничьныи стражь*, *мжчи слоуга* обозначают исполнителей, выполнявших приказы о нанесении христианам различных мук: *коментарисии рече · савина повелѣ ваше величие въ затворѣ быти · ѡште ли велиши се станеть прѣдъ твоимъ сѧдилиштемъ* [СР: 147, 2-5]. Контекст, в котором употреблялись данные языковые единицы, свидетельствует о том, что зачастую это были пассивные исполнители, не очень тщательно выполнявшие свои обязанности. Так, тюремщики позволяли заключённым под стражу христианам общаться со своими единовѣрцами: *бывъшема же ѡма въ вси вардѣховъ · и приближивъша сѧ къ тьмници ·*

*идеже вси крѣстиани затворени вѣахъ . и припадъша къ тѣмничьноуоумоу
 стражоу молиста и . да вѣидета въ тѣмницѣ [СР: 255, 20-25]; блаженъи
 кодрать <...> прихода къ тѣмничьноуоумоу . стражоу . и къ войномъ даа
 имъ много злато . безъ соумьнѣниа затворенѣи тоу братии слоужааше .
 комоуждо ихъ потрѣвнокъ приноса [СР: 98, 14–21]. Более того, тюремщик,
 видевший стойкость христиан в принятии мук за веру, мог сам принять новую
 веру и таким образом получить прощение и вечную жизнь: *ѣдинъ же капикларии
 вѣаше вѣда . и послушала молаштѣ са ихъ <...> . и зѣра свѣта иже о нихъ
 . и вѣзрѣвъ на небо . хота видѣти отъкждоу ѣсть свѣтъ . видѣ вѣнѣца
 съходашта на главы сватыхъ . числомъ лѣ <...> и съврѣгъ ризы съ себе на
 лица ихъ . вѣскочи вѣ ѣзеро вѣпиа и глагола . и азъ крѣстианъ ѣсмъ . и
 вѣшедъ посрѣдѣ ихъ рече . господи боже вѣроуѣ въ та . вѣ нѣже и си
 вѣроваша . и вѣчѣти ма вѣ нѣ . и съподоби ма искоушениѣ мжкъ приати .
 ѣко да и азъ искоушенъ вѣдѣ [СР: 78, 3–23].**

Те единицы, которые называют непосредственных инициаторов мучения, имеют в структуре своего значения дополнительную сему ‘представитель власти’. Она реализуется в таких наименованиях, как *мжчитель, дръжани мжчительство, томитель и казньць*. Слово *мжчитель* в старославянском языке было многозначным и, помимо значения ‘мучитель, палач’, сохранившегося до настоящего времени, имело ещё значение ‘властелин’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 344], причём в Рыльских листках у этого слова реализуется только второе значение, о чём свидетельствует притяжательное прилагательное *мжчителькъвѣ*, выступающее лишь в значении ‘властелинов’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 344]. Единицы *дръжани мжчительство* и *томитель* имели в старославянском языке значение ‘тиран’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 344, 689], «жестокий правитель, действия которого основываются на произволе и насилии» [МАС т. 4: 366], а словом *казньць* именовался военачальник [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 280] либо ‘тот, кто ведает, распоряжается чем-либо’ (без указания на то, какой именно властью обладает человек, названный данным словом) [Цейтлин 1977: 112]. Сема ‘причинять физические страдания, боль’ в единицах *мжчитель* и *дръжани*

мучительство выражена эксплицитно, она непосредственно входит в структуру их значения. В семантической структуре слова **казньць** не содержится компонента ‘причинять физические страдания, боль’ (военачальник – «начальник войска, командующий большими войсковыми соединениями, флотом и т. п.; полководец» [МАС т. 1: 195]), данное значение выводится при его словообразовательном анализе. Лексема **казньць** отнесена Р. М. Цейтлин к числу существительных, образованных при помощи форманта **-ьць-** от глаголов. Имена существительные этой группы обладают общим значением ‘тот, кто выполняет действие, названное мотивирующим глаголом’: **ворьць** – ‘тот, кто борется, воюет с кем-либо за что-либо’ [Цейтлин 1977: 111], **видьць** – ‘тот, кто видит что-либо, очевидец’ [Цейтлин 1977: 112], **давьць** – ‘тот, кто даёт кому-либо что-либо безвозмездно’ [Цейтлин 1977: 112], и т. д. Таким образом, слово **казньць** является производным от глагола **казнити** – ‘наказывать, карать; предать смерти, казнить’ [СРЯ XI–XVII вып. 7: 25], что даёт возможность выделить в структуре его значения сложную сему ‘причинять боль, подвергать кого-либо физическому страданию’.

Таким образом, понятие мучителя в сознании средневекового славянина было связано с понятием властителя, что обусловило связь концептов «Мученичество» и «Власть» в его картине мира.

Языковые единицы, объединённые значением ‘человек, обладающий властью причинять боль, подвергать физическому страданию’.

Данную группу составляют 30 единиц в 357 употреблениях, имеющих в семантической структуре, помимо семы ‘боль, физическое страдание’, сему ‘власть’. Их можно разделить на шесть подгрупп:

– единицы, объединённые семой ‘человек, обладающий властью’/‘обладать властью’ (без конкретного указания на характер власти) – **владыка, властель, власти, възати власть;**

– единицы, объединённые семой ‘человек, обладающий высшей светской властью’/‘обладать высшей светской властью’ – **цѣсарь/кесарь, власть, величье, творць закономъ, цѣсарьствовати;**

– единицы, объединённые семьей ‘человек, обладающий местной светской властью’/‘обладать местной светской властью’ – вельможа, князь, болгаринъ, жоупанъ, магистрианинъ, домашникъ, старешина града, старешиньствовати, старешиньство имати, на старешиньство прити;

– единицы, объединённые семьей ‘человек, обладающий военной властью’ – комисъ, воквода, архистратигъ, кентоурионъ, доуѣтъ;

– единицы, объединённые семьей ‘человек, обладающий религиозной властью’ – старешина влъшьскъ, старешина жрьчьскъ;

– единицы, объединённые семьей ‘обладать судебной властью’: сждити/осждити, сѣсти/стати на сждишти, привеести на сждище, на сждици поставити, прѣдати сждоу.

Связь концептов «Мученичество» и «Власть» обусловлена историей возникновения и распространения христианства как религии, преследуемой властями. Древнейшим источником для составления житий мучеников были архивы римских судей, содержащие официальные протоколы допроса и приговора подсудимым – последователям новой религии [Христианство т. 1: 544], и мучителями в текстах первых житий святых являлись представители римской власти, приговаривавшие христиан к пыткам или смерти. Поэтому в тексте Супрасльской рукописи отразилось не типичное для средневекового сознания представление о государственной власти как о «естественном праве общественного целого на подчинение частей», вытекающем из природной необходимости подчинения более слабых более мудрым и сильным, не как о божественном установлении [Христианство т. 1: 368], а как о насилии одного человека над другими. В структуру лексического значения слова **власть** в старославянском языке входила сема ‘насилие’: власть – это «властность, возможность поступать по своей воле» [СРЯ XI–XVII вып. 2: 222], **вола** же трактовалась средневековым человеком не только как возможность поступать в соответствии с собственными желаниями, но и как насилие [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 121].

Таким образом, человек, наделённый властью, представал в сознании средневекового славянина как имеющий возможность причинять кому-либо боль, подвергать кого-либо физическому страданию.

Мучителями, преследователями христиан в Супрасльской рукописи показаны представители всех уровней власти: церковной (языческой церкви) светской и военной, высшей государственной и местной. Возможностью и правом подвергать христиан гонениям обладали прежде всего представители высшей государственной власти – цесари: *цѣсарьствоуѣштоу диѡклитианоу · заповѣдь посла са по вѣсеи вѣселѣнѣи · ꙗкоже вѣсѣмъ не покораштиимъ са заповѣди ꙗго · ѿ не жѣрѣштий богомъ · мжчени бываѣште зѣлѣ съмрѣтийѡ ѡумрѣти* [СР: 144, 29–145, 3]; *вѣ лѣтѣхъ ликѣниа цѣсара · вѣаше гонѣниѣ на крѣстианы · ѿ вѣси благовѣрнѣ живѣштий ѡ хѣ · ноуждаахъ са жрѣти богомъ* [СР: 68, 24–27]. Мучителями могли становиться также представители местной светской, военной и религиозной власти: *волѣре срацинѣсти рѣша къ цѣсароу · не лѣпо ꙗсть жити ꙗмоу · нѣ ѿ тѣ съмрѣтийѡ да ѡсѣдитъ са* [СР: 66, 5–8]; *епискоупъ же помоли са глагола · господи ꙗ хѣсе избавивыи даниѣла из оустъ львовъ · избавивыи три ѡтрѡкы ѡтъ пѣштѣнаго ѡгнѣ · цѣсара нахѡдоносора · ѿзбави и ѿ раба своѣго артемона ѡтъ томителя комиса* [СР: 225, 30–226, 5], *воѣвода же агриппъ вѣлѣзъ въ амасѣиск градъ <...> повелѣ привести ѿ ѿ ѿны темничѣники · къ градоу команѣскоу · ѿ тоу ѿмъ сѣдити* [СР: 5–13], *канѣидъ глагола вѣзѣми ѿ поѣсы нашѣ ѿ тѣлеса · ничтоже во намъ хѣа чѣстѣнѣише · тѣгда доукѣсъ повелѣ каменѣимъ лица ѿмъ бити* [СР: 73, 29–74, 2]; *старѣишины вѣшьскыѣ · разгнѣвавъша са зѣло · повелѣша съвѣзати и по пересскоу законѣ · ѿ провѣша жѣзлѣ между рѣкама ѿ стегноу ꙗго · ѿ вѣаше сѣда сватыи на зѣми · сѣдаштоу же ꙗмоу мжчаахъ и жѣзлицем · ѡсѣкатомъ · дотолѣ же мжчиша ѿ · донѣдеже рѣбра ꙗго ѡголиша* [СР: 260, 6–13].

Как источник насилия в средневековье осмыслялась не только римская, но и любая власть: в качестве мучителей в Супрасльской рукописи выступают не только римские цесари, во времена которых гонения на христиан были особенно активными, но и современные переписчику житий представители

славянской светской власти: в одном из житий в качестве мучителя выступает жоупанъ – глава жупы [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 221], административного округа у южных славян [СУ]: *приде съ множествомъ воѣводъ ѿ казнѣцъ ѿ жоупанъ · ѿ сановитѣи · ѿ съ вѣслѣдѣствоуѣштийми тѣмъ · вѣштислѣныйми воѿ · пришѣдъ же ѿ оумръштено ѿмы тѣло вѣсе · ѿ лице раскривѣно* [СР: 561, 23–27].

Представители всех уровней власти осуществляли своё право на её реализацию через судопроизводство: перед тем как быть приговорѣнным к смерти, христианин предстал перед судом. В роли судей могли выступать представители всех ветвей и уровней власти: *ѿзиде аѳриликъ (цесарь – Л.М.) ѿ сѣде на сѣдишти <...> · зови паѳла ѿ ѳлиѣний · ѿ постави ѿ прѣдъ сѣдиштемъ* [СР: 6, 27–7, 4]; *кнѣзъ възвѣсивъ сѧ · повелѣ терентиа ѿ африкана · маѳима же ѿ помпиа <...>къ сѣдиштоу привести* [СР: 177, 12–21]; *воѣвода <...> сѣдъ на висоцѣ рече · савинъ ѿже нечѣстивыѧ вѣры · нарицаѣмыйми крѣстианини · досадитѣль да приведѣнъ вѣдетъ къ нашѣмоу сѣдиштоу* [СР: 147, 19–23]. Суд земных властей в сознании средневекового славянина предстал как несправедливый, и несправедливость этого суда признавалась не только христианами, но и язычниками, потрясѣнными жестокостью мучений, к которым приговаривали мучеников: *аѳриликъ <...> повелѣ слоугамъ огнь нанести по вѣсемоу тѣлоу ѿю · слоугамъ же беспрѣстани жегѣшамъ · вѣси граждане прѣдѣстоѣштий ѿ позороуѣштий ѿю · възѣиша глаголѣште · самодрѣжѣче цѣсарю аѳриликъ · несправѣднѣ сѣдиши · несправѣднѣ мѣчиши* [СР: 13, 23–14, 1].

Несправедным земным владыкам в сознании средневекового славянина противостоял праведный владыка небесный, власть которого признавалась единственно справедливой и истинной: *оузрите вы вѣдѣшата вамъ отъ правѣдиваго сѣдиѧ ѿсоу христоса* [СР: 108, 2–4], *по истинѣ чоудити ми сѧ приде · како прѣбидѣвшѣ вѣсѣхъ · къ богоу и владыцѣ и строителю* [СР: 54, 18–20]; *заклинаѣ тѧ о велицѣи силѣ вѣсѣдрѣжитѣли бога · повѣждъ ми кто ты ꙗси* [СР: 122, 1–3]. Правом судить человека, с точки зрения средневекового

христианина, обладал только бог, но не земные владыки. Об этом свидетельствует противопоставление в пределах одного предложения наименований бога и лексем *цѣсарь/цѣсарьская*, обозначающих земных владык: *НЕ ВЪДИ ТО КЪЖЕ ОТЪВРѢШТИ СѦ НАМЪ НЕВЕСЪСКААГО ЦѢСАРѢ /.../ ТЕБЕ ЖЕ ЦѢСАРОУ ПРОТИВИМЪ СѦ И ЗАПОВЕДЕМЪ ТВОИМЪ НЕ ПОКАРАЕМЪ СѦ* [СР: 59, 21–26]; *и ноудиши отъстѣпяти отъ БОГА ЖИВААГО · ОВѢШТАВАА ЦѢСАРЬСКЫА ЛЮБВВЕ* [СР: 50, 6–8]; *НЕ ПОДОВАТЬ ВЪ ЗЕМЪНААГО ЦѢСАРА ВОАТИ СѦ · НЪ ОНОГО ДАВЪШААГО ВАМЪ МЪДРОСТЬ И СЪМЫСЛЬ · ИМЪШТААГО ВЛАСТЬ НЕВЕСЫ И ЗЕМЪЖ И ВЪСЦѢМЪ ДЪХАНИИМЪ · ИЖЕ ПОЛОЖИ ПРѢДѢЛЫ И ОУСТАВИ ЧАСЫ* [СР: 257, 26–30]. Суд и распоряжения земных властителей признавались несправедливыми, не имеющими истинной силы, и потому средневековый христианин считал себя вправе не подчиняться их воле.

Многочисленность употребления языковых единиц, составляющих данную группу (357 употреблений), на наш взгляд, призвана не только противопоставить земную власть как ложную власти христианского бога как истинной, но и противопоставить истинное величие христианина, принимающего муки и смерть за веру, мнимому величию земных владык. Характеризуя мученика, авторы житий, входящих в состав Супрасльской рукописи, почти никогда не упоминают о месте, занимаемом им в обществе, его знатном происхождении и т. п. (только в житии святого Варасихия упоминается о том, что Варасихий занимал пост воеводы); характеризуя же мучителя, они всегда указывают на то, что тот обладает властью, земным величием. Более того, авторы житий подчёркивают равнодушие мучеников к возможности получения земной власти: христианин, отрекшись от своей веры, мог быть возведён в высокий сан (*повелѣ цѣсарь саворий нечѣстивѣимъ влѣховомъ · сватыа црѣкви хрѣстианьскы ѡгнѣмъ зажигати · ѡврѣтаѣмыа же крѣстианы · повелѣ имати ѿ ноудити ѿ жрѣти · ѿ повиновати сѦ попомъ · повиноуѣштаа же сѦ ѿ жрѣштаа · НА ВЕЛИКЫ САНЫ ѿ чѣсти ВЪЗВОДИТИ* [СР: 256, 2–8]) и даже получить высшую власть (в житии святой Юлиании мучитель, цесарь Аурелиан, предлагает ей отречься от христианства и стать его женой, править

наравне с ним: *не прѣльштаи са боукстийъ павѣла брата своего · виждѣ бо та дѣвицѣ мѣдрѣ сѣштѣ · и многѣ прѣмѣдрость имѣштѣ · да оутѣшивъши са послушай мене · и бѣдѣши владычица моѣи доуши · и образы златы поставьѣ ти по всѣа грады всѣа всѣселѣныа* [СР: 1, 18-25]), однако христиане отвергают эту возможность и стойко принимают мучения. Таким образом, представитель власти оказывается бессильным перед обычным человеком, а величие, которым он обладает, становится мнимым в глазах читателя жития.

Языковые единицы, объединѣнные значением 'эмоциональное состояние человека, причиняющего кому-нибудь боль, подвергающего кого-либо физическому страданию'

Эмоции являются первой, непосредственной и неконтролируемой человеком реакцией на окружающую его действительность. Как более древняя, по сравнению с познавательными процессами (ощущением, восприятием, памятью, мышлением, воображением и др.), форма отражения действительности, эмоции несут на себе печать глубинных связей со сферой потребностей и желаний человека [Хомская, Батова 1992: 6]. В том случае, если какое-либо эмоциональное состояние человека является постоянным, в большей мере, чем какое-либо другое, ему свойственным, оно даёт ключ к пониманию его личности, особенностей отношения к окружающим и, следовательно, является одной из наиболее значимых его характеристик. Таким эмоциональным состоянием мучителя, с точки зрения средневекового славянина, является состояние гнева и более сильного его проявления – ярости: описание мучителя как человека, находящегося в гневѣ, встречается в тексте каждого жития Супрасльской рукописи, а наименования данного эмоционального состояния в тексте исследуемого памятника представляют собой сложную развёрнутую систему, из 25 слов и сверхсловных единиц в 196 употреблениях. Их можно разделить на 4 подгруппы:

– единицы, называющие эмоциональное состояние гнева, ярости: *гнѣваниѣ, възвѣшениѣ, ярость гнѣва, ярость звѣриньска;*

– единицы, обозначающие пребывание в данном эмоциональном состоянии как процесс: възвѣсьнѣти, възвѣсити сѧ, гнѣвати/разгнѣвати сѧ, въззарити сѧ, възжеци сѧ гнѣвомь, испльнити сѧ ярости, прѣвъзвърѣти яростиж, испльнѣнъ гнѣва (быти);

– единицы, называющие внешние проявления данного эмоционального состояния: акы левъ рикати, въздроути акы левъ, скръжътати зжвы, лице измѣнати (отъ ярости), гнѣвно лице, доушетъ къто гнѣвомь, акы льви кръвоадивии;

– единица, обозначающая избавление от данного эмоционального состояния: раздрѣшениѧ.

Возникновение гнева описывается при помощи двух лексем и семи УСК – разгнѣвати сѧ, въззарити сѧ, на гнѣвъ обратити сѧ, раждеци сѧ гнѣвомь, възжеци сѧ гнѣвомь, испльнити сѧ ярости, прѣвъзвърѣти яростиж. Гнев у язычников вызывает любое действие христианина, данная эмоция является ответной реакцией почти на каждый поступок праведника. Так, гнев испытывают разбойники, которые, думая, что у святого в пещере спрятаны сокровища, напали на него, требуя передать им золото. При этом они не замечают доброжелательность и гостеприимство святого, предлагающего им угощение: *ѡнѣмъ же ѡштжштеѣмъ ѡмѣниа . кононъ тѣштааше сѧ ѡготовити ѡмъ трепезж . приносѧ ѡмъ вино ѡ велѧ ѡмъ ѡсти молѧаше сѧ глаголѧ . пойдѣте чада да възкоусите . ѡни же не полоучивъше ѡгоже ѡскалѧж на гнѣвъ ѡбратиша сѧ . ѡмъше же ѡго ѡбнажиша мечѧ . <...> ѡ ѡвити хотѧште [СР, 38, 16-21]. Однако прежде всего гнев испытывают язычники, которые пытаются обратить христиан в свою веру и встречают со стороны последних сопротивление: *исплънивъше сѧ ярости многы старѣйшины жъречѣскы . повелѣша привести и (мучеников – Л. М.) . приведенома же ѡма вывѣшема . ѡ ставѣшема прѣдъ старѣйшинами влѣшъсками . глаголаша ѡма влѣсви <...> творита волѧ цѣсарж . ѡ повиноуѣта сѧ повелѣнию ѡго . ѡ покланиѣта сѧ слънѣцоу . ѡ ѡгню . ѡ водѣ [СР: 257, 5–15]. Отказ принять язычество вызывает у мучителей наиболее сильные отрицательные эмоции, для описания**

которых недостаточно простого их наименования. В этом случае для характеристики эмоционального состояния мучителя могут использоваться не только единицы, обозначающие этап возникновения гнева, но и единицы, указывающие на степень проявления данной эмоции: *страстоносець тлъкомъ рече · да не вждеть мьнѣ псе неоукроштєный · ѿтверѣшти сѧ христа своѣго небеснааго цѣсара · ѿ вѣсѣхъ сѧ приложити <...> ѿ разгнѣвавъ сѧ лѣстивый · ѿ въжегъ сѧ гнѣвомъ ѿ акы левъ рикаа на праведнааго · мечемъ повелѣ чєстѣннѣи ѣго главѣ ѿтѣсѣшти [СР: 61, 5–26]. В данном случае не просто отмечается, что мучитель находится в состоянии гнева: употребление в одном предложении двух различных единиц, называющих данное эмоциональное состояние, подчёркивает высокую степень его проявления, а устойчивое сравнение акы левъ рикати является показателем того, что разгневанный человек утрачивает человеческие черты и способности (в данном случае дар речи) и приближается в своём состоянии к животному. Именно в этом состоянии язычники изобретают наиболее тяжкие для христиан, приводящие к смерти муки: *почто рече лѣстиши ны ѿ воговорче · ѿтѣстѣпити ѿтъ вога живааго · ти работати вѣсомъ пагоубныйимъ /.../ по вожиї же любви ксе мы · ѿ на колєси приваздани быти готови · ѿ ваздани быти ѿ жегоми · ѿ вѣсѣкъ ѿбразъ мжкы приѣти · кгда же си слыша величавый ѿнь ѿ сверѣпый · не сътрьпѣвъ дръзости мжжѣ · прѣвъзвѣрѣвъ яростиѣ · съматраше коѣ ви примышлєниѣ ѿзобрѣсти · да ви длъгж имъ · сътворилъ съмръть [СР: 88, 13–29].**

Для описания пребывания в состоянии гнева в тексте Супрасльской рукописи употребляются слова гнѣвати сѧ, гнѣваниѣ и УСК вѣ гнѣвѣ (быти), ѿсплѣнѣнъ гнѣва (быти), съ яростиѣ. Трижды для обозначения данной эмоции в Супрасльской рукописи использованы её наименования, не содержащие дополнительного указания на степень проявления гнева: *ныни гнѣвааши сѧ ѿ вожиихъ ѿучениихъ · ѿко пишеми сѣтъ на благодаріѣ вѣроуѣштийимъ · ѿродивыѣ вєсѣды филистионовы писати не ставѣѣте · ѿ славыѣниѣ вожиѣ не писати [СР: 403, 20–25]; арианъ же воєвода се слышавъ вѣ гнѣвѣ бывъ · къ*

войномъ глагола · се послухъ вамъ слынце и мѣсяць · како и чѣго ради
 мжчихъ сего неподобнаго · да и вы оувѣсте вси въ градѣ семъ живштии ·
 ꙗко не рачи никакоже покаати сѧ ни жръти богомъ · да съпасетъ сѧ · нъ паче
 изволи оумрѣти мжками [СР: 153, 20–28]; магна кто воѣвода въземъ власть отъ
 цѣсарѣскааго повелѣния · испльнѣнь гнѣва на крѣстианы · и глѧ · иже да не
 ѡтвѣржетъ сѧ имене хрисостова · да оубиѣнь вждетъ [СР: 45, 16-20]. В
 остальных случаях в тексте памятника содержится указание на степень
 проявления эмоции, на то, что мучитель находится в состоянии сильного гнева.
 Это указание эксплицируется несколькими способами.

Для обозначения высокой степени разгневанности в предложении могли
 быть употреблены две единицы, характеризующие данное эмоциональное
 состояние: и гнѣва испльнѣнь приде къ иконийскоу градуу · и въ гнѣвѣ сы нача
 глаголати · аже вѣсте въ градѣ съде или въ инѣхъ градѣхъ сжшта или
 нарицаѣшта сѧ крѣстианы повѣдите [СР: 153, 20–25]. Для обозначения более
 высокой степени разгневанности использовался УСК съ яростиѣ (ярость –
 ‘сильный гнев, бешенство’ [МАС т. 4: 784]): прѣдсѣдѣше же · масраѡ · и
 сирѡ · и марнисии · три старѣишины вльшѣскы · на въпрасание стѡуѡ · и
 повелѣша съ яростиѣ въвести стѡаго иѡнѧ ѣдного [СР: 258, 21–24]. Высшая
 степень разгневанности обозначалась УСК, в котором были объединены оба
 наименования данной эмоции, – ярость гнѣва: нъ послушайте и не ѡжесточите
 выѧ вашѣѧ къ нѣмоу · понеже ꙗко рѣхъ не имате мошти сътрѣпѣти ярости
гнѣва ѣмоу · на такыѧ во напрасно ѧритъ сѧ · а ꙗже нынѣ ꙗкы безоумѣли
 ꙗсте · на слоужѣвѣ влазнаштоу васъ дѡволоу · нъ ѡставивъше и ѡтвѣстѣпите
 ѡтъ нѣго · и ѡбратите сѧ къ гоу нашѣмоу їѣ хѣоу [СР, 403, 15–23]. Для
 обозначения степени ярости, при которой она переполняла человека, он уже не
 мог справиться с собой и навел ужас на окружающих, в старославянском
 языке существовал УСК доушетъ къто гнѣвомъ. Гнев переполнял человека, как
 бы вырывался наружу при дыхании (доухати – «дышать, вѣять» [Ст.-сл. сл.
 Цейтлин: 199]) и таким образом становился *виден* окружающим: аже вѣсте въ
градѣ съде или въ инѣхъ градѣхъ сжшта или нарицаѣшта сѧ крѣстианы

повѣдите · ѡни же видѣвъше ѿко доушетъ гнѣвомъ (воевода Магн – Л. М.) ·
 ѡучаахъ съ страхомъ глаголюште · слышимъ сжшта нѣкого въ горнийхъ
 странахъ именовъ конона · томъ вѣры · ѡ немже глаголютъ велика чоудеса
 вывайтъ ѡтъ него [СР, 45, 25-27]. Наконец, для наименования высшей степени
 ярости, при которой человек теряет контроль над собой и приближается по
 состоянию к разгневанному животному, использовались УСК ярость
 звѣриньска, акы льви кръвоадивии и въздрочти акы левъ: и многа ярость
звѣриньска движааше са · ѡтъ неправедныхъ на благовѣрныхъ · кови же и
сѣвѣти зѣли на нѣ плетоми вываахъ · и различни образи мжкъ примышлѣни
ываахъ · и мжчимий неославили [СР: 85, 9-11]; ѡнъ же не хотѣ оставити
молитвы · не ѡтвѣшта имъ словесе · авиѣ же акы льви кръвоадивий ·
ѡстрѣмиша са на нѣ скръжьштжште зжвы · и въземажште камение мештаахъ
на нѣ · и на ѡва ѡученика него [СР: 216, 20–26]; слышавъ же се воєвода въдроч
акы левъ · и повелѣ съвазати ѿ · и влачаште весте ѿ въ темницѣ [СР: 71,
 25–28].

Помимо единиц, непосредственно называющих пребывание в состоянии
 гнева, в тексте Супрасльской рукописи можно обнаружить слова и
 сверхсловные образования, не называющие какую-либо из стадий
 возникновения или проявления гнева, а описывающие внешние признаки
 данной эмоции. Это УСК скръжьтати зжвы, лице измѣнати (ѡтъ ярости),
 расѣдати са яростиж, гнѣвно лице: воєвода же повелѣ послати войны и
извести и ис храма · тажцѣ во скръжьтааше зжвы на нѣ [СР: 22, 22–24]. Эти
 обозначения состояния разгневанности, как правило, употребляются в тексте
 исследуемого памятника не изолированно, а наряду с другими обозначениями
 данной эмоции. Жития могут содержать двойное указание на внешнее
 проявление гнева: си слышавъ ѿрилийанъ лице свое измѣнѣаше различниѣ ѡтъ
ярости · и скръжьтааше зжвы на нѣ [СР: 12, 5-8]; или указание на то, какими
 дополнительными действиями сопровождаются поступки разгневанного
 человека: андупать · повелѣ влаженаго кодрата паче стрѣгати · и свѣштами
горжштами прижагати ребра него · и расѣдаа са яростийж съпадааше съ прѣстола

· *нечловѣчѣстѣ повелѣваа наносити на нѣ мѣжы* [СР: 109, 6–7]. Ярость в данном случае не просто переполняет человека, она словно разрывает его на части (*расѣдати са* – «перен. лопаться, раскалываться, трескаться» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 579]), так что, не будучи в силах справиться с переполняющими его эмоциями, человек не может усидеть на месте.

Пристальное внимание к эмоциональному состоянию мучителя объясняется, на наш взгляд, тем, что христианская церковь относит гнев к числу семи смертных грехов, которые делают человека неспособным к восприятию божественной благодати и могут, если полностью овладеют человеком, нарушить духовную жизнь, лишить спасения и привести к вечной смерти [Христианство т. 1: 431]. Гнев осуждается Священным писанием, и истинно верующий христианин в любом случае, даже тогда, когда для негодования есть явные причины, был обязан укрощать в себе это чувство. Так, в одной из проповедей, входящей в состав Супрасльской рукописи, Иосиф, узнавший о беременности Марии, но ещё не получивший от ангела известия о непорочности зачатия, начинает испытывать чувство гнева, однако, руководствуясь словами Писания, сдерживает в себе это чувство: *въсѣко ми ѣсть ѿ глаголати ѿ мѣчати вѣда · что ѡубо сътвори призывавъ ли въпрашай · ѿи прѣжде въпрошениа ѡбличж · нѣ писаниѣ съвѣдѣтельствовуѣтъ глаголѣ · ѡбличи а да не сътвори · възъвавъ ѿ гнѣвъномъ лицемъ* [СР: 240, 20-26]. У христианина есть возможность сдерживать в себе чувство гнева и тем самым получить отпущение греха гнева. Путём избавления от этого греха является вера в Христа и его силу. Единственное употребление слова *раздрѣшениѣ* в значении «отпущение (грехов)» [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 570] по отношению к состоянию гнева встречается в тексте Супрасльской рукописи в проповеди Иоанна Златоуста, в которой он провозглашает, что пришествие Христа принесло ликование и отпущение грехов только верующим в него, в то время как для иноверцев, не признающих божественной природы Христа, избавление осталось недостижимым: *днѣсь ѡтъ мрътвыиухъ вѣстаа лазарѣ · многоу ѿ различъ гнѣвоу раздрѣшениѣ намъ даѣтъ · не вѣдѣ бо како чѣтениѣ се*

иновѣрникомъ да вѣдѣ · и жидомъ прѣ вииж [СР: 303, 3–7]. Полностью отдавшись чувству гнева, в представлении средневекового славянина, мучитель губит свою душу.

Языковые единицы, объединённые значением ‘язычник как человек, причиняющий кому-либо боль, физическое страдание’

Мученичеством в христианстве является принятие мук и смерти во имя прославления и утверждения христианской веры, подвергавшейся в первые века своего существования преследованиям со стороны язычников. Естественно, что в качестве мучителей, гонителей христиан в тексте Супрасльской рукописи предстают прежде всего язычники. Сему ‘язычество’ содержат 25 языковых единиц в 298 употреблениях. Они характеризуют мучителя и могут быть разделены на 4 подгруппы:

– единицы, объединённые семой ‘поклоняться/поклониться языческим богам’ – *жърѣти/пожърѣти богоу(омъ)/вѣсоу(омъ)/капищемъ/камению, вѣсомъ/капиштемъ поклонати/поклонити сѧ, коумиромъ/богомъ слоуговати/слоужити, коумиръ чьтити, жрътвѣ сътворити, поклонити сѧ слънцоу и огню и водѣ;*

– единицы, объединённые семой ‘поклонение языческим богам’ – *жрътиѣ соукътънымъ богомъ;*

– единицы, объединённые семой ‘совершать жертвоприношения языческим богам’ – *жрътвѣно ѡсти, ѡсти жрътвы мрътвѣимъ;*

– единицы, объединённые семой ‘жертвоприношение языческим богам’ – *скврънаваѧ жрътва, жрътва крѣвава;*

– единицы, объединённые семой ‘место поклонения языческим богам’ – *храмъ коумирскыи, мѣсто коумирско, капище нечисто/поганьскоѣ, цръкѣвище капищѣноѣ, капище/цръкѣвище артемидово, капище/цръкѣвище аполонново, храмъ аполоновъ;*

– единицы, объединённые семой ‘языческое божество’ – УСК, в состав которых входят нарицательные имена имена существительные, являющиеся родовыми наименованиями языческих богов (*коумиръ вѣдоушътныи/ жрътвѣныи/ вѣсоуѣствѣныи, камѣныи богъ, божи лѣжеименьнии/ лѣжеименити, соукътънии*

вози), и собственные имена существительные, называющие конкретных богов, которым поклонялись язычники (*арѣма/артѣмида, асклипии, зѣусъ*).

В тексте Супрасльской рукописи, как правило, язычество предстаёт как некое обобщённое понятие: авторы житий обычно не уточняют, каким именно богам поклоняются нехристиане. Конкретное наименование богов, которых чтят язычники, встречается в тексте исследуемого памятника 10 раз (4 единицы – *арѣма/артѣмида, асклипии, зѣусъ, слъньце, огонь и вода* – в 10 употреблениях), что составляет 3,4 % от всего числа единиц, в состав которых входит сема ‘язычество’: *глаголаша к нѣмоу domestiци · доброчѣстивии вози · и ѡсвѣштаник богынѣ арѣмиды · ти та имжть сънабѣдѣти* [СР: 222, 7-10]; *богъ ѡубо иже кѣсть зѣусъ · иже кѣсть на небеси · црь бо кѣсть всѣмъ богомъ* [СР: 140, 8-9]; *комисъ глагола нъ свойъ слажъ иматъ великый богъ асклипий* [СР: 227, 24-25]; *та ни жьрета · ни повинюкѣта са црю повелѣнию · ни рачита поклонити са огню ни слъньцѣ ни водѣ* [СР: 256, 28–257, 1]. Вероятно, это связано с тем, что поклонение любому нехристианскому божеству трактовалось в христианстве одинаково, и истинному христианину любая из разновидностей язычества представлялась одинаково греховной. Кроме того, языческие боги воспринимались авторами исследуемых житий как *лъжеименьнии/лъжеименитии*, обладающие ложным именем. Произнесение имени ложного бога, с точки зрения средневекового человека, для которого слово было так же реально, как и предметный мир [Гуревич 1984: 28], являлось грехом в той же мере, как и поклонение языческому божеству. Возможно, также по этой причине в тексте Супрасльской рукописи почти не упоминаются конкретные имена языческих богов.

Мучитель в Супрасльской рукописи предстаёт как человек, который активно, постоянно совершает языческие богослужения, поклоняется языческим богам и стремится к распространению язычества, тем самым препятствуя утверждению христианской, истинной с точки зрения авторов житий, веры.

Контекстуально поклонение языческим богам в исследуемом памятнике связано с процессом причинения мучения: мучитель отдаёт приказания о причинении христианам физических мучений или приговаривает их к смерти после совершения языческих богослужений: *шъдъ же ѿнѡпатъ въ ѿпамийскыи градъ · ѿ пожъръ коумиромъ · повелѣ привести прѣдъ сѧ стѣмъ мжченикы* [СР: 111, 16-19]; *ѿнѡпатъ <...> въшъдъ же въ цркъвиште · ѿ пожъръ коумиромъ · повелѣ прѣдъставити стѣмъ* (перед судом – Л. М.) [СР: 105, 7-9]; *воѣвода же агрипъ вълѣзъ въ амасийск градъ · съзъва старѣишины града · вѣѡше же храмъ коумирскыи ѿскони <...> ѡнъ же близъ ѿго жрътвж сътворивъ · ѿскаѡше тѣмъ василиска · ѿ повелѣ привести ѿ ѿны темничѣники · къ градоу команѣскоу · ѿ тоу ѿмъ сждити* [СР: 17, 5-13]. Иногда суд над христианами совершался в местах поклонения языческим богам: *блаженѡуоумоу же кодратоу повелѣ ѿнѡпатъ коупно ѿ съ ѿнѣми · вѣслѣдъствовати въ ѿполонийъ · ѿ въшъдѣ нечѣстивыи ѿнѡпатъ · въ цркъвиште ѿполоново · повелѣ привести стааго кодрата* [СР: 114, 22-27]. Упомянув о том, что суд над христианами совершался в месте, где происходило поклонение языческим богам, или после завершения такого поклонения, автор жития словно бы подчёркивал, что этот суд не мог быть праведным.

Язычник, с точки зрения христианина, поклонялся не богу, а камню, который не мог откликнуться на просьбу человека, помочь или дать надежду на спасение, что отражено в УСК, в состав которых входят слова *каменик* – ‘камни’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 281], *коумиръ* – ‘кумир, идол’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 298], *кумир* – ‘статуя, изваяние языческого божества’ [МАС т. 2: 149], *вездѡушьныи* – ‘не имеющий души, неживой’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 79], *вещѡувствьныи* – ‘ничего не чувствующий, не воспринимающий’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 84]: *наѡучъ васъ кого бы чисти · ѿ кланѣти сѧ богоу ѿже <...> цркъ крѣпкъ ѿ силенъ · ѿ съпасаѡ въ рати своѡ · погоубѣѡ же врагы · ѿ коумиромъ слоугоуѣштимъ ѡ не богоу* [СР: 28, 4-12]; *ты же зъло-зълѣ вѣплачѣши · ѡко не вѣсхотѣ ѡувѣдѣти ѿстиннааго бѡ <...> не стыдиши ли сѧ жъра камениу* [СР: 263, 12-13]; *вози ваши того сътворити не можтъ · каменѣѣ*

вездочушнѣ и коумирнѣ сжште [СР: 536, 8-9]; вы же коумиромъ вездочувствѣномъ · жържште прѣдъ народомъ · не срамѣете сѧ · ѣко и каменю закалаѣште вы снѣдаѣте [СР: 116, 5-8]. Поклонение камню и самого человека уподобляло неживому существу, лишало его способности видеть, слышать и говорить истину: блажены кодратъ глаголаше · капишта поганъская сърєбро и злато · оуста имжтъ и не глаголѣтъ · очи имжтъ и не оузырѣтъ · оуши имжтъ и не оуслышатъ · ноздри имжтъ и не обонѣѣтъ · ржцѣ имжтъ и не посажжтъ · не възгласѣтъ грѣтанѣми своѣми · подобѣни имъ вѣдѣтъ творащтии ѧ · и вѣси оупѣвѣштии на нѧ [СР: 104, 1-8]. Слова сърєбро и злато в данном предложении, на наш взгляд, употребляются одновременно в двух значениях: с одной стороны, они описывают внешнюю красоту места поклонения богам и самих кумиров, которых чтили противники христианства; с другой стороны, использование этих слов подчёркивает, что изваяния из серебра и золота не были истинными богами, а являлись всего лишь слитками металла, холодными и безразличными к человеку, неспособными повлиять на его жизнь и привести к спасению души.

Мучители не только сами поклоняются языческим богам, но и принуждают к этому христиан: глагола ѣмоу князь послоушай мене ѧлєксандре и пожѣри богомъ [СР: 156, 18-20], и вѣси благовѣрнѣ живжштии о хѣ · ноуждаѧхъ сѧ жрѣти богомъ [СР: 68, 25–27], кнѧзь повелѣ иъвести и · и глагола ѣмоу пожри богомъ да поштаждѣ тѧ [СР: 164, 21-24]; анѣупатъ рече · тѣмноу словомъ хоулиши · мѣна зазѣрѣти · послоушан оубо кодрате и пожѣри богомъ [СР: 8-11]. Однако следование язычеству, также как и гнев, является смертным грехом [Христианство т. 1: 431], способным погубить душу человека, поэтому христианин даже под угрозой смерти отказывается поклоняться языческим богам: рекъшѣмоу же паку пибнѣю · ѣко богомъ вашимъ не слоугоуѣмъ · и капиштоу златоу не поклонимъ сѧ [СР: 129, 20-23]; крѣстиѧни ксѣмъ · и не прѣпѣриши насъ капиштемъ нечистомъ поклонити сѧ [СР: 177, 27-29].

Таким образом, употребление языковых единиц, объединѣнных семей 'язычник как человек, причиняющий кому-либо боль, подвергающий кого-либо

физическому страданию’, и употребление языковых единиц, объединённых семей ‘эмоциональное состояние гнева, ярости’, характеризует мучителя как человека, впавшего в смертный грех и погубившего свою душу. Однако в том, как действует мучитель, находясь в этих двух греховных состояниях, наблюдается существенное различие. Если гнев – состояние индивидуальное, и мучитель не может заставить другого человека разгневаться, впасть в смертный грех ярости, то заставить совершить обряд поклонения языческим богам в его власти. Поклонение языческим богам, таким образом, является более тяжким грехом, так как он не индивидуален, а может быть распространён и на других людей. Вероятно, поэтому при равном количестве языковых единиц (25), называющих эмоциональное состояние мучителя и его вероисповедание, количество употреблений последних в полтора раза выше (196 и 289 соответственно).

Анализ слов и устойчивых словесных комплексов, вербализующих представление о мучителе как участнике процесса мучения, позволяет нам сделать следующие выводы.

1. Для характеристики мучителя в тексте Супрасльской рукописи использовано 89 языковых единиц в 874 употреблениях. Являясь слотовым наполнением терминального узла *мучитель* фрейма *Мученичество*, данные языковые единицы характеризуют типичные и важные, с точки зрения средневекового славянина, характеристики человека, преследующего христиан. Наиболее существенной чертой, которую называют 30 единиц в 357 употреблениях, является принадлежность мучителя к представителям земной власти. Наименее значимую черту (9 единиц в 32 употреблениях) подчёркивают обозначения мучителя как человека, причиняющего мученику боль, физические страдания.

2. Земная власть рассматривалась средневековым славянином как источник несправедливости и страданий. Земным властителям в сознании наших предков было противопоставлено высшее христианское божество как единственный источник мудрости и справедливости. Только прославление истинного бога и

истинной веры могло по-настоящему возвысить человека, и поэтому в противостоянии ‘властитель – мученик’ истинное величие, с точки зрения авторов житий, принадлежало мученику. Обязательное упоминание о том, что мучителем является человек, наделённый земным величием, подчёркивало величие мученика, не подчиняющегося несправедному владыке.

3. Мучитель, с точки зрения средневекового славянина, – человек, впавший в смертный грех и погубивший свою душу. Он подвержен сразу двум смертным грехам – гневу и поклонению языческим богам, от которых он не стремится и, следовательно, не может избавиться. Более тяжёлым грехом является поклонение языческим богам, так как мучитель, обладая властью, стремится распространить его среди всех подвластных ему людей. Поклонение же языческим богам для христианина является мучением, разрушающим его душу, более тяжёлым по сравнению с физическим, разрушающим только его тело. Поэтому, на основании анализа употребления языковых единиц, объединённых семей ‘язычник как человек, причиняющий кому-либо боль, подвергающий кого-либо физическому страданию’, мы считаем возможным уточнить интегральную для концепта «Мученичество» сему – ‘боль, сильное физическое или нравственное страдание во имя веры’.

Таким образом, мучителем, с точки зрения средневекового славянина, является грешник, наделённый земной властью, подвергающий христианина физическим и нравственным страданиям.

Источники

СР: Северьяновъ, С. Супрасльская рукопись / С. Северьяновъ; Изд. отд. рус. яз. и словесности Император. Акад. наукъ: т. 1. – Ксерокоп. – СПб., 1904.

УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВЕСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
КАК ВЕРБАЛИЗАТОРЫ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ СЛАВЯН
(НА МАТЕРИАЛЕ ЗОГРАФСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ)

Воссоздание картины мира средневековых славян трудно представить без изучения моральных ценностей наших предков. Именно поэтому чрезвычайно важное значение для исследователя имеют те памятники, которые насыщены аксиологически отмеченными языковыми единицами. К такого рода единицам относится значительный пласт устойчивых словесных комплексов (УСК) из Зографского евангелия XI века, повествующего о земной жизни Христа, который проповедовал христианскую веру, основанную на новых этических ценностях. Этические ценности средневекового славянина неразрывно связаны с религиозными представлениями. Судя по УСК из Зографского евангелия, важнейшими из них были: “Доброта”, “Истина”, “Верность”, “Преданность”, “Вина”, “Совесть”, “Сострадание”, “Любовь к ближнему” и др.

Зографское евангелие позволяет говорить о том, что в аксиологическом пространстве старославянского языка существовала целая система этических ценностей, основу которой составляла глобальная оппозиция *добра* и *зла* со множеством её коррелятов.

Так, *добро*, *доброта* в представлениях средневекового славянина – понятия персонифицированные. Добро является главнейшим атрибутом Бога и его сына Иисуса Христа. Однако следует заметить, что при высокой частотности употребления (15) количество самих УСК с компонентом *добро* не велико (2 единицы): *днвѣѡхъ сѧ глаголюшѣ добрѣ вѣсе творитѣ* [Мф. VII, 37]; *добро творитѣ ненавидѣшѣмъ васѣ* [Мф. V, 44]; *достонтѣ въ сѣботы добро творити* [Лк. VI, 9]; *вѣсѣгда бо ништаѡ имате съ собоѡ и егда хошѣте можете добро творити имѣ а мене не вѣсѣгда имате* [Мк. XIV, 7]; *нюдѣи глаголюшѣ о добрѣ дѣлѣ не мешѣмъ каменнѣ на*

та нъ о власвимиин ѿко ты чловѣкъ сы твориши са самъ богъ [Лк. X, 33]; отъвѣшта имъ исусъ мъногъ дѣла добра ѿвнухъ вамъ отъ отьца моего [Ио. X, 32].

Высокая частотность употребления УСК с компонентом *добро* (15) позволяет сделать вывод о том, что все существо средневекового человека было наполнено жаждой добра, отсутствие которого он остро ощущал в своей жизни. Эту мысль подтверждает и частотность употребления УСК со значением ‘творить, совершать зло’: *родъ же четвъртовластьникъ обличаемъ имъ о родъ ѿдѣ женѣ брата своего и о всемъ зълѣ еже створи и родъ [Ио. III, 19]; пилатъ же глагола имъ чьто оубо створи зъло они же лише възъпиша пропни и [Мф. XV, 14]; и изиджтъ сътворьшен блага въ възкрѣшенъе животоу а сътворьшен зълаа въ възкрѣшение сждоу [Мф. I, 12]; онъ же третицежъ рече къ нимъ чьто бо сътвори зъло [Мк. XXIII, 22], – а также УСК со значением ‘совершить проступок, зло’: *глаголжъ же вамъ другомъ моимъ не оубонте са отъ оубиваѣштнихъ тѣло и не по томъ не имжстемъ лихо чесо сътворити [Лк. XII, 4].**

Такие этические ценности, как *искренность, правдивость, чистосердечие* представлены в Зографском евангелие 6-ю УСК: *нынѣ же иштете мене оубити чловѣка иже истинжъ вамъ глаголахъ ѡже слышахъ отъ бога [Мк. VIII, 40]; егда же придетъ онъ доухъ истиньны наставитъ вы на всѣкж истинжъ не о себѣ бо глаголати иматъ нъ елико аште оуслышитъ глаголати иматъ и граджштаа възвѣститъ вамъ [Мк. XVII, 13]; жена же оубоѣвъши са и трепештжшти вѣджшти еже бысть ей приде и припаде къ нему и рече ему въсж истинжъ [Лк. V, 33]; а еже на добрѣ земли син сжтъ иже добромъ срѣдцемъ и благомъ слышаштен слово дрѣжатъ [Лк. X, 43]; помъните слово еже азъ рѣхъ вамъ нѣстъ рабъ боли господѣ своего аште мене изгънаша и васъ ижденжтъ аште слово мое съблюдоша и ваше съблюджтъ [Ио. XV, 20]; о семъ бо слово естъ истиньное ѿко инъ естъ сѣян и инъ естъ жънан [Мф. IV, 37].*

В противовес данным УСК употребляются в Зографском евангелии и УСК **НЕ ЛЪЖЕ СЪВѢДѢТЕЛЬСТВОУИ** [Мк. X, 19].

Не все этические ценности отражены в вербализаторах – УСК. Отсутствие таких у ценности **верность**, по-видимому, свидетельствует об относительности этого понятия для сознания средневекового славянина. Однако оно предстает в противоположных по смыслу УСК: **ОСТАВЪШЕ БО ЗАПОВѢДЪ БОЖИИ ДРЪЖИТЕ ПРѢДАНИѢ ЧЛОВѢЧСКА КРЪШТЕНИѢ КРЪЧАГОМЪ** [Мк. VII, 7].

Одной из важнейших этических ценностей средневекового славянина-христианина являлась **любовь**. В исследуемом памятнике она представлена довольно широко. «Любовь в христианском понимании – это и духовное тяготение одного человека к другому, и стремление сделать ему добро, и сострадание ему в тяготах его жизни» [Вендина 2002: 298]. Любовь к ближнему своему была одним из главных заветов Христа, поскольку любовь к Господу является своего рода результатом любви одного человека к другому. Отсюда употребление УСК **ЛЮБОВЬ БОЖИИ, ЛЮБИ СЪТВОРИТИ: СЛАВЫ ОТЪ ЧЛОВѢКЪ НЕ ПРИЕМАИ И РАЗОУМѢХЪ ВЫ ѢКО ЛЮБЪВЕ БОЖИИ НЕ ИМАТЕ ВЪ СЕБѢ** [Мф. IV, 41]; **ОУЖЕ ЛЮБИ СЪТВОРИ СЪ НЕИЖ ВЪ СРЪДЪЦИ СВОЕМЪ** [Ио. V, 28]. Любовь между людьми может возникнуть только в том случае, если она живет в сердце каждого человека: **О СЕМЪ РАЗОУМѢИТЪ ВСИ ѢКО МОИ ОУЧЕНИЦИ ЕСТЕ АШТЕ ЛЮБОВЬ ИМАТЕ МЕЖДУ СОБОИЖ** [Лк. XIII, 35]; **РЕЧЕ ВЪЗЛЮБИШИ ГОСПОДА БОГА СВОЕГО ОТЪ ВСЕГО СРЪДЪЦА ТВОЕГО И ВСЕИ ДОУШЕИ И ВЪСЕИ КРѢПОСТИИ ТВОЕИИ ВСѢМЪ ПОМЫШЛЕНЬЕМЪ ТВОИМЪ И ПОДРОУГА СВОЕГО ѢКО САМЪ СЯ** [Мф. X, 27].

По завету Христа, любовь должна распространяться не только на ближнего, но и на врагов: **АЗЪ ЖЕ ГЛАГОЛЮ ВАМЪ ЛЮБИТЕ ВРАГЫ ВАША БЛАГОСЛОВИТЕ КЛѢНЮЩИИ ВА** [Мк. V, 44].

Главные морально-этические установки содержатся в заповедях Христа: **НЕ ПРѢЛЮБИ СЪТВОРИ, НЕ ЛЪЖЕ СЪВѢДѢТЕЛЬСТВОУИ, НЕ ОБИДИ, ЧЪТИ ОТЬЦА СВОЕГО И МАТЕРЬ**, которые не обязательно встречаются в совокупности и могут

употребляться отдельно друг от друга: монсеиши бо рече чьти отьца твоего и матерь твою [Ио. VII, 10]; чьти отьца и матерь и възлюбиши искрънѣаго своего ꙗко самъ сѧ [Мф. XIX, 19]; богъ бо заповѣдѣ глагола чьти отьца и матерь [Лк. XV, 3]; отъвѣшта исоусъ азъ бѣса не имамъ нъ чьтѣ отьца моего и вы не чьтете [Лк. VIII, 49].

Нарушение новых этических норм, установленных христианской верой, отражается в УСК, которые обозначают отступление от веры или вообще от праведной жизни: прѣстѣпати слово божие, заповѣдъ прѣстѣпати ‘преступить, нарушить заповедь’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 552], осждити неповинныхъ ‘осудить невиновных’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 432, 370], отъврѣгнати свѣтъ божин, прѣлюбы сътворити ‘прелюбодействовать, совершать прелюбодеяние’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 545], зѣло сътворити ‘совершать зло, злое дело, дурной поступок’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 241], сътажати злато и сѣребро ‘удержать, сохранить богатство’ [Ст.-сл. сл. Цейтлин: 673], творити безаконие, дѣлати безаконие в значении ‘совершать действие противное христианской этике, законам церкви; безверие, иноверие, нечестивость’ [Сл. XI-XVII, вып. 1: 110]: прѣстѣпающе слово божье прѣданнемъ вашимъ еже прѣдасте и подобна такова многа творите [Лк. VII, 13]; рече отьцю своему се колико лѣтъ работаю тебѣ и николи же заповѣди твоѣя не прѣстѣпихъ [Лк. XV, 29]; почто вы прѣстѣпаете заповѣдъ божия за прѣдание ваше [Мф. XV, 4]; аште ли висте вѣдѣли чьто есть милости хощѣ а не жрѣтвѣ николиже оубо висте осждили неповинныхъ [Мк. XII, 7]; слышасте ꙗко речено бысть древнимъ не прѣлюбы сътвориши [Ио. V, 27]; и глаголи имъ достоин ли въ сѣботы добро творити ли зѣло творити [Лк. III, 4]; и ѿмонъ же рече имъ чьто зѣло сътвори они излиха въпиѣхъ глаголюште да распатъ бждетъ [Мф. XXVII, 24]; не сътажите злато ни сѣребра ни мѣди при поѣсѣхъ вашихъ [Лк. X, 9]; посълетъ сынъ чловѣчскы аѿгелы свои и съвержатъ отъ цѣсарьствиѣ его всѧ съблзны и твораштаѧ безаконие [Ио. XIII, 41];

и тогда исповѣмь имъ ꙗко николиже знахъ васъ отидѣте отъ мене дѣлаѣштии безаконіе [Мк. VII, 23].

Не менее значимыми для этических норм средневековых славян являлись поступки, связанные с покаянием, ибо, согрешив, средневековый славянин обычно каялся в своих грехах, надеясь на милость Бога и прощение. Этим объясняется употребление УСК грѣшникъ каѣштии сѧ: тако глаголюж вамъ радость биваетъ прѣдъ а҃нгелы божи о единомъ грѣшницѣ каѣштенмь сѧ [Мф. XV, 10]; глаголюж вамъ ꙗко тако радость бѣдетъ на небе о единомъ грѣшницѣ каѣштии сѧ [Мф. XV, 7].

Помимо этих УСК, в евангелии имеются 2 единицы, обозначающие покаяние как процесс: покаати сѧ въ проповѣдь, покаати сѧ проповѣдиѣ: ꙗко покааша сѧ проповѣдиѣ иониноѣ и се боле ионы съде [Ио. XII, 41]; мѣжи нине вѣитѣсци възкрѣснѣтъ на сѣдъ съ родомъ симъ и осѣдатъ и ꙗко покааша сѧ въ проповѣдь ионинѣ и се мѣножа съде ионы [Лк. XI, 32].

Во многом расширить представление об этических ценностях средневековых славян помогут УСК, характеризующие межличностные отношения: творити зѣло, прѣдавати порѣганію ‘предать осмеянию, поруганию’ [Ст.–сл. сл. Цейтлин: 481], хоулаж възводити ‘оскорблять, ругать, обвинять’ [Ст.–сл. сл. Цейтлин: 768], враждѣ имѣти междѣ собою ‘враждовать, питать вражду, злобу, ненависть’ [Ст.–сл. сл. Цейтлин: 122], прѣдати съмърти ‘убить’: и вѣ оубо въ правѣдѣ достоинна бо дѣломъ наю възприемлевѣ а съ ничьсоже зѣла не сътвори [Мк. XXIII, 41]; и сынъ чловѣчскъ прѣданъ бѣдетъ архіереомъ и кѣнижъникомъ и осѣдатъ и ѡзыкомъ на порѣганіе [Лк. XX, 19]; и бысте же си дроуга родъ же и пилатъ въ тѣ днь съ собою прѣжде бо бѣшете враждѣ имѣшита междю собою [Мк. XXIII, 12].

Наличие УСК, связанных с обозначением зла в межличностных отношениях, не может не свидетельствовать о существовавшей в средневековом

обществе определённой моральной концепции этих отношений, главным принципом которой были недоверие и осторожность [Вендина 2002: 130].

Однако, несмотря на обилие УСК, рисующих отношения людей Средневековья в тёмном свете, в языке Зографского евангелия встречаются УСК, характеризующие средневекового человека как личность, способную простить все обиды и покаяться в совершённых грехах, что связано, прежде всего, с заветами христианства, проповедуемыми Христом: **твoрити добро, отъпоустити грѣхы, покаати сѧ въ грѣсѣ, хвалѧ въздавати, отъпоустити длъгъ: нъ вамъ глаголъ слышаштимъ любите врагы ваша добро творите ненавидаштимъ васъ** [Ио. VI, 27]; **кольми оубо лоучни естъ чкъ овчате тѣм же достоинъ въ сѧботѧ добро творити** [Мф. XII, 12]; **глагола ослабленоуемоу чѧдо отъпоуштайтъ сѧ тебѣ грѣси твои** [Лк. II, 5]; **ѣко покааша сѧ проповѣдиѧ нониноѧ и се боле ноны съде** [Ио. XII, 41]; **и примъ чашѧ и хвалѧ въздавъ дастъ имъ се естъ кръвь моѣ** [Мк. XXVI, 27-28]; **милосръдовавъ же гъ раба того поустити и н длъгъ отъпоустити емоу** [Мф. XVIII, 26].

Особо следует заметить, что средневековый славянин был способен 'любить сердцем' представителя другого пола, однако плотская любовь вне брака осуждалась, даже если она возникала лишь в помыслах: **азъ же глаголъ вамъ ѣко въсѣкъ иже възьритъ на жегъ съ похотниѧ оуже любы сътвори съ неѧ въ срѣдци своемъ** [Мф. V, 28].

Великая морально-этическая мудрость заключается в УСК, которые являются своего рода жизненными установками, моделями поведения человека в обществе: **и ѣкоже хощете да творатъ вамъ чловѣци и вы творите имъ такожде** [Мф. VI, 31]; **всѣкомоу просаштюмо оу тебе дан и отамлежштааго твоѣ не истъзан** [Лк. V, 30]; **просаштюмоу оу тебе дан и хоташтааго отъ тебе заати не отъврати** [Мк. V, 42]; **имъ же бо сѧдомъ сѧдити сѧдатъ вамъ** [Ио. VII, 2]; **и не сѧдите да не сѧдатъ вамъ и не**

*ОСЖДАТЕ ДА НЕ ОСЖДАТЪ ВАСЪ ОТЪПОУСТИТЕ И ОТЪПОУСТАТЪ ВЫ ДАНТЕ И
ДАСТЪ СЯ ВАМЪ [Ио. VI, 37-38].*

Источники

Ягич, В. Зографское евангеліе / В. Ягич. – Ксерокоп. – Б.м., Б. г.

II.
Фрагменты языковой картины мира
носителей русского языка
(по источникам XVII–XIX вв.)

**УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВЕСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОГО БЛОКА «НАКАЗАТЬ»/«ОСВОБОДИТЬ
ОТ НАКАЗАНИЯ» КАК ВЕРБАЛИЗАТОРЫ ФРАГМЕНТОВ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ОППОЗИЦИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В.**

(на материале сочинений первого расколоучителя Ивана Неронова)

Устойчивые словесные комплексы (УСК) блока «наказать»/«освободить от наказания» рассматриваются нами как языковые средства отражения заключительного этапа в системе отправления правосудия 2-й половины XVII века. Система наказаний/поощрений, отраженная во фразеологическом корпусе сочинений одного из лидеров раскола русской церкви, позволяет выявить глубинные причины действий гонимых вдохновителей церковной борьбы в конфликте с властью, а также проследить реальную реакцию властных структур на эти действия в период первого этапа раскола.

Фразеосемантический блок УСК, формирующий оппозицию «наказать»/«освободить от наказания», в текстах И. Неронова достаточно обширен (115 ед. в 528 употреблениях, по 94 и 21 ед. соответственно) и разнообразен. УСК этого блока либо обобщенно указывают на сам процесс наказания, либо перечисляют виды наказаний, применявшиеся в период раскола русской церкви (*нужныхъ лишеніе, узы на выю полагати, посадити въ желѣза, держати въ желѣзѣхъ, посадити въ чепь, держати въ чепи, въ чепи мучати, цепь наложити, положити (великую) чепь, веригами обложити* и др.), или указывают на освобождение от некоторых из них.

Так, часть УСК *группы «наказать»* не сообщает о конкретном наказании, а лишь передает его значение абстрактными формулами, функционирующими в немалом количестве в исследуемых текстах: *наказаніе чинити (бесь пощадѣнія), учинити наказаніе (что великіи государь укажетъ), учинити наказаніе (смотря по винѣ), посадити въ тюрьму (до государеву указу)* и под., что соотносится с неопределенностью уголовных санкций Соборного

Уложения 1649 г. Такая форма санкций ставила личность преступника в полное подчинение правительственной, судебной и исполнительной власти.

В сочинениях И. Неронова функционирует большая группа УСК, характеризующих виды наказаний, которые применялись в рассматриваемый период отечественной истории. В исследуемых текстах в данную группу включаются два объединения УСК: первое указывает на светские наказания, второе – на церковные.

Первое объединение представлено подгруппами «телесно наказать», «лишить свободы», «сослать», «лишить чести и прав».

Соборное Уложение 1649 г. предусматривало два вида телесных наказаний: изувечивающие – отсечение рук, ног, пальцев, отрезание ушей, языка, вырезание ноздрей, клеймение (в текстах И. Неронова УСК, репрезентирующие данный вид наказаний, полностью отсутствуют); болезненные – битье кнутом, батогами и правеж. 1-я подгруппа состоит из УСК, характеризующих болезненные телесные наказания: *кнутомъ бити, бити немилостивно, безпрестанно бити, батогами бити, правежь учинити*. Несмотря на то, что духовенство, по свидетельству исторических документов, как особое сословие наделялось рядом привилегий и льгот, в частности, безусловным освобождением от телесных наказаний, функционирование УСК в исследуемых текстах противоречит этому факту: единицы, указывающие на характер телесных наказаний в сочинениях И. Неронова, имеют четкую функциональную прикрепленность – характеризуют санкции, применявшиеся к духовным лицам – первым расколоучителям (к самому автору, к Аввакуму, к соловецким старцам) до лишения их духовного сана и отлучения от церкви собором 1656 г.: «...а сам (патриарх Никон) <...> старца соловецкаго и въ крестной день велѣль еси битъ немилостивно» (I: 47–48)¹ (из сочинения И. Неронова, относящегося к 1653 г.); «и въ осмыи день привезли меня въ городъ на царе-борисовскои дворъ и тутъ били кутомъ

¹В дальнейшем ссылки на сочинения И. Неронова будут даваться в круглых скобках так:

(I) – все сочинения И. Неронова, цитируемые по изданию: Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875.

(II) – Записка о жизни Ивана Неронова, цитируемая по изданию: Памятники литературы древней Руси. XVII век. Книга вторая. – М. : Худ. лит., 1998. – С. 337 – 350.

немилостивно» (I: 50) (сочинение того же периода); «он (Аввакум – М. К.) *шесть лѣтъ он государь въ даурахъ во изгнаніи терпѣль <...> и кнутомъ битъ и всяко мучень...*» (I: 200) и др.

И. Неронов упоминает и о другом наказании – лишении свободы – тюремном заключении, которое было срочным (от 1-го дня до 4-х лет) или бессрочным («до государева указа»). По Уложению арестантов могли «из тюрьмы вынимая посылать в кандалах работать <...> где государь укажет» [Соб. Ул., гл. 21, ст. 9, 10, 16]. В сочинениях И. Неронова 2-я подгруппа УСК объединена сложной семьей 'лишить свободы' и включает 8 единиц – *въ темницу посадити, всадити въ темницу, въ темницы заточити, за сторожами держати, безпрѣстани дозирати* за кем-л. и др.

Глагольный компонент УСК *беречь накрѣпко и беречь съ великимъ береженіемъ* реализует значение 'стеречь, держать под стражей' [СРЯ XI–XVII вв. 1: 146–147], зависимый же компонент выступает в роли непосредственного интенсификатора – *накрѣпко* – 'интенсивно' [СРЯ XI–XVII вв. 10: 126] либо дублирует указанное значение (береженье – 'охрана', 'содержание под стражей' [СРЯ XI–XVII вв. 1: 143]), усиливается интерпозитивным определением-интенсификатором (*великии* – 'значительный' по каким-л. параметрам [СРЯ XI–XVII вв. 2: 61–63]). УСК *безпрѣстани дозирати за кем-л.* построено по тому же принципу: стержневой компонент реализует значение 'осуществлять надзор за кем-л.', 'нести сторожевую службу' [СРЯ XI–XVII вв. 4: 286], зависимый компонент вносит в УСК смысловую интенсификацию (*безпрѣстани* – 'постоянно' [Ст.-сл. сл. Цейтлин 1994: 82]).

Практически все УСК, характеризующие в текстах И. Неронова тюремное заключение, соотносятся с языковыми единицами, указывающими на крестьян – укрывателей расколоучителей, а не на активных деятелей раскола. Напр., «*что ты святитель приказаль меня искати по всему росіискому государству и многихъ мене ради <...> въ темницы заточиль*» (II: 342).

В исследуемых текстах обнаружено 17 УСК 3-й подгруппы с общей семьей 'ссылать/сослать' или 'быть сосланным' – *разослати въсылку, сослати въ*

сылку, въ (дальное) заточеніе посылати, въ дальныя страны заточати/сослати/послати, за тысящи поприщъ сослати, заточати въ краи росіискаго государства, послати съ москвы (выслать из столицы), заточити за окіянь море, отъслати/сослати въ пустыню, послати/(от)дати подъ (крепкое) начало/подъ (крепкое) начало пос(ы)лати/(от)дати, сослати подъ началъ, по отпискѣ сослати, далѣ посылати, отослати въ пустыню, изгнати далѣ; во изгнаніи быти, въ изгнаніи терпѣти.

Компоненты части УСК данной подгруппы *послати (посылати), заточити (заточати), изгнати* «Словарем русского языка XI–XVII вв.» трактуются через ‘сослать’ (‘ссылать’), ‘отправить в ссылку’ [СРЯ XI–XVII вып. 17: 174–175 (272); 5: 324; 6: 136].

Фактически все названные УСК в сочинениях И. Неронова характеризуют наказания, применявшиеся непосредственно к первым расколоучителям, а в большинстве употреблений – к самому автору исследуемых текстов: «*а въ государевѣ грамотѣ написано принявъ меня ему архіепископу <...> отослати въ пустыню...*» (I: 230); «*не довлѣетъ бо ему се но и въ дальныя страны въ заточеніе кождо насъ посылаше нуждо*» (I: 86); «*и того ради обличенія заточилъ меня убогова въ стокъ окіяна моря краи росіискаго государства...*» (I: 237) и др.

Достоверность сообщений опального протопопа подтверждают исследователи. Уже в 1653 г., называемом историками годом исторического, а не фактического начала раскола, в числе важнейших событий, заносимых в хронологические таблицы, значится «ссылка четырех влиятельных протопопов (Ивана Неронова, Аввакума, Логина и Даниила)»; следующий год в той же хронологической таблице отмечен «ссылкой Коломенского епископа Павла» [Хронология: Эл. ресурс].

Ссылка в большинстве случаев применялась как дополнительная мера к основному наказанию. Но, судя по контекстуальному окружению УСК сочинений И. Неронова, ссылка для ключевых фигур первого этапа раскола применялась в качестве основного наказания в ряду светских наказаний.

Ссылка имела большое значение как колонизационное средство в период расширения Русского государства. Чтобы удержать ссыльных от побегов, их, как правило, высылали вместе с семьями. Видимо, поначалу в отношении первых расколоучителей эта мера применялась «усеченно». На это указывает УСК *зѣ/со женами и зѣ дѣт(ь)ми разлучити/-ати*, обнаруженный в текстах И. Неронова в 5-ти употреблениях. Напр., «...ты (патриарх Никон – М. К.) <...> протопоповъ и поповъ далѣ посылаешъ зѣ женами и зѣ дѣтьми разлучаешъ • доселѣ ты другъ нашъ былъ на насъ воссталъ», – пишет в росписи спорных речей с патриархом Никоном И. Неронов (I: 47).

Исторические источники свидетельствуют, что И. Неронова в ссылке в Каменском монастыре регулярно посещали «отъ всехъ странъ боголюбцы, многихъ градовъ люди и дворяне, посещения ради» [Макарий 1883: 110]. Нашел возможность нанести личный визит ссыльному Неронову и один из его ближайших единомышленников – протопоп Логин, несмотря на то, что сам в это время был сослан «въ Муромские пределы подъ строгіи надзоръ» [Макарий 1883: 111]. В Каменском монастыре посетил И. Неронова и остался при нем в качестве ученика и писца игумен Московского Златоустовского монастыря Феоктист. Получив донесение об этих фактах, Никон отдал приказ (1 июня 1654 г.) сослать И. Неронова на отдаленный север в Кандашский монастырь, велел держать его там «въ чепи», «въ железѣхъ» и «чернилъ» ему «не давать».

Обнаруженный в сочинения И. Неронова УСК *чернилъ лишити* указывает на упомянутое выше распоряжение относительно содержания расколоучителей (и, в частности, содержания Неронова в Кандашском монастыре), которое было вызвано активной перепиской деятелей раскола между собой, их посланиями к высшим лицам государства, рассылкой манифестов «всей братии». Но приписки И. Неронова к своим посланиям типа «и ты меня господа ради <...> въ томъ государь прости что я сіе таино писалъ потому что <...> велѣно меня держать въ чепи и въ желѣзѣхъ и чернилъ не давать» (I: 108); количество писем из ссылки; сведения о несохранившейся обширной текстологической работе И. Неронова по сверке церковных книг (10 тетрадей

«О святѣмъ истиннѣмъ дусѣ»), представленной по возвращении из ссылки царю, позволяют увидеть, насколько непоследовательно исполнялись распоряжения властей о содержании ссылных расколоучителей.

Встреченные в текстах лидера первого этапа раскола УСК 4-й подгруппы чести лишити, чина лишити, позоръ творити (*позоръ* – ‘бесчестье’ [СРЯ XI–XVII вып. 16: 122–123]), *въ калѣ вътоптати* характеризуют лишение чести и прав – вид наказания, применявшийся к представителям привилегированных групп, в том числе к сторонникам И. Неронова. Обвиненного могли лишить чина, права заседать в Думе или приказе, лишить права обращаться с иском в суд (условно говоря, это напоминало частичное объявление вне закона – «государевой немилости»).

УСК *богатство отъяти*, обнаруженный в сочинениях И. Неронова, характеризует имущественное наказание – конфискацию имущества.

К группе УСК «наказать» примыкают некоторые единицы, отражающие крайние результаты наказаний, применявшихся во времена И. Неронова. Это прежде всего УСК со сложной семой ‘перейти из состояния бытия в состояние небытия вследствие применения какого-либо наказания’. В рассматриваемый период существовало по меньшей мере 8 видов простой и квалифицированной смертной казни. Но в сочинениях И. Неронова ни один УСК фразеосемантической группы «наказать» не подразумевает насильственного, умышленного прекращения существования наказываемого лица, и лишь некоторые УСК (5 ед.) называют случаи летального исхода ввиду чрезмерного усердия исполнителей наказания либо невыносимых условий в местах заключения: *умучати до смерти, страдати до смерти, въ темницѣ уморити, въ темницѣ умрѣти/помрѣти, умрѣти отъ великя нужды* (*нужда* – ‘насилие, принуждение, притеснение’ [СРЯ XI–XVII вв. 11: 441]). Данные единицы в исследуемых текстах имеют четкую функциональную прикрепленность – характеризуют действия патриаршего судебного аппарата в отношении крестьян – укрывателей расколоучителей (в большинстве употреблений – укрывателей самого автора) либо состояние самих крестьян

вследствие применения к ним наказания за укрывательство: «и я, убогий слыша про то дѣло что многіе простеишіе христоролюбивые во мнѣ страждутъ до смерти отъ него никона и пришель к москвѣ явился ему и учаль его паки обличати въ его звѣрообразномъ мученіи что многихъ мене ради умучиль до смерти...» (I: 238); «что ты святитель приказаль искать меня по всему росіискому государству и многихъ мене ради муками обложиль и въ темницы заточиль <...> иніи же въ темницахъ помроша <...> и что вина ея же ради таково взысканіе твориши о мне?» (II: 342); «християня же волости тоя скрыша григорія (Неронова – М. К.) <...> паки патриархъ повелѣ многихъ прислатъ въ ту волость <...> оковавъ <...> въ темницу посадити повелѣ • и мнози отъ нихъ в темницѣ помроша отъ великия нужды <...> любви ради • ея же имѣяху к иоанну (Неронову – М. К.)» (II: 341) и т. д.

УСК казнь пріяти/пріимати/пріяти казнь функционируют в текстах И. Неронова в сочетании с УСК вѣдущіи таинная сердцеъ (нашихъ) (субъектные отношения), являющимся одним из наименований христианского Бога: «...впредь буду ему великому государю извѣщать • да не пріиму казни отъ вѣдущаго таинная сердцеъ нашихъ» (I: 239); «кто явится богохульникъ или кто слыша не извѣститъ тѣ казнь пріемлютъ отъ вѣдущаго таинная сердцеъ...» (I: 233) и др. Первым значением компонента казнь словари называют ‘кару, возмездие’ [СРЯ XI–XVII вып. 7: 25], в религиозной картине мира связанных с представлением о божественном наказании.

В целом анализ УСК группы «наказать» показал, что характер наказаний в отношении И. Неронова и его единомышленников был относительно мягким: отсутствуют УСК, называющие не только виды квалифицированной смертной казни, но и простой; нет УСК, называющих умышленные убийства, изувечивающие телесные наказания и под.

Как свидетельствуют статьи Соборного Уложения 1649 г., наказания во времена И. Неронова носили предупреждающий характер и содержали принцип идеального талиона. Целями наказания по данному своду законов были устрашение и возмездие, изоляция же преступника от общества преследовала

дополнительную и второстепенную цель. УСК фразеосемантической группы «наказать»/«освободить от наказания», извлеченные из текстов И. Неронова, позволяют говорить о том, что основной формой наказаний в отношении первых расколоучителей была именно изоляция, и носили эти наказания воспитательный характер: *сослати въ сылку, въ заточеніе посылати, посылати въ монастырь* и проч.

Весьма симптоматично, что УСК, описывающие в текстах И. Неронова наказания, связанные с более жесткими притеснениями, напрямую не соотносятся с крупными идеологами раскола, а характеризуют меры властей, направленные против «людеи божіихъ», крестьян, скрывавших вдохновителей протеста против никоновской реформы.

Во времена Ивана Неронова Церковь в своей деятельности опиралась на целую систему норм церковного права, содержащихся в Кормчей книге, в Правосудье митрополичьем и в Стоглаве. Ответственность за наиболее тяжкие религиозные преступления предусматривалась Соборным Уложением 1649 г. Виновники тяжких религиозных преступлений подвергались двойной каре: со стороны государственных и церковных инстанций (наказывали по постановлению церковных органов, но силами государственной исполнительной власти – разбойного, сыскного приказов). Церковное право предусматривало собственную систему наказаний.

В сочинениях И. Неронова объединение УСК, характеризующих церковные наказания, представлено 5-ю подгруппами: «отлучить от церкви», «заточить в монастырь», «лишить церковного сана», «запретить вести церковную службу», «отлучить от причастия».

Фразеосемантическая подгруппа «отлучить от церкви» группы «наказать» в исследуемых текстах представлена шестью УСК – *клятве прѣдавати/предати, клятву положити, подѣ клятвою (быти/устроити)* (*клятва* – ‘проклятие, осуждение, предполагающее невозможность какого-л. компромиса, прощения’ [СРЯ XI–XVII вып. 7: 191]), *уздою анафемы связати* (*анафема* – ‘отлучение от церкви, проклятие’ [СРЯ XI–XVII вып. 1: 37]), *отъ*

церкви отсѣци, отлучити отъ церкви. Отлучение от церкви являлось одним из серьезнейших наказаний. В сочинениях И. Неронова УСК, называющие данный вид наказания, употребляются либо в связи с описанием вмешательства в церковные догматы, либо в связи с указанием на прямое неповиновение постановлениям церковных иерархов: *«или святыи вселенскіи соборъ иже вся члены церковныя утверди и твердо заключи входъ еретикомъ **предая клятвѣ отмечающія** что или **прибавити** покусившихся свое смышлениемъ...»* (I: 89); *«и патриархи тебѣ писали за своими руками что креститися трема (персты – М. К.) подобаетъ **непокоряющихъ** же **подъ клятвою** и **отлучениемъ** **устроити** заповѣдаша»* (II: 342) и др.

Исключительность меры наказания, объективированного УСК данной группы, подтверждает и реакция самого И. Неронова, выявляемая по хронологической таблице важнейших светских и церковных событий:

«1656 г. – Заочное обсуждение и проклятие патриархом на Соборе Григория Неронова и его единомышленников. Фактическое начало русского раскола»;

«1657 г. – Примирение патриарха Никона со старцем Григорием Нероновым, покаяние последнего, снятие с него церковного проклятия» [Хронология: Эл. ресурс].

Эти два события в числе прочих, относящихся к указанным годам, следуют одно за другим с разницей в несколько месяцев: ни одна карательная мера властей, применявшаяся к И. Неронову до этого момента, не вызывала столь быстрых действий со стороны самого идеолога раскола по отмене применяемого наказания. При возникновении угрозы повторного отлучения на Соборе 1667 г. Иван Неронов пишет покаянное письмо вселенским патриархам и навсегда отходит от раскольного движения.

Психологически И. Неронов не считает возможным для себя и своих единомышленников отлучение от церкви: в текстах И. Неронова УСК подгруппы «отлучить от церкви» никак не связаны с фигурой самого автора исследуемых текстов и прочих участников раскольного движения.

2-я подгруппа УСК называет часто применявшееся по отношению к сподвижникам И. Неронова наказание – заточение в монастырь: *заточити въ монастырь, послати въ монастырь, въ монастырь постричь, сослати въ монастырь, потерпѣти въ келіи, въ черныхъ службахъ (быти/ходити/держати)* (6 ед.). Данные единицы в сочинениях И. Неронова имеют четкую функциональную прикрепленность: они характеризуют наказание, применявшееся к идеологам и активным деятелям раскольного движения на первом этапе (в том числе к самому автору исследуемых текстов): «...въ грамотѣ о мнѣ ко властемъ <...> велено въ черныхъ службахъ ходити» (I: 51); «и про то великое божие дѣло онъ архиепископъ симонъ не сыскивалъ <...> а меня **послалъ** под начало **въ монастырь** къ спасу на прилуки...» (I: 229); «протопопъ иоаннъ нероновъ **сосланъ** былъ **въ ссылку** отъ патриарха Никона за Вологду въ каменской монастырь» (II: 337); «того ради онъ (протопоп Логин – М. К.) отъ тебя **сосланъ** былъ подъ началъ **выосифовъ монастырь**» (I: 49) и др.

3-я подгруппа объединяет 5 УСК со сложной семой ‘лишить церковного сана’: *скуфью сняти/сняти скуфью (скуфью сняти съ кого-л. – ‘лишить священнослужителя прав сана, запретить отправление священнических обязанностей’ [СРЯ XI–XVII вып. 25: 49], святительской власти отставити (святительский – ‘относящийся к духовному лицу’ [СРЯ XI–XVII вып. 23: 208], от сана изврѣщи, отъ сана отлучити, изгнати съ (святительскаго) престола*. Присутствие подобных УСК в текстах И. Неронова понятно, ибо лишению церковного сана на том или ином этапе раскольного движения подвергались практически все священнослужители, уличенные в сопротивлении церковной реформе: «и привезли въ соборную церковь и патриархъ никонъ велелъ съ меня крутицкому митрополиту селиверсту и **скуфию сняти**» (I: 50); «отрекшагожеся имене епискупскаго <...> **отъ сана изврещи повелеваютъ**» (I: 169); «...не о сихъ же точию но и о всехъ по благочестию ревнителеи архиеревъ же и иеревъ **изгнанныхъ** своихъ **престоль** отъ <...> духовныхъ властеи...» (I: 97–98).

4-я подгруппа УСК, выражающая запрет на ведение церковной службы, не могла не проникнуть в сочинения И. Неронова, ибо лишение священного сана подразумевало отстранение от священнических обязанностей, но, в свою очередь, запрет на ведение церковной службы совсем не подразумевал лишения духовного сана, являясь отдельной предупредительной мерой. В исследуемых текстах четвертая подгруппа представлена тремя УСК: *запретити отъ службы, отъ (священныя) службы отлучити/отлучити отъ (священныя) службы, отъ священства отлучити*. Данные УСК в текстах И. Неронова всегда характеризуют наказание по отношению к первым активным расколоучителям. Напр., «павель митрополитъ сарскіи и подонскіи <...> *восталь паче всехъ архіереевъ* <...> *и отъ священныя службы отъ всея отлучиль мя* другои год» (I: 239); «...тако же и соловецкаго монастыря архимарита Илюю *запретивъ отъ службы*» (II: 340) и др.

5-я подгруппа объединяет пять УСК со значением ‘отлучить от причастия’: *(отъ (прѣ)святыхъ) (прѣ)чистыхъ) таинъ отлучити, безъ общенія святыхъ таинъ оставити, запрѣтити отъ общенія прѣчистыхъ таинъ, лишити общенія/общенія лишити* (общеніе – ‘причастие’ [СРЯ XI–XVII вып. 12: 194]), *отъ комканія отлучити* (комканіе – ‘причастие’ [СРЯ XI–XVII вып. 7: 63]): «въ монастырѣ же кондаложскомъ многу молву воздвиже никонъ патриархъ иоанна (Неронова – М. К.) ради и *запретивъ* игумену и братію *отъ общенія прѣчистыхъ таинъ* игумена же *отъ службы...*» (II: 340); «а никонъ аще и мучиль но *отъ прѣчистыхъ таинъ не отлучаль* меня *грѣшнаго...*» (I: 239); «...православніи патриарси <...> про што меня *грѣшнаго мучать и отлучень отъ прѣчистыхъ таинъ и отъ священныя службы другои годъ...*» (I: 224).

К УСК, называющим виды церковных наказаний, в сочинениях И. Неронова примыкает и оборот *въ послушаніи (быти)* у кого-л. Послушаніе – ‘вторая степень епитимии’ [СРЯ XI–XVII вып. 17: 189].

Все названные И. Нероновым виды церковных наказаний применялись к людям, близким автору, и неоднократно – к самому лидеру церковной оппозиции на первом этапе раскола.

Наличие в текстах И. Неронова оппозиционной пары в фразеосемантическом блоке «наказать»/«освободить от наказания» указывает и на возможность освобождения от многих из указанных наказаний (*отъ изгнания возвратити, изподъ началу свободити, по государеву указу отпустити, (о)свободити исъ темницы, стати свободень, поити свободень, отъ дѣла свободень/свободити, изъ заточенія свободити, отъ слезъ свободити, честь вернути/даровати, возвратити на (свои) прѣстоль* (престол – ‘епископская (архиерейская) кафедра как символ духовной власти’ [СРЯ XI–XVII вып. 19: 56-57]), *безпечально житіе вернути/даровати, (о)свободити отъ вѣчныя бѣды, въвести въ церковь, входъ въ церковь получитьи, приобщати/приобщити къ церкви, отъ архіепископа свободити, примирити къ богу, отъ туги свободити* – 19 ед.): «*благочестивый государь царь слышавъ отъ протопопа Стефана о иоаннѣ въскорѣ повелѣ грамоту послати да свободятъ иоанновыхъ (Ивана Неронова – М. К.) работников исъ темницы*» (II: 340); «*онъ же въ то время учинился милостивъ ко мнѣ и многих изъ заточения кои мене ради сосланы свободиль...*» (I: 238); «*царь же <...> слышавъ прецение брата своего <...> первую честь дарова святителемъ возведъ кождо ихъ на свои престолю*» (I: 98) и пр.

Более того, одна из фразеосемантических групп, тесно связанных со второй частью антонимической пары, образующей группу «наказать»/«освободить от наказания», прямо указывает на способ этого освобождения. Группа объединена сложной семьей ‘публично покаяться’ (*покорятися собору, прощатися передъ (освященнымъ) соборомъ, разрешения искати, разрешения просити, приносити покаяніе, поразумѣвше покаятися, повинитися въ грѣшномъ дѣлѣ, плакати (свою) грѣшную душу, повинитися въ прѣступленіи, просити помилования* – 10 ед.). Покаяние дает возможность избежать как наказания земного суда, так и суда высшего. УСК *приносити покаяніе* и глагольные компоненты *покаятися, повинитися* УСК *поразумѣвше покаятися, повинитися в грѣшномъ дѣлѣ, повинитися въ прѣступленіи* имеют четыре «семантических места» [Никитина 1993: 146]: субъекта (кто), адресата (кому),

объекта/содержания (в чем) и внутреннего атрибута (как – *слезно, с великимъ рыданиемъ, съ воплемъ* и под.). В текстах И. Неронова встречаем: «...азь (кто – М. К.) *стражду грехъ моихъ ради* <...> у вас же *великихъ архиереевъ* (кому – М. К.) <...> со слезами (как – М. К.) *разрешения прошу* <...> припадая къ вашимъ святымъ и благодетельнымъ стопамъ (как – М. К.)...» (I: 233). Важно также указание на ограничения во времени: для мирского/земного суда – в основном не позже окончательного вынесения приговора либо приведения его в исполнение, для высшего суда – необходимость успеть покаяться при жизни вовремя, «ибо не есть в аде покаяния».

Фразеосемантическая группа УСК с общей семой ‘наказать’ включает в себя ряд УСК, отмеченных положительной оценкой и содержащих сему ‘наказания от бога’ (по воле бога) /‘благоденія’, – *наказати духомъ кротости, отлучити отъ грѣшникъ, богоподражательно взыскати, подѣ началомъ у христа (быти), содержати по христовыхъ законѣхъ, пожаловати въ пустыню, отослати въ пустыню, въ пустыню отпустити* (8 ед.): «а въ государевѣ грамотѣ написано принявъ меня ему архіепископу <...> **отослати въ пустыню ко всемилостивому спасу**» (I: 230). Ср. просьбы И. Неронова: «**отпусти** меня государь **въ пустыню ко всемилостивому спасу на сару**» (I: 200); «о сем просимъ иже мози **богоподражательно взыскати и спасти погибшія**» (I: 172); «даждь намъ учителя егоже волить и хоцетъ господь верна и непостыдна могущаго **наказати духомъ кротости**» (I: 171) и др.

Полюсами группы единиц, называющих результаты судебного процесса, являются два УСК, обнаруженных в текстах И. Неронова, – *свергнути во адъ* и *даровати царствіе небесное*. Компоненты *адъ* и *раи* противопоставлены друг другу как языковые средства отражения «материализованного воплощения божественной награды и наказания» [Никитина 1993: 117].

Данная оппозиция весьма характерна для религиозного сознания (а в рассматриваемый период отечественной истории всякое сознание являлось религиозно отмеченным). Она навязывала носителю языка представление о земных несправедливостях и притеснениях как о преходящих явлениях

ситуативного характера, как испытаниях, необходимых для обретения высшей благодати.

Нужно отметить, что для И. Неронова в целом нехарактерно обращение к данным архетипам как реальным последствиям человеческих проступков. Так, УСК *царствіе небесное* в трех из четырех употреблений входит в состав прямых цитат из Евангелия и лишь однажды упоминается как обещание награды за реальные прижизненные действия: «сего дѣля молю буди чадо свѣту и сыну воскресения о любезныи мои благимъ ти произволениемъ да наслѣдникъ будещи **царствию небесному** о Христѣ Исусѣ Господѣ нашемъ» (I: 77). УСК же *свергнути во адъ* соотносится с УСК *свергнути отъ небесьнаго жилища* и имеет прямую отсылку к библейскому сюжету изгнания сатаны из рая: «...яко сатану **свержена во адъ отъ небеснаго жилища** гордости ради и зависти достоино осуди» (I: 184).

Возможно, в восприятии И. Нероновым абсолютного плюса и абсолютного минуса в системе наказаний и поощрений и кроется отказ от смирения, презрение к терпению (в его текстах практически нет характерных для русского менталитета УСК с семей 'терпеть' применительно к реальным людям). Его стремление непременно добиться «правды» при «земной жизни» дало повод Н. Ф. Филатову определить «предтечу раскола» как «неукротимого и не особенно разбирающегося в средствах борьбы человека» [Филатов 1993: 321], благо, наказания до Собора 1667 г. для идеологов раскольного движения не отличались чрезмерной суровостью.

Источники

I.

Письмо Ивана Неронова протопопу Стефану Вонифатьеву изъ Спасокаменнаго монастыря, отъ 27 февраля 1654 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 70 – 78.

Другое письмо Неронова к протопопу Стефану Вонифатьеву из Спасокаменнаго монастыря, отъ 2 мая 1654 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 84 – 94.

Письмо Неронова къ Стефану Вонифатьеву изъ Вологды, отъ 13 июля 1654 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 94 – 108.

Послание протопопа Ивана Неронова к царю Алексею Михайловичу изъ Спасокаменнаго монастыря, от 6-го ноября 1653 (1653) г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 34 – 40.

Второе послание Неронова къ царю Алексею Михайловичу изъ Спасокаменнаго монастыря, от 27 февраля 1654 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 51 – 69.

Старца Григория Неронова челобитная царю Алексею Михайловичу за протопопа Аввакума, поданная 6-го декабря 1664 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 198 – 201.

Челобитная Ивана Неронова царю Алексею Михайловичу о скорейшемъ избрании патриарха вместо Никона // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 167 – 179.

Другая челобитная Неронова царю Алексею Михайловичу о избрании преемника патриарху Никону // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 179 – 192.

Послание Неронова къ царице Марье Ильиничне из Спасокаменнаго монастыря, от 2-го мая 1654 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 78 – 83.

Роспись спорныхъ речей протопопа Ивана Неронова съ патриархомъ Никоном // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 41 – 51.

Дело по извѣтамъ Неронова на Иону митрополита ростовскаго и Симона архиепископа вологодскаго // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 192 – 198.

Дело по новымъ извѣтамъ Неронова на Симона архиепископа вологодскаго // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 201 – 208.

Письмо Неронова къ некоему Афанасью Максимовичу // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 222 – 223.

Молебное послание Неронова къ вселенскимъ патриархамъ (1666 г.) // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 223 – 224.

Челобитная Неронова вселенскимъ патриархамъ о разсмотрении его дела // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 224 – 240.

Покаянное послание старца Григория Неронова к царю, патриархам и всему собору, 1667 г. // Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н. Субботина. – Т. 1. – М. : Братское слово, 1875. – С. 240 – 243.

II.

Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. – М. : Худ. лит., 1998. – С. 337 – 350.

Н. В. Меркулова

ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII СТОЛЕТИЯ О НАКАЗАНИЯХ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ЗАКОНА (на материале следственного дела Ем. Пугачева)

«Личность есть характеристика человека с точки зрения его участия в общественной жизни и значительности роли, которую он в этой жизни играет» [Кнабе 1990: 10]. Ем. Пугачев именно такая личность: яркая, колоритная, самобытная. В последней трети XVIII столетия он появился на политической арене России в качестве бунтаря, предводителя Крестьянской войны и самозваного претендента на императорский трон.

Лингвистический анализ подлинных документов, связанных с деятельностью Ем. Пугачева, помогает пролить свет на его личностные качества, которые способствовали утверждению Пугачева в роли лидера бунтующего народа. Язык допросных речей говорит более объективно, чем версии историков и образы, созданные беллетристами. Следственное дело Ем. Пугачева, избранное нами в качестве источника когнитивного анализа, представляет собой типичные образцы деловой разновидности русского литературного языка 70-х годов XVIII века. В то же время оно отражает устную

речь конкретной исторической фигуры, а потому является беспристрастным документом, позволившим нам реконструировать языковую личность Пугачева. Воссоздание же реальной русской языковой личности XVIII в. дает богатейший материал для описания языковой картины мира (ЯКМ) носителей русского языка того же периода.

Немаловажной для характеристики языковой личности Ем. Пугачева является группа языковых единиц 101 в 556 употреблениях, объединенных комплексом сем 'подвергнуть наказанию, каре, возмездию' [СРЯ XVIII вып. 13: 209-210].

И самозванство как историческое явление, и воинская служба предполагают установленную обществом систему наказаний. Поэтому описываемая группа занимает определенные зоны в лексико-фразеологических полях (ЛФП) концептов «МЯТЕЖ», «ЗАГОВОР», «САМОЗВАНСТВО», «ВЛАСТЬ», отражающих сущность языковой личности Ем. Пугачева.

Пугачев был и самозванцем, и военным человеком, поэтому он не только знал о системе наказаний, но и сам ее частично вводил в повстанческой армии. В то же время он понимал, что в конечном итоге будет и сам наказан за свою деятельность. Поэтому единицы данной группы помогут нам ответить на вопросы, связанные с отношением Пугачева к пыткам, казням, а также понять его поведение на допросах с пристрастием. Конечно, по изучаемым материалам невозможно получить полного ответа на поставленные вопросы, так как главные страдания в своей жизни Пугачев перенес после завершения следствия, но и факты, отраженные в следственном деле, говорят о многом, тем более, что самозванец подвергался наказаниям не один раз в своей жизни.

Группа с комплексом сем 'подвергнуть наказанию, каре, возмездию' делится на четыре подгруппы:

- 1) языковые единицы, называющие меры воздействия на провинившегося;
- 2) языковые единицы, называющие орудия наказания;
- 3) языковые единицы, называющие виды наказания;

4) языковые единицы, называющие субъектов и объектов наказания.

В первую подгруппу входят 69 процессуальных единиц (употребленных в следственном деле 362 раза) с дополнительным комплексом сем ‘меры воздействия на провинившегося’. Всю подгруппу на основании порядка ведения следствия можно разделить на три разряда:

а) языковые единицы, называющие действия, направленные на розыск и задержание провинившегося;

б) языковые единицы, называющие действия, направленные на выяснение чего-либо;

в) языковые единицы, называющие действия, связанные с исполнением наказания.

В первый разряд входят языковые единицы, называющие действия, направленные на розыск и задержание провинившегося (18 лексем и УСК в 89 употреблениях). К самым частотным из них относятся единицы *сыскивать*, *связать*, *перевязать*, *осилить*, *заарестовать*, *поймать*, *схватить*, *задержать*, *взять под караул*.

Все языковые единицы данного разряда формируют два синонимических ряда в соответствии с порядком действий, направленных на розыск и задержание провинившегося:

а) *сыскивать/сыскать*, *розыскивать/разыскать* и др. объединены комплексом сем ‘стараться найти, обнаружить; разыскивать’ [СРЯ XVIII вып. 9: 114]. В данном ряду к глаголам примыкают отглагольные существительные, для которых процессуальное значение является ведущим: *А розыск сей чинили Авчинников и Давилин: Перфильев в то время был при пушках* [СД № 1, л. 136: 100]; *Оной же Серебрецов сказывал ему (Ем. Пугачева — Н. М.), что он послан был с помянутыми казаки из Яицкого войска под камандою оного Копеечкина для сыску и поимки его, Емельки* [СД № 3, л. 304: 179];

б) *поймать*, *связать*, *перевязать*, *заарестовать*, *схватить*, *задержать*, *взять под караул* и др. имеют общее значение ‘лишить свободы’ [СРЯ XI-XVII вып. 23: 200]: *На то я говорил: «Что вы это вздумали, беду и с мною делаете,*

ниравно будет погоня, так — по поимке — и меня **свяжут**, в тех мыслях, якобы вас подговорил, а я в том безвинно отвечать принужден буду» [СД № 1, л. 103: 60]. Только в этом синонимическом ряду мы можем наблюдать два термина: *арестовать* (в просторечной форме *заарестовать*) и *взять под караул*. Оба термина являются как военными, так и юридическими, поэтому они могут относиться к разным группам ЛФП (о чем мы говорили выше); вторая единица представлена в виде УСК, зафиксированного в СРЯ XVIII века и с военным, и с юридическим значением [СРЯ XVIII вып. 9:254], но ее семантика в контексте определяется только как юридическая: *Понеже он, Пугачев, в сие время сказывался купцом, и когда под сим званием **взят** был **под караул**, то малыковской управитель <...> стал его сечь и, узнав прямое звание, послал его в Синбирск* [СД № 2, 52 об.: 111]. Все единицы данного синонимического ряда могут служить средствами обозначения действий, направленных как против пугачевцев, так и против повстанцев: *А поутру Авчинников по предательству илецких казаков в Илек вошел и атамана Портнова **заарестовал**, а мне дал знать чрез казака* [СД № 1, л. 123 об.: 82]; *В Добрянске на форпосте сказался он польским выходцем, как и в прежнем допросе объявил, утаевая прямое свое название для того, что естли бы сказался он служивым, то бы его **задержали*** [СД № 2, л. 48-48 об.: 107]; *Я, слава богу, уиол, а товарища моего, Курицу, **схватили*** [СД № 1, л. 117: 75].

Второй разряд насчитывает 13 единиц (в 116 употреблениях) со значением ‘действия, направленные на выяснение чего-либо’: *спрашивать, допрашивать, расспрашивать, очная ставка, распрос, допрос* и др. Необходимо сразу оговориться, что для представленных в данной группе существительных процессуальность является основополагающей семой, поэтому они и примыкают к данному разряду.

Языковые единицы *допрос, распрос, очная ставка* обозначают ‘опрос обвиняемых и свидетелей для выяснения чего-либо’, а УСК *пристрастный распрос, пристрастный допрос, допрос с пристрастием* — ‘опрос обвиняемых

и свидетелей для выяснения чего-либо с применением пыток' [СРЯ XVIII вып. 6: 214],

Конечно, самой частотной лексемой в данном разряде является *допрос*, которое употреблено 79 раз в различных сочетаниях: *письменный допрос*, *малыковской допрос*, *неправильный допрос* и др. Это объясняется, с одной стороны, жанром изучаемого памятника: следственное дело состоит из текстов допросных речей Пугачева в различных государственных инстанциях (*В Ачакове сроду не бывал, как и из допроса ево* (Пугачева — Н. М.) видно. *А в пруской службе и быть невозможно, потому што, как война была, так он был осмнатцати лет и служил казаком, как в допросе его значит* [СД № 3, л. 356: 216]). С другой стороны, Ем. Пугачев, создав карательную систему в своем войске, не мог обойтись без допроса виновных: *В чем оной казак при допросе Твороговым винился, за что он, Емелька, приказал того казака повесить, что Творогов исполнить и велел* [СД №3, л. 298-298 об.: 174].

А вот *пристрастные допросы* и *распросы*, как и различные другие *истязания*, Пугачев испытал не раз на себе (о чем мы будем говорить ниже более подробно), поэтому, возможно, он не говорит о таком виде допроса по отношению к другим. Вообще, для самозванца характерны более грубые и менее мучительные приемы ведения следствия, хотя в ходе следственных процедур он хорошо разбирался еще задолго до последнего ареста: *При отправлении ж читали мне допрос, в котором написано было, якобы я во всем показуемом на меня признался, то я управителю говорил: «На что-де то взводить на меня напрасно, чего я не говорил, и в чем я не признаюсь? А дайте мне с показателем Семеном Филиповым очную ставку, так я ево изобличу во лживом на меня показании»* [СД № 1, л. 108: 65].

Любой допрос характеризует действия двух субъектов, что четко прослеживается и в изучаемом нами следственном деле. Действия опрашивателя обозначены однокоренными синонимами (*спрашивать*, *допрашивать*, *разспрашивать*), не несущими никакой эмоциональной нагрузки. Лексемы, именующие действия опрашиваемого (*открыться*, *показать*, *учинить*

запирательство), позволяют более точно описать языковую личность. Конечно, в роли опрашиваемого в следственном деле фигурирует сам Пугачев, который на вопросы следователей *открывает* все факты своей жизни и лишь только раз *учиняет запирательство*, да и то по недоразумению: *А как я таковых речей по бытности в Яицком городке у казака Пьянова не говорил и сказывал точно те, как выше сказано, то есть, про Некрасова, то управитель щол, что я учинил запирательство* [СД № 1, л. 107 об.: 64]. Такая правдивость Пугачева совершенно не свидетельствует, как может показаться, о его слабохарактерности. Наоборот, Пугачев прекрасно отдавал себе отчет в том, что только искренность поможет избежать новых *распросов с пристрастием* или пыток.

Третий разряд объединяет 38 языковых единиц в 157 употреблениях со значением действий, связанных с приведением наказания в исполнение. Данное объединение языковых единиц является самым значимым для понимания отношения Пугачева к наказаниям. Все единицы этого разряда можно разделить на две примерно равные части в зависимости от наименований результатов наказания.

В первую часть входит 18 языковых единиц, которые передают комплекс сем ‘подвергнуть какой-либо мере воздействия, не лишая человека жизни’: *наказать, поколотить, мучить, сечь, побить, бить, стегать, посадить в колодки, послать в ссылку, рвать ноздри* и др. Все лексемы и УСК этой подгруппы называют действия-наказания, не подразумевающие летального исхода.

Глагол *наказать* — ‘подвергнуть наказанию, каре, возмездию’ [СРЯ XVIII вып. 13: 209-210] служит общим названием возмездия и в русском языке может обозначать как меру воздействия, не приводящую к лишению жизни, так и действия с летальным исходом для наказываемого. Но в следственном деле слово актуализируется только в первом значении: *А потом он же (секретарь — Н. М.), призвав к себе лекаря, велел осмотреть: не был ли я (Пугачев — Н. М.) чем прежде наказан* [СД № 1, л. 108 об.: 65].

Глагол *мучить* в допросных речах Пугачева имеет более широкое, по сравнению с другими языковыми единицами этой подгруппы, значение: ‘причинять муки, физические или нравственные страдания’ [СРЯ XVIII вып. 13: 87]. Это отчетливо прослеживается в отрывке из следственного дела: *И хотя я ему и сказался точным своим названием из-под побоев, однакож он, щитая меня подозрительным человеком, мучил* [СД № 1, л. 107 об.: 64].

Лексемы *поколотить, сечь, побить, бить и стегать* могут входить как в свободные словосочетания, так и в состав УСК – названий конкретных видов наказаний. В качестве подчиненных компонентов у подобных УСК оказываются наименования орудий наказания. Напр., *стегать кнутом, побить плетью, сечь батогами*. Такие УСК всегда строятся по модели Г + С в Т.п. без предлога. Ср. *И как уже он переехал чрез реку, то слышен был голос Еремянной Курицы, что ево били, и он кричал* [СД № 3, л. 278: 161]; *Сотников же наших, кои было вступились за войско, били кнутом и послали в ссылку* [СД № 1, л. 113 об.: 71]

Вторая часть из 20 лексем и УСК объединена комплексом сем ‘действия, направленные на лишение жизни человека’: *засечь, повесить, убить, переколоть, утопить, (за)рубить, истребить, казнить, казнить смертью, учинить казнь* и др.

Общее понятие насильственного лишения жизни передают лексемы *убить, истребить, казнить* и УСК *казнить смертью, учинить казнь*. Другие языковые единицы называют частные способы лишения жизни: *засечь* – ‘избить кого-л. розгами, плетью и т.п. до смерти’ [СРЯ XVIII вып. 8: 88]; *рубить* ‘2. Наносить раны, умерщвлять, ударяя с размаху чем-либо острым’ [СРЯ XI-XVII вып. 22: 227]; *переколоть* – ‘нанести раны или умертвить колющим оружием’ [СРЯ XI-XVII вып. 14: 249]; *повесить, перевешать, вешать* – ‘казнить через повешение’ [СРЯ XI-XVII вып. 15: 151].

Последние два способа лишения жизни были основными видами казни в повстанческой армии, и чаще всего они осуществлялись с разрешения предводителя. Напр., *Сие освобожденные, мстя за свою обиду, татар и*

старшин семь человек з дозволения моего перекололи и два дома их сожгли [СД № 1, л. 133: 96]; За что как того коменданта, так и еще двух человек, ему способствующих, повесить велел [СД № 1, л. 135 об.: 99]. Но стоит заметить, что почти всегда Пугачев приводит причину, заставлявшую его поступать таким образом: ...отца ево, котораго велел я повесить за то, что он прежде служил мне, а тут бегает и изменил [СД № 1, л. 133: 96]; Однакож велел ево (офицера – Н. М.), поймав, повесить, приговаривая, что от великаго государя бегать незачем [СД № 1, л. 126: 84].

В следственных материалах мы находим и языковые единицы, отражающие отношение Пугачева к казни вообще и через повешение в частности: *А потом мною сия лютость отменена была; разве что без ведома моего где чинено было сие. В таком случае я часто говаривал, чтоб безвинно людей не губили [СД № 1, л. 129: 90]; Когда же вешали тех людей, то я просил яицких казаков: «Не погрешите-де, безвинных людей не погубите!» [СД № 1, л. 122 об.: 81].* Возможно, такими замечаниями самозванец на допросе отводит от себя обвинения в многочисленных казнях, совершавшихся в повстанческой армии. Однако не исключено, что Пугачев и до ареста пытался внести в саму процедуру казней некое подобие справедливости: при ставке была создана особая команда, которая после обсуждения «вины» пойманных выносила смертные приговоры без участия Ем. Пугачева.

К анализируемому разряду примыкают языковые единицы *смерть* и *умереть*. Смерть обозначает как физическое прекращение существования человека, так и философское понятие, заставляющее людей поразмыслить над смыслом жизни. По нашим наблюдениям, эта лексема употребляется Пугачевым в первом, прямом своем значении. Обычно причиной смерти, кроме выше названных актов реализации смертных приговоров, были ‘физические насилия, истязания’, передаваемые словом *пытка*. Самозванец отдавал себе отчет в том, что вся его история закончится смертной казнью, поэтому, продолжая играть избранную им роль на допросах в Тайной канцелярии, он пытался хоть как-то смягчить свою участь, рассказывая о том, как уговаривал

своих сообщников «очистить свои беззакония и грехи заслуженною казнию, нежели погибнуть без покаяния на степи как диким зверям» [СД № 2, л. 66: 126].

О заслуженной смерти Пугачев говорит не раз, но следующая цитата нам кажется более правдоподобной, реально отражающей намерения несостоявшегося самодержца: *А шол на то: естли удасться чем поживиться, или **убиту** быть на войне – вить все я заслужил **смерть**, – так лучше умереть на войне* [СД № 1, л. 139: 104]. Смерть в бою привлекательна для Ем. Пугачева не только потому, что это «славная смерть», но и потому, что она легкая, не мучительная.

Конечно, Пугачев не мог не бояться смерти, как и любой нормальный человек. Он знал о грозящих ему наказаниях, слышал, что «наряжается во все места команда сыскивать того человека, который называется государем» [СД № 1, л. 18: 76], приходил и в «великую робость», и пугался, но чаще всего даже во время допросов с пристрастием мог настоять «крепко в произнесенных ... точных словах» [СД № 1, л. 108 об.: 65].

Вторая подгруппа объединила дополнительным комплексом сем 'орудия наказаний' (из 6 языковых единиц в 39 употреблениях): *плеть, езжалая плеть, батоги, кандалы, кнут, колодка*.

Опираясь на лексико-семантический вариант (ЛСВ) слов, мы можем выстроить следующую иерархию ударяющих орудий наказания или пыток: *плеть* ('кнут из мелко перевитых ремней или веревок' [СРЯ XI-XVII вып. 15: 91]) – это один из видов *кну́та* ('ремень или веревка на рукоятке для понукания животных, бич' [СРЯ XVIII вып. 10: 70]) и *батоги* ('палка, жезл, прут' [СРЯ XVIII вып. 2: 97]). Данные орудия применялись для более-менее короткого по времени наказания: *На то я говорил: «Нет-де, не **кнутом**, а сечен только во время Прускаго похода по приказу полковника Денисова **езжалою плетью**, а потом через малыковского управителя терпел пристрастной распрос под **батогами**»* [СД № 1, л. 108 об.: 65].

От названных выше по своему назначению отличались орудия, обозначаемые языковыми единицами *кандалы (ручные и ножные)* и *колодка*. Из текста следственного дела мы узнаем, что *кандалы* ('железные кольца, скрепленные между собой цепями, надевавшиеся на руки и ноги заключенных' [СРЯ XVIII вып. 9: 232]) делились не только *на ножные и ручные*, но и на *тяжелые* и *легкие*. Эти виды кандалов испытал на себе и самозванец: *Тогда с него (Ем. Пугачева — Н. М.) сняты были ручные кандалы <...> несколько спустя после сего сняли с злодея тяжелые ножные кандалы и заклепали в легкие* [СД № 2, л. 55: 114]. Подобное назначение было и у другого устройства, называемого лексемой *колодка*. Это 'тяжелые деревянные оковы в виде двух брусков с выемкой, надеваемые на ноги, руки, шею преступников' [СРЯ XVIII вып. 10: 100]. Оба орудия были предназначены для долгого и мучительного наказания.

15 языковых единиц (употребленных 58 раз), входящих в третью подгруппу, обозначают 'виды наказаний': *казнь, наказание, малое наказание, побои, истязания, мучения, поселение, ссылка, острог, казенные работы* и др.

Слова *казнь* и *наказание* ('лишение жизни как высшая мера наказания //наказание за какое-либо преступление' [СРЯ XVIII вып. 9: 198]) являются общими названиями для всех видов наказаний. Из материалов следственного дела мы узнаем, что *наказания* подразделялись на *малые* и *большие*. *Малые наказания* включали в себя следующие виды: *битье батогами, кнутом; сечение плетью*.

Самые легкие наказания обозначались словами *острог* ('тюрма, арестантская, здание, окруженное острогом или стеною, где содержат узников, заключенников, тюремный замок' [Даль т. 2:706]), *ссылка, поселение* и *казенные работы* ('отправление куда-л. на жительство, на пребыванье, удаление против воли, в наказанье, в опалу, в ссылку, заточать'. В России ссылали преступников «на каторгу, в казенные работы, на поселение в Сибирь, и на жительство, срочное или вечное, в дальния губернии» [Даль т. 4: 308]). Необходимо отметить, что Пугачев «удостоился» лишь *острога*, где «и

употреблялся с прочими колодниками во всякия казенныя работы, а большую частью на Арском поле около дворца» [СД № 1, л. 109: 66]. Как указывает Р. В. Овчинников, «у Арского поля (восточное предместье Казани) стоял загородный губернаторский дом, а вблизи его, на берегу реки Казанки, находились казенные кирпичные сараи, где работали арестанты казанского острога, они же разгружали там и дровяные баржи» [СД : 255].

Все остальные лексемы указывают на жестокие муки и пытки. Это общее значение передают отглагольные существительные *истязание, мучение, побои* и УСК *извлечение истины, наимучительнейшее наказание* и др. В следственном деле языковые единицы, называющие данные виды наказания, характеризуют действия только государственных карательных органов. Напр., *И хотя я ему (Пугачев управителю — Н. М.) и сказался точным своим названием **из-под побоев**, однакож он, щитая меня подозрительным человеком, мучил* [СД № 1, л. 107 об.: 64]; *Теперь, зная, какия предстоят тебе по всем государственным законам **казни и наимучительнейшия истязания** ко **извлечению** из тебя всей по твоим злым намерениям и произведениям **истины**, показывай, не утаевая ничего в душе твоей, к облегчению себя от оных и к чистому покаению пред создателем вселенной, ведущим все тайны сердец человеческих, и пред своею самодержавною законною государынею, в высочайшем лице которой ты теперь спрашиваешься с полною властью ко всем над тобою **мучениям**, какия только жестокость человеческая выдумать может* [СД № 2, л. 47: 105]. Последний пример извлечен из «Вступления к распросу», написанного собственноручно генерал-майором П. С. Потемкиным, который при следствии над Пугачевым в Симбирске применял пристрастный допрос и истязания.

Четвертая подгруппа с дополнительным комплексом сем 'подвергнуть наказанию, каре, возмездию' объединяет 11 языковых единиц (в 97 употреблениях), называющих объектов наказания, субъектов наказания и их должности: *колодник, подозрительный, каторжный, конвой, конвойный, караул, караульный, стража, палачевская должность, розыскная команда, сыскная команда.*

В роли субъектов наказания выступают те, кто проводит все этапы наказания (от сыска до исполнения казни). Ряд субъектов наказания в следственном деле представлен достаточно широко: *конвой, конвойный, караул, караульный, стража, палачевская должность, розыскная команда, сыскная команда*.

Первые пять единиц объединены дополнительным комплексом сем ‘1. Охранять, сторожить; 2. Группа вооруженных людей, находящихся на посту для охраны кого-, чего-л, стража’ [СРЯ XVIII вып. 9: 254]; [СРЯ XVIII вып. 10: 130]. *Сыскные и розыскные команды* вели розыск преступников. И лишь одна единица — *палачевская должность* — указывает на должность прямого исполнителя наказания. Употребляется данное УСК Пугачевым для того, на наш взгляд, чтобы акцентировать внимание следователей на том, что он лично не имел прямого касательства к исполнению казней: *Должность палачевскую в то время исправляли казаки Федор Карташов и другой — Яков Бурнов, кои пошли в сию должность охотою* [СД № 1, л. 122 об.: 81].

В роли объекта наказания выступают те, кто подвергался (или подвергнется) наказанию: *подозрительный, колодник, каторжный*. Две последние лексемы обозначают людей, к которым уже было применено наказание: *Вина же я тогда не тил и временем молился богу, почему протчия колодники, также и солдаты почитали меня добрым человеком* [СД № 1, л. 109: 66]; *В Сакмарск выслан был ко мне от оренбургскаго губернатора каторжной Хлопуша* [СД № 1, л. 126: 84].

Данная подгруппа языковых единиц интересна еще и тем, что в ее составе много субстантивированных лексем, функционирующих в том же значении, что и обыкновенные существительные. Ср. *А как в остроге из караульных заметили мы в одном солдате, малороссиянине, наклонность и неудовольствие в его жизни, то при случае сказали ему о нашем намерении, а солдат и согласился* [СД № 1, л. 109: 66]; *И потом отпустили ево за караулом Чирской станицы к старшине Карпу Денисову* [СД № 3, л. 243: 137].

Языковые единицы анализируемой группы, конечно, лишь приоткрывают завесу над характером столь богатой языковой личности конца XVIII столетия, каким был Ем. Пугачев. Он знал, что такое пытка, сам постоянно подвергал свою жизнь опасности, казнил, миловал, отправлял на смерть своих «подданных», но, при этом, о смерти говорил мало. Все описанные наказания, кроме ссылки и поселения, все орудия пыток испытал на себе Ем. Пугачев. В бытность государственного военного человека он «упустил одну лошадь, за которую <...> неосторожность объявленной Денисов наказал <...> нещадно *плетью*» [СД № 1, л. 101: 57]. Став беглым казаком и попав в руки властей, Пугачев «сказался точным своим названием *из-под побоев, однакож*» его *мучили* и подвергли *пристрастному распросу* [СД № 1, л. 107 об.: 64]. Когда же он был пойман как самозванец и государственный злодей, то «послан был <...> *в колодке по станицам*» [СД № 1, л. 104 об.: 61].

В результате анализа языковых единиц, называющих различные виды наказаний, Ем. Пугачев предстает перед нами и жестким, а иногда и жестоким человеком, который безжалостно казнил и убивал. Необходимо заметить, что сам Пугачев во время допросов пытался убедить следователей, что он казнил людей лишь с подачи обиженных казаков и крестьян, что роль судей и палачей переложил на особую команду. Истоки жестокости самозванца надо искать во всем историческом процессе, который запечатлел жестокость и истинных царей. «Сама пугачевщина со всеми ее последствиями была порождением всей России, неизбежным плодом темной стороны тысячелетней жизни русского народа и результатом ненормального состояния всего тогдашнего ее государственного строя» [Мордовцев 1886: 116-117].

Источники

СД: Емельян Пугачев на следствии : сб. док. и материалов / отв. исполнитель Р. В. Овчинников. – М. : Языки рус. культуры, 1997. – 464 с.

**ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО
В ДУХОВНОМ ФОЛЬКЛОРЕ XIX В.
(на материале сборника Е. А. Ляцкого)**

«Всякая теологическая система начинается с учения о Боге, в христианстве — о Св. Троице. Для народного богословия русских стихов такой подход был бы искусственным. Народная иерархия небесного мира, смутная и неустойчивая, не совпадает с церковной. Во всяком случае, она питается литургикой, храмовым культом, а не катехизисом. Необходимо отнестись внимательно ко всем оттенкам богословия народа, чтобы найти ключ к его религиозной душе. И прежде всего мы спрашиваем, как сам народ определяет основное содержание своей веры, как именует он высшие силы, которым поклоняется» [Федотов: 45].

Именно с этой точки зрения был проведен анализ извлеченных из произведений духовного фольклора (в сборнике «Стихи духовные», составителем которого был Е. А. Ляцкий) устойчивых словесных комплексов (УСК) библейского происхождения.

Вся совокупность выявленных УСК может быть распределена по трем группам в зависимости от того, какие высшие силы они называют: триединого бога/одну из его ипостасей, Богородицу или представителей ангельского чина.

Первую группу составили УСК, обозначающие ипостаси Бога. К ней относятся библеизмы, называющие триединого Бога или одну из трех его сущностей. На этом основании в первой группе обнаруживаются четыре подгруппы УСК: 1) наименования Святой Троицы, 2) наименования Бога-отца, 3) наименования Бога-сына и 4) наименования Святого Духа.

1) Наименования Святой Троицы (*Отец, Сын и Святой Дух; Святая Троица*). В народном духовном стихе «О святом младенце Кирике» библейский УСК, называющий Святую Троицу, функционирует в обращении главного героя к Царю Небесному. Интересно в этой просьбе то, что, обращаясь к

неразделимому триединому Богу, главный герой использует форму множественного числа повелительного наклонения глагола – *услышьте*. При этом следует учитывать, что в духовных стихах из сборника Е. А. Ляцкого во всех обращениях к одной из трех ипостасей Бога используются глаголы единственного числа. Обращение к Богу на «вы» мы видим только при употреблении библейского УСК *Отец, Сын и Святой Дух*. Вероятно, на языковом уровне народное сознание не воспринимало Бога-отца, Бога-сына и Святого Духа как единую неразделимую сущность. Ср.:

Святой младенец Кирик,

Жалко вопиюще, гласит

Ко Царю ко Небесному:

*– Господи, **Отец, Сын, Святой Дух!***

– Услышьте молитву святого младенца Кирика [Ляцкий: 74-75]

2) Наименования Бога-отца (*Бог христианский, Господь Бог, Отец Вседержитель*). В духовном поэтическом тексте «Повесть о Горе-злочастии» начальный эпизод представляет собой народное переложение ветхозаветной легенды о грехопадении Адама и Евы. В данном случае используется библейский УСК, называющий Бога-отца:

И за преступление великое

***Господь Бог** на них разгневался*

И изгнал Бог Адама со Евою

Из святого раю из едемскаго [Ляцкий: 164]

3) Наименования Бога-сына – самая многочисленная подгруппа. Она представлена такими библейскими УСК, как *Владыка Царь Небесный, Господь Иисус, Господь Иисус Христос, Господи Спас милосердный, Господь Христос, Господь Царь Небесный, Иисус Христос, Иисус Христос Вседержитель, Спас Вседержитель, Спас Пречистый, Сын Божий, Сын Распятый, Христос Бог, Христос Бог Царь Небесный, Христос Царь, Христос Царь Небесный, Царь Небесный*. Количественное преимущество УСК, называющих Бога-сына, объясняется тем, что Иисус Христос является основным персонажем в стихах

на евангельские сюжеты и сквозным образом для всего состава народных духовных стихов.

В стихе «Лазарь убогой», повествующем о земной жизни двух братьев (бедного и богатого) и о воздаянии, полученном ими после смерти, оба брата в момент предсмертной молитвы обращаются к Богу, но делают это по-разному. В этом проявляется народное понимание того, что праведный человек не будет просить себе рая и избавления от мучений, а человек с грешной душой считает, что он как никто иной заслужил себе дорогу в рай и достоин отправиться на небеса. Единым в предсмертной молитве является обращение к Богу как спасителю (*Господи, Спас милостивый*). Убогий Лазарь, бедный брат, так просит себе смерти:

Вышел убогий во чисто поле,

Взглянет он, воззрит да на небеса,

Воскричал убогий громким голосом:

– О Господи, Господи, Спас милостивый!

– Услыши, Господь Бог, молитву мою,

– Сошли ты мне, Господи, грозных ангелов,

– Грозных и несмирных, немилостивых! [Ляцкий: 45]

Богатый брат, умирая, так обращается к Богу:

Сам, лежа, богатый молитву творил:

– О Боже, Владыко, Спас милостивый

– Услыши, Господь Бог, молитву мою,

– Молитву мою всю праведную:

– Приими мою душу на хвалы себе!

– Создай ты мне, Господи, тихих ангелей,

– Тихих и смирных и милостивых [Ляцкий: 47]

В ряде народных духовных стихов библейские УСК, называющие Бога сына, обозначают реальное действующее лицо поэтических текстов. Часть из них соотносится с евангельскими эпизодами и представляет народно-поэтические обработки канонических и апокрифических сказаний о земной

жизни Иисуса Христа. Так, в духовном стихе «Милостивая жена милосердная» есть эпизод, который следует за описанием рождения Христа. Ирод дает приказ уничтожить всех младенцев, и мать Иисуса с только что родившимся ребенком ищет спасения. Однако эта ситуация носит условный характер. В стихе нет образа молодой матери с младенцем на руках, спасающей себя и своего сына от смерти. Герои народного стиха – Богородица, защитница и спасительница верующих, и Христос, Бог-сын, который может покарать, наказать или подарить спасение. Действие стиха происходит, потому что должно произойти. Чтобы спасти своего сына, Божья мать отдает его «милосливой жене»:

К милосливой к жены милосердныя

Иде сама дева Пресвятая,

*Несе самого **Христа Бога** на руках:*

– Милослива жена милосердная!

– Бросай ты свое чадо в огонь и пламя,

*– Ты бери самого **Христа Бога** на руци [Ляцкий: 24]*

В «Стихе о Вознесении» УСК библейского происхождения, обозначающие Бога-сына, функционируют как имена действующего лица:

*Вознесся **Христос Бог Царь Небесный,***

А вознесся Господь на небеса.

Заплакала меньшая братья:

*– Милослив **Владыка, Царь Небесный,***

– Куды нас, убогих, оставляешь,

– На кого нас, убогих покидаешь? –

*Проречет **Господь Царь Небесный:***

– Не плачьте, меньшая моя братья [Ляцкий: 30]

4) Наименования Святого Духа (*Святой Дух*). Случаи использования библейского УСК *Святой Дух* указывают на понимание его народом как некой невидимой божественной силы. Так, в духовном стихе «Об Агликовом сыне, Василии» *Святой Дух* является силой, спасшей главного героя:

Во то время находила на Василия Божия воля,

*Поднимало Василия **Святым Духом**;*

Невидимо у князя его не стало,

В шестом часу ночи у отца на дворе поставляло [Ляцкий: 47]

В другом народном духовном стихе («Алексей Божий человек») главный герой, живя в келье на содержании у князя Ефимьяна, не получает от его слуг еды. Эта ситуация получает такое развитие:

Олексий на то не прогневился:

Со радостью нужду принимает,

***Святым духом** сыт пребывает [Ляцкий: 91]*

Вторую группу составили УСК, называющие Богородицу (*Мать Пресвятая Богородица, Божья Матерь, Мать Божия Богородица, Матушка Мария, Святая Дева, Пречистая голубица, Пресвятая Дева*). «Вся тоска страдающего человечества, все умиление перед миром божественным, которые не смеют излиться перед Христом в силу религиозного страха, свободно и любовно истекают на Богоматерь. Вознесенная в мир божественный, до неразличимости с небесным Богом, Она, с другой стороны, остается, в отличие от Христа, связанной с человечеством, страждущей матерью и заступницей» [Федотов: 45].

В «Стихе о Покрове» Богородица является заступницей верующих:

Подошли враги к царству Грецкому,

Угрожают ему войной-гибелью;

Обложенные пришли в Божий Храм,

Плачут-молятся, просят помощи.

*Услышала **Мать Божия** молитву их:*

Она сошла с небес во Божию церковь [Ляцкий: 32]

В стихе «О святом младенце Кирике» УСК, называющий Богородицу, функционирует как обозначение веры христианской:

Честная жена Улита:

Она злую думу задумала,

Отстаёт она от Спаса Пречистаго,

От Матери Пресвятыя Богородицы.

Она хочет неверному царю Максимиану прилеститися,

Она хочет его веру веровать,

Она хочет его идолам молитися [Ляцкий: 77]

Третью группу составили наименования представителей ангельских чинов (*ангел хранитель, архангел Гавриил, Михайло Архангел-царь, ангелы-архангелы, полки ангельские, прислуги Господни, чины ангельские, сила небесная, святые ангелы*). В духовном стихе «Про Михаила Архангела» отражено народное космогоническое представление о том, что земной мир и небесный (рай) разделены огненной рекой, вброд которую никто не может перейти (ни грешные души, ни праведные). Посредником между двумя мирами, перевозчиком через огненную реку является архангел Михаил:

Протекала тут река, река огненная,

Как по той-там реки, реки огненныя,

Да тут ездит Михайло Архангел-царь;

Перевозит он души, души праведныя,

Через огненну реку ко пресветлому раю [Ляцкий: 36]

Ангелы, принадлежит к небесному, вышнему миру. Их место – в окружении Небесного Царя, в его свите:

А за ним полки,

Полки ангельски,

Все архангельски,

Херувимские,

Серафимские [Ляцкий: 130]

Самыми частотными являются УСК, называющие Бога-сына (Иисуса Христа) и Мать Божию. Имени Бога Отца в стихах почти нет, Дух Святой является некой божественной силой, чаще бесплотным проявлением самого Христа. Христос остается единственной Божественной ипостасью, прочие (Бог-Отец, Святой Дух) предстают как бы производными от него, они – лишь

проявления Христа в определенных ситуациях. Подлинным *Царем Небесным* видится Иисус Христос.

Источники

Ляцкий, Е. А. Стихи духовные. При участии Платоновой Н. С. / Е. А. Ляцкий. – СПб. :
Издание т-ва «Огни», 1912. – 189 с.

III.

Опыты исследования современной русской языковой картины мира по лексикографическим данным

КОНЦЕПТ *ГРЕХ* КАК ФРАГМЕНТ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

Концепт как единица когнитивного плана, как элемент так называемой картины мира, или образа мира, формирующегося в сознании субъекта в результате осуществления процесса «врастания» в окружающую действительность и культуру, занял в современной лингвистике позицию безусловного фаворита. Мода на концептуальные исследования не только не идет на убыль, наблюдается очевидное увеличение массы публикаций различного уровня, ключевым в заглавии которых является слово *концепт*. Всеобщий интерес лингвистов к проблематике еще недавно не вполне очевидной и даже спорной имеет под собой вполне объективные основания: «успешное моделирование языка возможно только в более широком контексте моделирования сознания» [Петров 1988: 45]. Особого внимания требует, как нам кажется, намеченный В. В. Петровым исследовательский вектор: от моделирования сознания к моделированию языка, т.е. от концепта к языковым средствам его воплощения.

Проблема взаимоотношения языка и сознания столь же трудно разрешима, сколь и традиционна. Обращение к ней как «вечной» проблеме на новом витке развития лингвистики закономерно. В поиске собственно антропных оснований для системной организации языковых единиц мы должны отдавать себе отчет в том, что сознание не есть сущность более простая в исследовании, чем язык, кроме того: «мы можем добраться до мысли только через слова (никто пока не изобрел другого способа)» [Вежбицкая 1999: 293]. Избирая концепт на роль отправной точки в исследовании языковых структур, мы входим в круг «слово – концепт – слово», ибо концепт становится наблюдаемым только в случае обретения материальной оболочки. В самом простом варианте такой оболочкой оказывается слово. Эта мысль с гениальной простотой выражена Л. Витгенштейном: «Понятие “боль” вы узнали, когда выучили язык». Однако у философа был более знаменитый предшественник; в

Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово... И без Него ничто не начало быть, что начало быть».

Во избежание попадания исследования в порочный круг, необходимо разграничить два крайних элемента в обозначенной оппозиции «**слово₁** – **концепт** – **слово₂**»: за **словом₁** признаем функцию средства номинации сгустка информации, или функцию имени концепта; за **словом₂** – функцию средства экспликации фрагмента концептосферы субъекта. Если в случае со **словом₁** мы устанавливаем соотношение, которое определяется традиционной формулой «знак – понятие», то **слово₂** – это лишь элемент лексико-семантического поля, т.е. реально за **словом₂** стоит фрагмент индивидуального словаря. Организация этого фрагмента словаря принципиально субъективна, ибо определяется опытом взаимодействия личности с окружающей действительностью и социумом. Однако анализ индивидуальных языковых систем, или словарей разных языковых личностей, даст нам возможность выявить общие принципы их организации, а в конечном итоге – откроет путь к моделированию языковой системы на когнитивных основаниях. Увеличение числа концептуальных исследований, таким образом, служит гарантом достижения поставленной глобальной цели.

Переживаемый лингвистикой этап поиска принципиально новых оснований для моделирования языка вынуждает отступить от принятых в рамках предшествующей научной парадигмы представлений о языковой системе и обратиться к тексту как основной ипостаси существования языка (ср. чрезвычайно актуальную сегодня оппозицию, предложенную Л. В. Щербой: языковой материал – языковая система (словарь и грамматика) – «психофизиологическая речевая организация» владеющего данным языком индивида [Щерба 2004]; в современной трактовке эта оппозиция предстает в виде «язык-текст – язык-система – язык-способность»). Текст рассматривается как единственная ипостась языка, данная нам в непосредственном наблюдении: «все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни психологическом,

ни физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции “языковым материалом”...» [Щерба 2004: 26].

Для обозначения текста, рассматриваемого в соотнесении с языковой личностью (автором и интерпретатором), в современной лингвистике используется термин **дискурс**. Принимая во внимание разнообразие предлагаемых в научной литературе трактовок термина *дискурс*, оговорим, что вслед за П. Серิโอ рассматриваем дискурс как особое использование языка, служащее объективации особой ментальности, особой идеологии. Объект исследования при таком подходе составляет совокупность текстов, «сложный и относительно устойчивый способ структурирования которых обладает *значимостью* для определенного коллектива, т.е. анализируются тексты, которые содержат разделяемые убеждения, вызываемые или усиливаемые ими,.. тексты, которые предполагают *позицию* в дискурсном поле» ([Серิโอ 2001: 551]; курсив автора – Л. Ч.).

Ориентир в отборе языкового материала (текстов) на мировоззренческую (идеологическую) позицию говорящего субъекта, предполагаемый при таком понимании дискурса, позволяет, с одной стороны, избежать безусловной уникальности полученных результатов, с другой стороны – дает основания для разговора о реконструкции фрагментов индивидуальной картины мира (концептов). Созвучной в этой связи нам кажется мысль Л. В. Щербы о тонкой грани между социальным и индивидуальным в языке: «Что же такое сама языковая система? По-моему, это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать источник единства языка внутри данной общественной группы» [Щерба 2004: 28]. Основу единства языковой системы, по Л. В. Щербе, составляет содержание жизни данной социальной группы: «Единство языковой системы обеспечивает единство реакций на это содержание» [там же].

Дискурсивный анализ позволяет реконструировать фрагменты сознания «стоящего за текстом» субъекта и на этой основе выявлять способы организации единиц индивидуального словаря. Иначе говоря, путь к постижению концептуального пространства лежит через определение специфики лексической организации текста как фрагмента дискурса. Признание же факта социальной обусловленности любого высказывания является основой для экстраполяции полученных выводов на словарь как составляющую языковой системы.

Одна из проблем, с которой сталкивается исследователь в случае обращения к единицам сознания, заключается в континуальности смыслов. Эта принципиальная связанность, соотнесенность «всего со всем» как характерная черта концептосферы в значительной степени ограничивает возможности исследования и придает его результатам характер, который можно обозначить с помощью формулы «приблизительно так», для получения же вполне адекватной модели сознания необходимо не только описать **все** составляющие индивидуальную картину мира фрагменты, но также выявить характер их взаимосвязи. Ни в отечественной, ни в мировой лингвистической практике исследования подобного масштаба, насколько можно судить по публикациям, не проводилось

Определяя в качестве основной задачи исследования реконструкцию концепта ГРЕХ как одного из базовых концептов религиозной (православной) модели мира, мы отдаем себе отчет в том, что сколько-нибудь жесткая изоляция этого фрагмента сознания практически невозможна: ближайшими узлами в концептуальной структуре являются БОГ, ПОКАЯНИЕ, ПРОЩЕНИЕ и СПАСЕНИЕ. Однако формат статьи вынуждает нас остановиться на рассмотрении способов функционирования имени концепта ГРЕХ (слово₁) в рамках ограниченного дискурсного пространства, конечной целью на этом этапе исследования является выявление средств объективации концепта (слово₂).

Языковым материалом служат фрагменты современного религиозного дискурса, представляющие собой проповеди митрополита Антония Сурожского – известнейшего иерарха Русской Православной Церкви. Все анализируемые тексты изначально представляли собой устные обращения пастыря к своим прихожанам. Однако впоследствии эти проповеди были опубликованы, и, по уверению издателей, «звучание живого слова Владыки» максимально сохранено. Характер адресата явился для нашего исследования значимой характеристикой при отборе дискурсивного материала: в центре внимания находится не богословская, но наивная картина мира верующего носителя языка.

Роль фонового материала для определения специфики способов организации моделируемого фрагмента индивидуального словаря в соответствии с уже устоявшейся традицией выполняет «стоящая за текстом» языковая система (М. М. Бахтин) – семантическое поле с дескриптором «Грех» [РСС 1992].

В состав системного лексико-семантического поля «Грех», по данным РСС, входит 44 единицы, в структуре лексического значения которых отмечается наличие семантических множителей нескольких типов:

- семантические множители, позволяющие установить место, занимаемое данным семантическим полем в системе семантических полей: вер-, религ-, нравс- ;
- семантические множители, представляющие ядро поля: гре-, согре-;
- семантические множители, включаемые в дефиниции ядерных лексем: предпис-, правил-; ср.: «ГРЕХ. 1. У верующих: нарушение действием, словом или мыслью воли Бога, религиозных предписаний, правил» [БТС];
- семантические множители, связанные с объективацией отрицательной оценки: нехор-, предосуд-, преступ-, ошиб-, наруш-, стыд-.

Наблюдаемые вариации в объединении набора семантических множителей, выявленных в результате автоматической обработки материалов

толковых словарей, позволяют отнести к лексико-семантическому полю «Грех» следующие единицы (мы сознательно не включаем в состав поля единицы безусловно случайные, обнаруженная общность семантических множителей должна в этом случае оцениваться как казус; речь идет о единицах типа: *идеализм, краснеть, номер, ответить, потупить, править, право, правонарушение* и некот. др.):

- ядро поля – *религия, вера, верование, грех, ересь*;
- центральная часть поля – *ложный, молитва, мораль, неверность, нравственность, обмануть, пасть, подлость, порок, порочить, постыдный, правило, предосудительный, преступление, проступок, раскаяться, стыд, стыдиться*;
- периферия поля – *закоснелость, отпустить, переступить, погрязнуть, проделка, происки, пророческий, путать, смущение*.

Как видим, в системном (лексикографическом) представлении лексико-семантическое поле «Грех» в основной своей части оказывается связанным с выражением оценки, причем безусловно отрицательной.

Объективация смыслового, или концептуального, поля ГРЕХ в текстах митрополита Антония Сурожского строится на представлении о некотором нравственном эталоне – *образе Божиим*, стремление соответствовать которому делает человека *человеком*:

«Мы призваны быть таковыми, чтобы люди, встречая нас, встречали бы отблеск Божией славы, могли бы не в наших физических чертах, а в том, что передается из глубин одного человека в глубины другого, увидеть нерукотворенный образ Божий: пусть несовершенный, но уже сияющий немеркнувшей красотой вечности и Самого Бога.

Только тогда можем мы сказать, что стали человеком; не просто тварью, зоологическим явлением, а человеком в том смысле, в котором Бог нас творил: Его образом, живой, действующей иконой, взглядываясь в которую, человек может прозреть нечто о Боге, обращаясь к которой, он переносится от земли на Небо, от времени в вечность, от человека, им встреченного, к

Богу, Которого ищет, жаждет его душа ([«Радость покаяния»]); здесь и далее в скобках указывается предлагаемое издателями название проповеди – Л. Ч.).

В основе организации лексического пространства представленного текстового фрагмента лежит многослойная оппозиция:

- «внешнее vs внутреннее»: *физические черты* и *глубинное, душа*;
- «человек vs недочеловек»: *нерукотворенный образ Божий, Его образ, отблеск Божией славы, живая, действующая икона и тварь, зоологическое явление*;
- «тленное vs вечное»: *земля, время, человек и Небо, вечность, Бог*.

Призвание человека – соответствие замыслу Божию (*мы призваны быть таковыми, чтобы...*). Бог сотворил человека по образу Своему (человек – *живая икона*), но сохранение в себе *отблеска Божией славы* – нелегкая задача, требующая от каждого максимального внимания к собственной жизни, максимальной сосредоточенности на внутреннем, глубинном:

«Но от нас зависит вдумчивое, трезвое, серьезное отношение к нашему состоянию. Если бы мы рассматривали нашу греховность, наше отдаление от Бога, несоответствие между тем, чем мы могли бы быть, и тем, что мы есть <...>» [«Радость покаяния»].

Нежелание человека думать над каждым своим поступком, каждым движением души, нерадение на пути достижения нравственного эталона и есть **грех**, отдаляющий человека от замысла Творца, делающий его не просто зоологическим явлением, но **уродом**:

«...привыкли небрежно относиться к малому, мы привыкаем вообще быть небрежны и начинаем грешить все больше и больше, то есть все больше уродовать себя и уничтожать, разрушать, осквернять в себе образ Божий. <...> И поэтому мы приходим и каемся все об одном и том же, потому что ни разу не заметили, что то или другое превращает нас в уродов, что мы больше не похожи на образ Божий, который запечатлен в наших глубинах. Нам дана как бы икона на хранение, а мы ее из раза в раз разрушаем, порочим,

оскверняем – или через наше небрежение, или в каком-то порыве злобы, не пламенной злобы, а маленькой, ничтожной злобы» [«Радость покаяния»].

Частотность употребления на незначительном текстовом пространстве лексемы *урод* и её производных (*уродовать*) следует рассматривать как свидетельство концептуальной значимости этой единицы. Благодаря избранной автором синтаксической модели (*грешишь...*, *то есть...*) между членами текстового синонимического ряда с доминантой *уродовать* (*уничтожать*, *осквернять*, *разрушать*, *порочить*) и ключевым словом *грешишь* устанавливаются отношения семантической эквивалентности. Актуализированным в данном случае оказывается смысл “искажать духовную природу человека”, ибо *образ Божий запечатлен в наших глубинах* (ср. толкование лексемы *уродовать*, предложенное в БТС: «3. Искажать, извращать содержание, существо чего-л.»).

Если прямым следствием ГРЕХА является осквернение *образа Божьего*, то причина его – *небрежность* и *злоба*. *Небрежность*, или *небрежение*, по мысли митрополита Антония, есть отсутствие «*вдумчивого, трезвого, серьезного отношения к нашему состоянию*». Такое толкование вполне соответствует системному представлению лексического значения данной единицы: «**НЕБРЕЖЕНИЕ**. 1. Нерадивое, недобросовестное отношение к чему-л.» [БТС], однако в предлагаемом контекстном окружении эта лексическая единица наполняется более глубоким смыслом; ср. в этой связи:

«Так часто бывает, что кто-либо подходит ко мне на исповедь и говорит: “Не знаю, о чем исповедоваться, все одно и то же...” Эти слова говорят о преступном отсутствии внимания к жизни. Неужели кто-либо из нас после одного-единственного дня может сказать, что он исполнил всё, что было возможно, и был всем, чем он мог быть? Что он был безукоризненно непорочен в своих мыслях и чувствах, что он не упустил ни одного поступка, который можно и надо было совершить, что не сделал ни одной вещи, которая была бы несовершенна? Кто может сказать, что его мысли не

запутались, сердце не потемнело, воля не заколебалась, поступки или желания не оказались недостойными?

<...> это значит, что человек никогда не задумывался над тем, чем он мог бы (а, следовательно, должен бы) быть<...>» [«Радость покаяния»].

Ни одна из единиц системного синонимического ряда *небрежный, нерадивый, недобросовестный* не связана напрямую с актуализацией семантических компонентов ‘преступление’ и ‘мысль’ (*задумывался*), доминирующую позицию в структуре их значений занимают коннотативные семы, для толкования текстового слова *небрежение* эти семы являются ядерными.

Особого внимания требует употребление в тексте имени *злоба*, прежде всего в связи с предлагаемыми определителями – *не пламенной злобы, а маленькой, ничтожной злобы*. Для понимания сути устанавливаемой антонимии необходимо сопоставить состав сем в каждом из членов оппозиции. Соединение семем *пламенный* и *порыв (в порыве злобы)* призвано актуализировать представление о кратковременном, не поддающемся сознательному контролю эмоциональном состоянии («**ПОРЫВ**. 2. Сильное, мгновенное проявление какого-л. чувства...»), «**ПЛАМЕННЫЙ**. 3. Пылкий, страстный»). Сила захватывающего человека чувства в какой-то степени может служить оправданием совершаемым поступкам. Не то *злоба маленькая, ничтожная*, поскольку она в силу своей незначительности не способна лишить человека рассудочности (*вдумчивости*) и *трезвости* в оценках, а потому эта *злоба* всегда сознательна и оправданий ей быть не может.

Таким образом, средства объективации концепта ГРЕХ в анализируемом дискурсном пространстве – текстовое лексико-семантическое поле «Грех», организованы на основе оппозитивных отношений: в состав поля включаются (1) единицы, эксплицирующие представление о нравственном эталоне – человеке как *живой иконе*, и человеке как *зоологическом явлении*; (2) единицы, функционально связанные с актуализацией модели **созидательной** духовной

деятельности, и единицы с прямо противоположной – **разрушительной** семантикой.

Результаты анализа организации лексического уровня фрагментов дискурса позволяют нам создать в первом приближении представление о текстовом концепте ГРЕХ: основу анализируемого концепта составляет мысль о предназначении человека, о цели жизни. Грех мыслится не как нарушение установленных норм и правил (ср. системное представление), но скорее как нежелание преодолеть расстояние между **человеком** и **зоологическим явлением**, живым, но не одухотворенным. Человек не может стать Богом, он лишь живая икона, образ, отсвет славы Божией. И цель человеческой жизни составляет сознательное и неустанное стремление к сохранению в себе этого образа. Иначе говоря, ГРЕХ суть отказ от активной духовной деятельности, ведущий к разрушению человеческого в человеке.

Источники

Митрополит Сурожский Антоний. О покаянии: Проповеди. – Клин : Христианская жизнь, 2004.

И. А. Постникова

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ *РОССИЯ* КАК ИМЯ КОНЦЕПТА: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Вопрос о соотношении индивидуального и социального в языке и в значении слова, в частности, является одним из актуальных в истории развития лингвистической семантики.

Один из возможных путей определения специфики обозначенного соотношения предлагается в работах А. А. Залевской: «Вместо диады «язык как коллективное знание» (КЗ) – «язык как индивидуальное знание» (ИЗ) предлагается рассматривать триаду КЗ₁, КЗ₂ и ИЗ, где КЗ₁ – совокупное знание-переживание, формирующееся и функционирующее в определенной лингвокультурной общности по законам психической деятельности и взаимодействий в сверхбольших системах, КЗ₂ – «зарегистрированное» в

продуктах разнообразной деятельности людей коллективное знание (включающее языковую систему), которое отображает лишь часть того, что входит в понятие КЗ₁» [Залевская, 2000: 38].

Функцию «регистрации» коллективных знаний чаще всего выполняют различного рода лексикографические источники. Дефиниции, представленные в словарях, позволяют выделить так называемый «внешний контекст», т.е. обнаружить тот инвариант значения, который зафиксирован в языковой картине мира (то, что в классификации А. А. Залевской обозначено как КЗ₂). Признание же за словом функции «имени концепта» позволяет рассматривать словарь в качестве источника материала в ходе исследования элементов концептуальной картины мира – ментальных сущностей, или концептов (соответственно – КЗ₁).

По имеющимся данным, имя собственное (далее – ИС) *Россия* вошло в русский язык в XV – начале XVI в. и на протяжении столетий употреблялось в различных контекстах как топоним; ср., например: *Россия защищает Балканы, Россия ратифицировала Хельсинкское соглашение, Россия умирала в колхозах* (цитируется еженедельник «Аргументы и факты»).

Необходимым условием реконструкции концепта РОССИЯ является анализ лексического значения ИС, поскольку «концепты и языковые значения взаимосвязаны диалектически: с одной стороны, они являются разными сущностями, а с другой, предполагают друг друга» [Алефиренко, 2002: 244]. Определение семантических компонентов лексического значения имени концепта дает возможность объективации некоторых слотов концепта.

Целью проводимого исследования является реконструкция модели концептуального поля РОССИЯ как фрагмента национальной картины мира XX века, средство достижения поставленной цели – комплексный анализ различных лексикографических источников соответствующего временного отрезка.

В абсолютном большинстве вышедших в XX веке толковых словарей русского языка имя собственное *Россия* не представлено в качестве заглавного

слова. Причина кроется в сложившейся в отечественной теоретической и практической лексикографии традиции не включать имя собственное в толковые словари, поскольку до сих пор в семантике остается нерешенным вопрос о специфике значения ИС [Калакуцкая, 1993: 59]. Однако отступления от традиции имеют место. Так, в 5-ти из 12-ти проанализированных толковых словарей ИС *Россия* рассматривается как особая лексема. Мы посчитали целесообразным включить в число вовлекаемых в анализ лексикографических источников и словари энциклопедического типа. Таким образом, материалом для исследования стали статьи 22-х лексикографических источников, в которых ИС *Россия* присутствует в качестве заголовочного слова: 5 толковых словарей и 17 энциклопедических.

В связи с неоднородностью представленного материала нам кажется необходимым первоначально остановиться на анализе дефиниций толковых словарей: именно толковые словари «предлагают правила интерпретации слова и охватывают как прямые, так и переносные его значения» [Чурилина, 2002: 27]. Важной в этой ситуации оказывается ориентация на моделирование фрагмента так называемой «наивной» картины мира, которая и фиксируется в толковых словарях. Материалы энциклопедических словарей, которые отражают совокупность существенных с научной точки зрения признаков изучаемого объекта, привлекаются в качестве дополнительного источника информации.

1. Анализ **дефиниций толковых словарей** позволил выделить несколько значимых семантических компонентов, включаемых с лексическое значение ИС *Россия*:

- 1) *Россия* – государство, расположенное в Европе и Азии; страна, в которой большинство населения составляют русские [БТС: 1129];
- 2) *Россия* – страна, основой которой явилось русское государство [Репкин: 365];
- 3) *Россия* – Советская Россия, РСФСР [Мокиенко: 525];

- 4) *Россия* – это общество православных христиан, отправляющих богослужение по исправленным книгам (арх.) [Даль: 1718];
- 5) *Россия* – партия [Скляревская: 866].

Результаты компонентного анализа лексического значения ИС *Россия*, эксплицированного в различных лексикографических источниках, приведены в таблице:

Ядерные семы	Дифференциальные семы
‘общество’	‘люди’, ‘совокупность’, ‘общность’
‘страна’	‘территория’, ‘местность’, ‘государственный’, ‘управление’
‘государство’	‘управление’, ‘общество’, ‘политика’, ‘страна’
‘партия’	‘политика’, ‘организация’, ‘группа’, ‘лицо’
‘население’	‘жители’, ‘местность’

Сопоставляя данные, приведенные в таблице, можно предположить, что ядро значения лексемы *Россия* составляют два семантических плана: а) **совокупность людей** и б) **государство**. Ориентация на экспликацию этих смысловых пластов определяет структуру толкования имени.

ИС *Россия* определяется как некая «человеческая общность» (семантические компоненты ‘совокупность’, ‘общность’, ‘круг’, ‘группа’, ‘люди’, ‘лица’), которая характеризуется рядом признаков. Во-первых, людей связывает территория проживания (актуализированы семантические компоненты ‘территория’, ‘местность’, ‘жители’); во-вторых, определена система управления социальной жизнью (актуализированы семантические компоненты ‘политика’, ‘управление’, ‘организация’ и ‘государственный’), Данный признак может быть представленным опосредованно – в качестве средства объективации используется иллюстративный материал (*Советская Россия, РСФСР*).

Находящийся на периферии семантический компонент ‘русский’, также включаемый в словарные дефиниции, актуализирует национально-этническую принадлежность людей, а семантический компонент ‘религия’ («православные христиане») определяет конфессиональную принадлежность общности. Эти два

компонента дополняют, расширяют основной семантический план лексического значения ИС *Россия*.

Второй семантический план лексемы *Россия* – государство – также имеет зону расширения. Так, семантические компоненты ‘расположение’, ‘Европа’ и ‘Азия’ призваны эксплицировать информацию о географическом положении той местности, где сформирована система государственной власти.

Результаты проведенного компонентного анализа лексического значения ИС *Россия* позволяют утверждать, что толковые словари определяют Россию как совокупность людей, объединенных социально-национальным, а также государственно-территориальным признаками.

2. В проанализированных **дефинициях энциклопедических словарей** примечателен факт абсолютной идентичности начальной части словарных статей в 7-ми из 17 энциклопедических словарей: «*Россия – (Российская Федерация) государство в восточной части Европы и в северной части Азии*» [БРЭС: 1341-1344; НовЭС: 1075; Книга: 535 и др.].

Что касается сопоставления с лингвистическими дефинициями, то наблюдается повтор значимой (ядерной и центральной) части собственно семантических толкований. В этой ситуации внимание привлекает очевидная смена акцентов: если в толковых словарях основной семантический план составляет «человеческий фактор» (**совокупность людей**), то в словарях энциклопедического типа – это **территориально-государственное устройство**. Такие компоненты толкования, как: ‘территория’, ‘географическое положение’, ‘государство’ – актуализированы в 16 источниках. Все проанализированные словарные дефиниции структурно выдержаны в одном ключе: сначала дается информация о географическом расположении, природно-климатических, политических характеристиках государства, затем предлагается описание специфики общественного устройства; характерный пример:

Россия (Российская Федерация) – самое большое по площади государство мира (17075,4 тыс. км²). Расположена на востоке Европы и севере Азии. Протяженность сухопутных границ 22125,3 км. На северо-западе граничит с

Норвегией, Финляндией, за западе – с Польшей <...>. Территорию России омывают 12 морей <...>. Согласно Конституции РФ 1993 г. РФ (Россия) – демократическое государство с республиканской формой правления. В ее составе 89 равноправных субъектов <...>.

По численности населения 145,2 млн. чел (2002) Россия занимает 7 место в мире. В РФ проживает свыше 160 народов <...>. Традиционные религии на территории России – православие, ислам и буддизм. Официальный язык – русский [БСЭ: 211-213].

Дополнительными компонентами толкования являются ‘масштаб’ («самое большое по площади государство» [БРЭ: 9; Отечество: 506]; «крупнейшая по территории республика» [СИЭ: 142-143]) и ‘характер властных структур’; второй из названных компонентов эксплицирует информацию о способе государственного устройства; ср.:

«Согласно Конституции 1993 г. РФ (Россия) – демократическое государство с республиканской формой правления. В ее составе 89 равноправных субъектов» [БРЭ: 9];

«Российская империя – монархическое сословное многонациональное государство» [БСЭ: 211];

«Российская империя – официальное название российского феодально-абсолютистского государства» [СИЭ: 142].

Актуальным для составителей энциклопедических словарей оказывается **национальный** смысловой план – информация о национальной принадлежности населения страны эксплицирована в 12-ти источниках; ср.:

«Население составляло 128,2 млн. чел (1897 г.). На территории проживало более 100 народов и народностей, 57% составляли нерусские народы» [БСЭ: 211];

«Этнический состав: на территории РФ проживают свыше 100 народов и национальностей» [НовЭС: 1075];

«Уникальность России, в отличие от иных крупных полиэтнических стран, состоит в том, что около 20% нерусского населения по преимуществу

компактно живут на своих исторических землях, занимающих около половины ее территории» [Росс. цивилизация: 5];

«Название, обозначающее страну и государство, населенное русским народом» [Св. Русь¹: 689; Св. Русь²: 729];

«Русские составляют 81,5%; проживают свыше 100 народов» [БРЭС: 1341];

«Русь, Русские, Россияне. Эти слова образуют группу, в силу того, что история русского народа соединена с историей государства. Национальность и государственность тесно связаны» [Степанов: 151].

Таким образом, энциклопедические словари объективируют тот факт, что население государства Россия многонационально, но определяющая роль принадлежит русскому этносу.

Информация о религиозных конфессиях, распространенных на территории России, фиксируется лишь в 4 источниках, т.е. не относится большинством авторов к значимым фактам:

«Большинство верующих – христиане, гл. обр. православные, остальные – мусульмане, иудаисты, буддисты и др.» [БРЭС: 1342];

«Традиционные религии на территории России – православие, ислам, иудаизм и буддизм» [БРЭ: 9].

Анализ средств, используемых в случае толкования ИС *Россия* в энциклопедических источниках, дает основание для выделения особой группы компонентов, объединенных семой 'оценка' – 'уникальный', 'крупнейший' и 'самый большой'; выделенные компоненты дефиниций, как правило, связаны с объективацией информации о пространственно-территориальном положении государства.

Итак, в дефинициях энциклопедических словарей, связанных с ИС *Россия*, ядерную зону составляет такой семантический план, как **«государственно-территориальное образование, занимающее определенную географическую и природно-климатическую зоны».**

Особо следует оговорить тот общеизвестный факт, что толкование имени находится в зависимости от времени создания словаря. В энциклопедических справочниках, изданных в период с конца 90-х годов прошлого столетия до настоящего времени, в левой части словарной статьи, наряду с определяемым именем *Россия*, заявлено имя *Российская Федерация*. При этом в ряде источников приводятся и другие способы именованя государства, имевшие хождение в различные периоды существования последнего – *Российская империя*, *РСФСР*, *союзная республика СССР*.

Что касается смыслового плана **совокупность людей**, то в энциклопедических источниках он оказывается безусловно вторичным. При этом население страны определено как полиэтническое, поликонфессиональное, однако роль и значимость русского этноса в процессе становления и развития государства признается и учитывается.

Проведенный анализ лексикографических источников позволяет заключить следующее.

Сопоставление данных лингвистических и энциклопедических словарей обнаруживает определенное сходство состава используемых в ходе толкования ИС *Россия* компонентов; к числу общих должны быть отнесены ‘государство’, ‘общество’, ‘местность’. Однако при очевидном сходстве компонентов можно констатировать, что толковые словари по преимуществу объективируют представление о России как о некоем **коллективе людей**, существование которого определено **территориально-политическим устройством**. Энциклопедические источники акцентируют внимание на **территории** и **способе политической организации** жизни общества, причем территория и государственно-политическое устройство определены во всем многообразии своих характеристик.

Структура значения слова как имени концепта не может не соотноситься со способом организации ментального пространства.

Анализ существующих на сегодняшний день концепций, связанных с изучением способов организации концептуального пространства (см.:

Алимушкина, 2004; Воркачев, 2003; Голомидова, 1998; Лукашевич, 2004; Степанов, 2001), позволил выявить направления моделирования так называемой абстрактной, или «инвариантной», структуры концепта, которая предположительно включает три обязательных компонента.

1) Образная составляющая фиксирует когнитивные метафоры, существующие в языковом сознании, определяет субъективные наглядно-чувственные картины действительности, субъективное отношение индивида или целой социальной группы к определяемому объекту, что можно рассматривать как проявление личного опыта познания объекта действительности.

2) Понятийная составляющая отражает совокупность наиболее существенных признаков предмета, явления; это признаковый и дефиниционный компонент концептуальной структуры.

3) Знаковая составляющая определяет место, которое занимает имя концепта в знаковой системе языка, характеризует связь знака и значения, актуализирует вербальное знание на данном этапе развития языка и презентрует этимологию слова.

Данные, полученные в ходе анализа лексикографического материала, могут быть положены в основу модели концепта, объективированного ИС *Россия*.

Первый, наиболее существенный с точки зрения занимавшихся этой проблемой исследователей, компонент концептуальной структуры онама – образная составляющая – в словарях практически не представлен (хотя, предположительно, именно этот компонент должен стать базовым слоем концептуальной структуры как элемента «наивной» картины мира).

Знаковая составляющая концепта соотносится с денотативным компонентом лексического значения ИС; знаковая часть концепта суть набор ядерных и дифференциальных семантических компонентов, в совокупности составляющих лексическое значение лексемы *Россия*.

Понятийная составляющая концепта включает в себя различные характеристики социального объединения (национальную, государственную, политическую, религиозную и под.); эта часть концептуального пространства фиксируется энциклопедическими словарями, в толковых же представлена в незначительном объеме.

Соотношение компонентов концептуальной структуры в целом отражает специфику семантики ИС, являющегося в нашем случае именем концепта: преобладание денотативного значения над сигнификативным, вплоть до сведения последнего к нулю.

Образная составляющая, или прагматический компонент, концептуальной структуры остается за пределами лексикографических источников, а значит, его исследование требует обращения к текстам.

О. В. Гневэк

ИРОНИЯ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ СОЗДАНИЯ (по материалам «Универсального словаря»)

Одной из специфических черт ментальной компетенции носителей русского языка является ироничность. Наличие этого свойства особенно ярко проявляется во фразеологических единицах (ФЕ), большинство которых за время своего существования, наряду с первоначальным значением, сопровождающимся нейтральной эмоционально-оценочной окрашенностью, обрели ироническое звучание.

Ирония – понятие емкое, сложное и многомерное. В лингвистике оно характеризуется как яркое эмоционально-экспрессивное средство создания выразительной речи, как троп, позволяющий выразить отношение говорящего к сообщаемому.

В различных лингвистических и энциклопедических словарях, а также во многих зарубежных исследованиях ирония определяется как замаскированная тонкая насмешка, в которой скрытый смысл является отрицанием буквально сказанного. При этом одни ученые, в основном лингвисты (М. В. Ломоносов,

А. А. Потебня, О. С. Ахманова), причисляют иронию к тропам. Так, в словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой ирония характеризуется как «троп, состоящий в употреблении слова в смысле, обратном буквальному, с целью тонкой или скрытой насмешки. Насмешка, нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления» [Ахманова 1965: 185].

Как справедливо указывает О. П. Ермакова, иронию можно рассматривать как троп, близкий по механизму своего порождения метафоре, поскольку ирония «совмещает в себе небуквальность, образность и оценочность. В то же время эти два тропа могут совмещаться, поскольку сама метафора тоже может употребляться иронически» [Ермакова 1997: 54].

Другие ученые: лингвисты, филологи, философы (С. И. Ожегов, А. П. Квятковский, А. А. Грицанов, М. Ф. Овсянников) – не считают иронию тропом, либо относя ее к стилистическим фигурам [Квятковский 1966: 121], либо к эстетическим доказательствам «от противного» [Овсянников 1983: 59]; либо отказываясь от аттестации иронии как предмета изучения определенной науки [Ожегов 1972: 232].

Причисляя иронию к разновидности метафор, мы ставим перед собой конкретную цель: определить сложившиеся языковые способы создания иронии как особой металогической фигуры речи. Содержательную специфику иронии составляет намеренное сокрытие автором замысла высказывания в целях достижения аффективной реакции со стороны участников общения (неважно, присутствуют они в ситуации или только мыслятся). В этой связи под иронией мы будем понимать металогическую фигуру скрытого смысла высказывания, построенную на основе расхождения смысла как объективно наличного и смысла как замысла. В данной трактовке ирония отличается от других металогических фигур речи тем, что она является семантически амбивалентной: с одной стороны, она есть высмеивание и в этом отношении профанация некой реальности, основанная на сомнении в истинности или даже неистинности этой реальности; с другой же, ирония есть проба этой реальности на прочность, оставляющая надежду на ее возможность или – при уверенности

в обратном – основанная на сожалении об отсутствии таковой [Грицанов 1998: 280]. Выступая в качестве скрытой насмешки, ирония отличается от сатиры и пародии, в которых процесс осмеяния эксплицируется.

Выбранное определение иронии позволяет проанализировать наличные в языке фразеологизмы, отмеченные словарем как «иронические», с точки зрения выявления реализованных в них языковых способов сокрытия замысла автора для достижения аффективной реакции участников общения.

В имеющихся исследованиях основным способом создания иронии называется антифразис: по А. Квятковскому, «стилистическая фигура, употребление данного слова или выражения в противоположном смысле» [Квятковский 1966: 41]. Иногда термин «антифразис» заменяется синонимом «астеизм» (в переводе с греч. – ‘шутка’, ‘острота’) [Квятковский 1966: 53]. (*Замечательная погода!* – об отвратительной погоде; *но он гений* – характеристика-оценка глупости и т. п.). В устной речи в создании антифразиса ведущую роль играет интонация, дополнительными средствами могут выступать словообразовательные элементы (*погодка*), эмоциональное удлинение гласного или согласного (*Ге-ений!* и т. п.). В письменной речи «проводником» иронии, наряду со словообразовательными средствами, случаями нарушения грамматических норм, выступает контекст.

К числу наиболее значимых средств создания иронии относятся ФЕ. Материалы «Универсального фразеологического словаря русского языка» [УФС 2001] позволили на базе ФЕ определить набор основных способов порождения данного тропа, выявить механизм осуществления иронии, установить векторы изобразительно-выразительных возможностей русского языка в области юмора.

Для выявления основного набора языковых способов создания иронии методологически целесообразным представляется использование понятия «языковая игра». Термин «языковая игра» введен в научный обиход Л. Витгенштейном, полагавшим, что «языковые игры являются наиболее существенной формой презентации языка как в процессе овладения им

(обучения языку, осуществляемого посредством включения субъекта в определенные нормативные системы речевых коммуникаций), так и в процессе языковой динамики (усложнение словоупотребления в речевых коммуникациях)» (цит. по [Можейко 2001: 1023]). Другими словами, под языковой игрой понимается игра культурными смыслами, закрепившимися за одним и тем же контекстом, или игра прямым и переносным значениями одного слова в рамках конкретного контекста. По мнению Лиотара, «постоянное изобретение фразеологизмов, слов и значений, которые на уровне речи служат фактором эволюции языка», является ярким примером языковой игры (цит. по [Можейко 2001: 1024]).

Таким образом, на основе понятия «языковая игра» мы можем предполагать существование двух основополагающих способов порождения иронии: посредством игры со значениями слов, словосочетаний и высказываний и посредством игры с культурными смыслами, закрепившимися за конкретными словосочетаниями и фразами.

Ирония как игра значениями слов

Используя данное положение в качестве отправной точки анализа, все ФЕ, извлеченные из УФС (128 единиц), мы распределили по двум группам. Наиболее многочисленной является группа ФЕ, основным средством создания иронии в которой выступает игра с прямым и переносным значениями. В рамках этой группы выделяется шесть специфических подгрупп.

Первую подгруппу формируют ФЕ, ироническое значение которых складывается в антифразисе – конситуативном контексте, предполагающем прямо противоположное «прочтение» значений компонентов или значения одного компонента выражения. Содержание этого способа составляет изменение значения одного из компонентов или всех компонентов на прямо противоположное.

Так сложилось ироническое значение ФЕ *выходить в тираж*, в котором прямое значение ‘опубликоваться, стать известным через печать’ сменилось на переносное ироническое ‘выйти из употребления, перестать пользоваться

признанием, стать устарелым' [УФС 2001: 60]. ФЕ *мягко выражаясь* в буквальном значении обозначает 'говорить вежливо, описательно, не используя резких оборотов'. В переносном употреблении используется в значении вводного слова при предупреждении о том, что разговор пойдет в резком тоне или при нежелании резко выражаться о ком-чем-либо [УФС 2001: 192]. Выражение *по милости кого-либо* как ФЕ в ироническом употреблении прочитывается в прямо противоположном значении: по вине кого-либо [УФС: 185].

По описанной схеме прямо противоположного переосмысления первоначальных значений сложились следующие ФЕ: *малая толика* – 'немало, порядочное количество' [УФС: 178]; *мы нахали* – говорится о человеке, которому хочется показать, что и он принимал активное участие в работе, хотя на деле его участие является ничтожным [УФС: 238]; *с позволения сказать* – формула вежливости, используемая для того, чтобы предупредить собеседника о том, что в дальнейшем будет сказано что-то не вполне удобное или приличное [УФС: 260]; *не прогневайся (не прогневайтесь)* – 'сам виноват' [УФС: 289]; *слуга покорный* – 'формула отказа или несогласия' [УФС: 262]; *швец и жнец, и в дуду игрец* – 'отзыв о человеке, считающем, что он умеет делать все' [УФС: 129]; *по заслугам* – 'как того заслуживают чьи-либо проступки' [УФС: 119]; *от большого ума* – 'по глупости' [УФС: 410]; *одна слава, что..* – 'о чем-либо, что существует только по имени, на словах, а на деле совершенно противоположно' [УФС: 346]; *изволь(те) радоваться* – 'восклицание, выражающее досаду по поводу какой-нибудь неприятной неожиданности' [УФС: 302]; *(с чем вас и) поздравляю* – 'выражение некоторого злорадства или комическое выражение сочувствия при неудаче или при неприятности' [УФС: 261].

Лексико-грамматическая соотнесенность ФЕ (т. е. принадлежность к процессуальным, предметным и т. д. фразеологизмам) никак не влияет на процесс их «иронизации». Общим объединяющим моментом ФЕ, употребляемых как иронические, выступает, во-первых, яркая и явная

оценочность лексем, во-вторых, наблюдаемый переход большинства единиц из книжного стиля в разговорный.

Специфичность способа иронизации ФЕ первой подгруппы особенно наглядно вскрывает фреймовый анализ компонентов. Обстоятельный фреймовый анализ юмористических текстов, высказываний и выражений предложила М. А. Панина в диссертационном исследовании «Комическое и языковые средства его выражения». [Панина 1996]. С точки зрения реализуемого метода реконструкции ситуации общения, приведшей к возникновению иронической коннотации, каждая ФЕ, совмещающая в себе стереотипный и игровой элементы, неожиданно меняет установку воспринимающего высказывание, рождает комический эффект, «прочитываемый» как насмешка. Так, анализ ФЕ, используемых в исходном и ироническом значениях, показывает, что стереотипная ситуация, заложенная в прямых значениях компонентов ФЕ, разрушается при столкновении логико-семантических полей каждого из компонентов. Компонент, обладая определенным логико-семантическим полем, накладывает обязательства на другой компонент по определенным критериям: логической, грамматической, стилистической сочетаемости. Это значит, что прямое значение одного компонента не предполагает его использование с другим компонентом в переносном значении и наоборот. Противоречие, лежащее в основе всякого комизма, есть не что иное, как совмещение при восприятии двух противостоящих логико-семантических полей, которые определяются через оппозицию своих репрезентантов, например, «высокое – низкое». Комический эффект заключается в том, что фрейм высказывания, изначально, стереотипно принадлежащий, например, логико-семантическому полю с репрезентантом «высокое», описывается в понятиях логико-семантического поля с репрезентантом «низкое». Такой фрейм, или его терминал, приводит на какое-то время к сбою в логической категоризации поступающей в сознание информации, пока в действие не вступит фрейм «игры», «стирающий» логические противоречия [Панина 1996: 11].

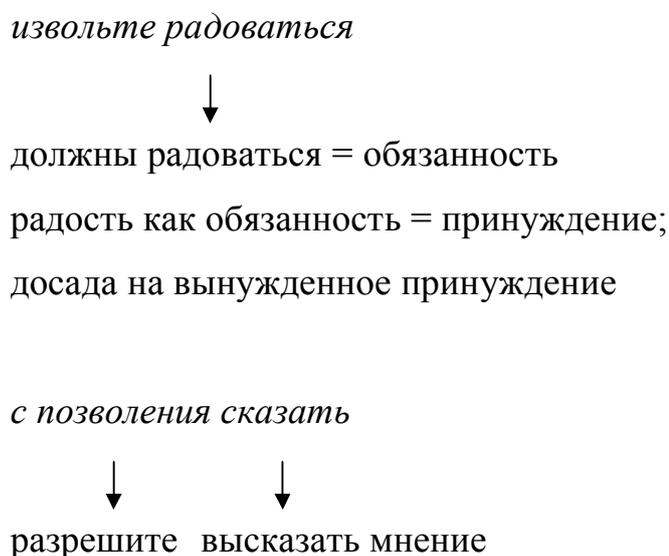
Внедрение описанного подхода к анализу ФЕ обнаруживает, что при противопоставлении «высокого» и «низкого» в рамках одной ФЕ реализуется «хождение» по ассоциативным полям компонентов. Из девяти предложенных М. А. Паниной моделей трансформации серьезного в смешное наиболее продуктивной стала модель замены одного из терминалов фрейма на противоположный. Анализ ФЕ также обнаруживает необычайную продуктивность выявленной модели.

Например, ассоциативное преобразование ФЕ *мягко выражаясь* в ироническое осуществляется как смена терминала каждого компонента на противоположный. Компонент *мягко* осмысливается вначале в значении ‘без брани’, затем в значении ‘честно’ и, наконец, в значении ‘прямо, без лишних извинений, без учета речевого этикета’. В таком соседстве компонент *выражаясь* приобретает значение ‘четко формулируя свою мысль’. В интегративной целостности ФЕ начинает выражать новое, прямо противоположное значение ‘говорить в резком тоне’.

Ассоциативное преобразование ФЕ *выходить в тираж* осуществляется по схеме:



Аналогичное преобразование происходит в ФЕ *извольте радоваться, с позволения сказать*:



разрешение нужно для нелицеприятного мнения;

вынужден слушать нелицеприятное мнение

В ФЕ *по милости кого-либо* компонент *милость* приобретает значение ‘ненужная инициатива, инициатива, которая вызывает неудовольствие окружающих’. Так значение ‘благоденствие’ меняется на значение ‘чья-либо вина’. Во фрейме *слуга покорный* оба компонента приобретают прямо противоположное значение ‘и не слуга, не человек, слепо исполняющий приказания’ за счет развертывания ситуации по оппозиции ‘трезво оценивающий ситуацию / или слепо выполняющий приказания’. Победа прагматического вектора обеспечивает переход лексемы *покорный* из высокого слога в разговорно-бытовую сферу, маркируя новым стилистическим статусом и новое переносное значение обоих компонентов.

Описанные замены одного из терминалов фреймов, содержащихся в ФЕ, на противоположные «переживают» компоненты всех ФЕ, включенных в первую подгруппу. С позиций когнитивной лингвистики намеренное разрушение сложившегося значения ФЕ создает фиктивный модус восприятия сообщения, через который уже «выпячивается» отношение говорящего на фоне ставшего второстепенным означивания. С позиций традиционной описательной лингвистики происходит смена прямых или переносных значений компонентов ФЕ с одновременной сменой их стилистического статуса, коннотативной окрашенности.

Вторую подгруппу составляют ФЕ, основным способом создания иронии в которых является перенос смыслового центра фразы с главного компонента на зависимый. Так формируется ироническое значение у целого ряда ФЕ: *калиф на час* – ‘человек, наделенный или завладевший властью на короткое время’ [УФС: 137]; *китайские церемонии* – ‘излишняя, жеманная вежливость’ [УФС: 143]; *не первой молодости* – ‘не молодой, пожилой’ [УФС: 237]; *попасть пальцем в небо* – ‘сказать невпопад, сделать грубую ошибку’ [УФС: 269]; *недреманное око* – ‘надсмотрщик’ [УФС: 203]; *не первой свежести* – ‘уже несвежий, потерявший свежесть’ [УФС: 240]; *собственной персоной* – ‘сам,

лично' [УФС: 244]; *игра воображения* – 'пустая фантазия, выдумка' [УФС: 128]; *грош медный или ломаный* – 'ничего не стоит, очень плохо, никуда не годится' [УФС: 77]; *филькина грамота* – 'невежественный, безграмотно составленный документ' [УФС: 76]; *без году неделя* – 'несколько дней, недавно, краткий период времени для серьезного обобщения или оценки' [УФС: 69]; *ходить гоголем* – 'держаться франтом, щеголем' [УФС: 68]; *искать вчерашнего дня* – 'тратить силы на поиски того, чего уже нет, чего нельзя найти' [УФС: 54]; *вот так* – 'в восклицаниях для выражения пренебрежения, отрицательной оценки' [УФС: 50]. Выражению *вот так* равно по значению выражение, не имеющее структуры словосочетания *ай да* – 'выражение одобрения, чаще иронического' [УФС: 7]. В эту же подгруппу входят ФЕ: *юмор висельника* – 'шутки, остроты человека, который находится в безвыходном положении, которому грозит гибель' [УФС: 40]; *двойная бухгалтерия* – 'двойственный, лживый образ жизни' [УФС: 27]; *бродячий образ жизни* – 'осуждаемая окружающими постоянная, частая перемена жительства' [УФС: 26]; *сидеть богородицей* – 'сидеть сложа руки, ничего не делать' [УФС: 20]; *блистать отсутствием* – 'не присутствовать намеренно, так, что это бросается в глаза' [УФС: 19]; *бег на месте* – 'энергичный, но бесплодный вид деятельности' [УФС: 14]; *кисейная барышня* – 'жеманная, с ограниченным кругозором девушка, получившая патриархальное воспитание; перен. изнеженный, не приспособленный к жизни человек' [УФС: 13]; *от своих щедрот* – 'из своих средств, от себя дать, подарить' [УФС: 456]; *хорошенького (хорошего) понемногу (понемножку)* – 'удовольствие не может длиться долго, пора прекратить' [УФС: 427]; *сидеть у моря, ждать погоды* – 'безнадежно выжидать чего-нибудь' [УФС: 340]; *слона не приметить* – 'не заметить самого важного, самого заметного' [УФС: 350]; *стрелять из пушек по воробьям* – 'применять сильные, серьезные средства против чего-то незначительного' [УФС: 372].

К этой же подгруппе примыкают выражение *встать с левой (не с той) ноги* – 'быть в плохом настроении' [УФС: 209]. Ироническая коннотация

формируется за счет абсолютизации незначительного явления: настроение не зависит от подъема в определенном положении. Обозначение незначительного явления вместо главной причины, обусловленное перемещением смыслового центра фразы, и составляет механизм порождения иронии. По такой же схеме оформлялась ироническая оценка и в целом ироническое значение в ФЕ *становиться на котурны* – ‘впадать в напыщенный, величественный тон’ [УФС: 155]. Уход из активного словаря слова *котурны* затемнило механизм порождения иронической коннотации в данном обороте.

Сущность названного приема заключается в том, что смысл каждого ФЕ складывается не из суммы или синтеза, переноса значений входящих слов, а формируется в результате абсолютизации значения зависимого компонента ФЕ как свободного словосочетания. Абсолютизация значения зависимого компонента приводит к переосмыслению значения слова, выступающего в качестве главного во фразеологизме. Синтез новых значений является основой формирования иронической коннотации.

Сразу следует оговориться, что представленная подгруппа ФЕ не однородна в плане однозначной реализации приема смыслового перемещения логического центра. У многих ФЕ, кроме основного приема создания иронии, используются дополнительные. Так, в ФЕ *слона не приметить* дополнительно реализуется прием игры культурными смыслами (опора на басню И. А. Крылова «Слон и Моська» и опора и на разговорное значение ФЕ). В ФЕ *филькина грамота, хорошенького понемножку* дополнительными средствами создания иронии выступают суффиксы субъективной оценки (словообразовательные средства) и стягивание в словосочетании разностилевой лексики. Дополнительным средством создания иронии может выступать оксюморонная конструкция словосочетания (*юмор висельника*) или словосочетание из контекстуальных антонимов (*бег на месте*); контекстуальных синонимов (*сидеть у моря, ждать погоды*).

Ко второй подгруппе примыкает также ФЕ, представляющие собой высказывания: *Чего моя нога хочет* – ‘о самодурстве’ [УФС: 210]. В данной

фразе смысловой центр перемещен на компонент *нога*, обозначающий часть тела, не обладающую способностью выражать желания. Олицетворение в данном случае выступает основой формирования иронии, посредством которого складывается негативное отношение к необоснованным, нелепым желаниям и прихотям.

В целом же, во всех представленных ФЕ прием перемещения смыслового центра фразы остается ведущим; причем сила этого приема заключается в том, что в результате его реализации могут создаваться новые варианты ФЕ исключительно с иронической окраской. Так произошло с выражением *калиф на час*. На его основе создана новая ФЕ *на час*, зафиксированная словарем со значением на 'короткое время, временно' [УФС: 43]. Новый логический центр ФЕ сам способен выступить в качестве самостоятельной единицы, что и отмечено словарем.

Подгруппа ФЕ, ироническое значение которых формируется посредством перемещения смыслового центра оборота, значительно превосходит подгруппу, созданную способом астеизма. Если в первой подгруппе 14 единиц, то во второй их насчитывается 33 единицы. Лингвистическая специфика фразеологизмов и при реализации данного способа никак не влияет на формирование иронической коннотации. Вновь ведущая роль отводится оценочным возможностям компонентов ФЕ и включается дополнительно процесс метафоризации сочетаний.

Особая **третья подгруппа** иронических ФЕ – это обороты, созданные на основе совмещения как равноправных способа перемещения смыслового центра словосочетания или фразы с главного компонента на зависимый и способа одновременной метафоризации (т. е. использования в переносном значении) одного или всех компонентов ФЕ. В эту подгруппу, созданную синтетическим способом, входят следующие ФЕ: *выжатый лимон* – 'о человеке, утратившем энергию и способности' [УФС: 17]; *спрятаться в кусты* – 'струсить, увильнуть' [УФС: 164]; *квасной патриотизм* – 'упрямая, тупая приверженность к мелочам национального быта' [УФС: 141]; *сума переметная*

– ‘о человеке, легко меняющем свои намерения, убеждения или часто переходящем из одного лагеря в другой’ [УФС: 243]; *плыть в руки* – ‘быть таким, что легко приобрести, присвоить, украсть’ [УФС: 252]; *скользить по поверхности* – ‘не вникать глубоко во что-либо, ограничиваться внешним знакомством с чем-либо’ [УФС: 253]; *дойная корова* – ‘богатый источник дохода, выгода, которой можно пользоваться долгое время’ [УФС: 88]; *чучело гороховое* – ‘человек, несуразно одетый, посмешище’ [УФС: 74]; *отставной козы барабанщик* – ‘незначительный человек, потерявший общественное положение’ [УФС: 12]; *теплая компания* – ‘совместно действующая компания мошенников, авантюристов’ [УФС: 386]; *угнетенная невинность* – ‘о ком- или чем-нибудь, терпящем якобы напрасно какие-либо неприятности’ [УФС: 404]; *срывать цветы удовольствия* – ‘беспечно, не думая о своем семейном или общественном долге, пользоваться удовольствиями жизни’ [УФС: 364]; *снимать сливки* – ‘брать самую лучшую часть чего-либо’ [УФС: 355]; *тихой сапой* – ‘крадучись, медленно и незаметно’ [УФС: 324]; *рыцари большой дороги* – ‘грабители’ [УФС: 322]; *отправить в рай* – ‘убить’ [УФС: 305]; *трубить в фанфары* – ‘поднимать шум вокруг чего-либо, шумно говорить о чем-нибудь, провозглашать что-либо’ [УФС: 419]; *ходячая газета* – ‘человек, который знает и распространяет все новости и сплетни’ [УФС: 427]; *толстый намек на тонкие обстоятельства* – ‘чересчур прозрачный намек на что-либо очевидное’ [УФС: 393]; *держаться на честном слове* – ‘еле держаться’ [УФС: 440]; *в юбке* – ‘в женском облике’ [УФС: 458]; *чернильная душа* – ‘бюрократ, чиновник, формалист’ [УФС: 436]; *покорить сердце* – ‘заставить кого-либо влюбиться в себя’ [УФС: 262]; *покоритель сердец* – ‘человек, имеющий успех у женщин’ [УФС: 262]; *покорительница сердец* – ‘женщина, имеющая успех у мужчин’ [УФС: 262]; *чудеса в решете* – ‘о чем-нибудь необычном или нелепом’ [УФС: 308]; *два сапога пара* – ‘о двух лицах, вполне подходящих друг другу (преимущественно в отношении общего недостатка)’ [УФС: 324]; *кративное семя* – ‘бранное прозвище старинных подьячих, а потом – чиновников-взяточников и бюрократов’ [УФС: 336]; *из другой оперы (не из той оперы)* – ‘о

чем-либо, совершенно не относящемся к делу, к теме конкретного разговора' [УФС: 225].

Во всех входящих в третью подгруппу ФЕ наблюдается совмещение двух способов порождения иронии, но в каждом конкретном случае роль каждого способа очень специфична. Так, в трех ФЕ (*покорить сердце, покоритель сердец, покорительница сердец*) образование иронической коннотации шло различными путями. Вероятно, вначале сформировался иронический оттенок в значении ФЕ *покорить сердце*, в котором отрицательное отношение сложилось к насильственному методу формирования чувства, а затем на основе иронической коннотации исходного фразеологизма сложились и иронические значения в двух других ФЕ. Во фразеологизме *маменькин сынок*, кроме наложения двух названных способов порождения иронии, дополнительным средством выступают суффиксы субъективной оценки, использованные в каждом компоненте ФЕ. В процессе создания иронии ФЕ *отставной козы барабанщик* и *чучело гороховое*, кроме двух совмещенных способов, реализуется дополнительно способ наложения культурных смыслов. Выражение *отставной козы барабанщик* произошло от старинной русской забавы: коза, т.е. человек, наряженный козой, и барабанщик, сопровождали жоака с медведем на народных гуляниях. Поскольку само зрелище было смешным, а подобный эскорт комичным, нелепым, то и выражению был присвоен иронический статус. Другая ФЕ – *чучело гороховое* – произошла от обозначения пугала на гороховом поле, которое воспринималось окружающими как нелепое. Насмешливый способ восприятия явления был присвоен выражению, обозначающему это явление.

К этой же подгруппе примыкают ФЕ, не имеющие структуры словосочетания, но ироническая коннотация в которых оформилась на основе совмещения способа перемещения смыслового центра фразы и способа метафоризации ее компонентов. Это ФЕ *стрелочник виноват* – выражение, употребляемое в случаях, когда виновником какой-нибудь катастрофы, неудачи

объявляют низового исполнителя [УФС: 372]; *бумага все стерпит* – ‘написать можно все, что угодно и как угодно’ [УФС: 387].

В целом, третья подгруппа ФЕ представляет собой довольно заметное явление, поскольку на основе способа совмещения ироническое значение формируется у 33 единиц. Отличительной лингвистической особенностью ФЕ этой подгруппы является их принадлежность к разговорному стилю.

Четвертая подгруппа объединяет ФЕ, в которых ироническое значение формируется как непосредственное создание метафорического выражения, где перенос значения каждого компонента является единственным способом порождения иронии. Правда, примеров исключительно метафорической природы иронии немного. В современном русском языке возникло выражение *клей и ножницы*, ставшее ироническим указанием на бездарную и беззастенчивую компиляцию [УФС: 144]. Ироническое значение в ФЕ *с птичьего полета* – ‘поверхностно, не вникая в подробности’ [УФС: 296] оформилось в результате переосмысления прямого значения словосочетания: с высоты, с такого места, откуда все видно. ФЕ *высокого или высшего полета* долгое время было метафорической характеристикой влиятельных людей, занимающих высокое положение в обществе. С течением времени, когда уже был осмыслен опыт частого нечестного выдвижения в начальники непорядочных представителей общества, факт такого выдвижения проявился в ироническом преобразовании данной ФЕ. В этой связи оборот во фразеологическом словаре дается с пометой «ироническое» [УФС: 263].

Пятая подгруппа ФЕ с иронической коннотацией оформилась за счет использования способа буквализации метафор. Он представляет собой специфический языковой способ создания иронии. Думается, что в процессе образования фразеологизмов одновременно на его основе создавался троп посредством переноса значения по функции, по форме, по количеству и т. п., в коннотацию которого вкраплялось насмешливое отношение к явлению, фиксируемое в содержании переноса. «Выпячивание» насмешливого отношения осуществляется в процессе восприятия фразеологизмов,

позволяющего одновременно совмещать переносное и буквальное значение ФЕ или одного из их компонентов. Подобным способом ирония привносится в следующие ФЕ: *развесить уши* – ‘слушать что-либо с любопытством и доверчивостью’ [УФС: 303]; *расписаться в получении* – ‘сознаться в полученном оскорблении, подтвердить его’ [УФС: 306]; *разинуть рот* – ‘выразить на лице изумление’ [УФС: 313]; *разжевать и в рот положить* – ‘объяснить в самой доступной форме’ [УФС: 313]; *в ступе воду толочь* – ‘о бесцельном, бесполезном понятии’ [УФС: 373]; *держаться нос по ветру* – ‘приноравливаться к господствующим вкусам’ [УФС: 35]; *жевать жвачку* – ‘нудно, надоедливо повторять одно и то же’ [УФС: 103]; *витать в воздухе, в облаках* – ‘быть непрактичным, предаваться бесплодным фантазиям’ [УФС: 40].

В пятую подгруппу ФЕ, образованную способом буквализации исходных метафор, входят также фразеологизмы, не имеющие структуры словосочетаний, но воспринимаемые в речевом акте в двух планах: в прямом и переносном значениях одновременно. Это ФЕ, равные предложным сочетаниям: *с потолка* – ‘наобум, как в голову придет, без достаточных оснований’ [УФС: 276]; *для души* – ‘для удовлетворения каких-нибудь внутренних потребностей, интересов’ [УФС: 95]; *в кавычках* – ‘не заслуживающий присвоенного ему названия, якобы таковой, так называемый’ [УФС: 135]; ФЕ, равное сочетанию слов с сочинительной связью: *охи да вздохи* – ‘непрерывные жалобы, сетования’ [УФС: 36]; ФЕ, равные по структуре высказыванию: *Мухи дохнут* – ‘о невыносимой скуке’ [УФС: 91]; *Когда рак на горе свистнет* – ‘о неопределенном будущем, неизвестно когда, никогда’ [УФС: 306]; *Идти, куда ветер дует* – ‘не иметь твердых убеждений, подчиняться в каждый данный момент господствующей идеологии, моде’ [УФС: 35].

Выделяется еще одна, **шестая подгруппа** ФЕ, в которой ярким способом порождения иронии является намеренное столкновение в пределах одного словосочетания разностилевой лексики. Столкновение разностилевой лексики сопровождается часто одновременной метафоризацией одного из

компонентов ФЕ. В подгруппу выражений, созданных названным способом, входят следующие ФЕ: *рядиться в тогу* – ‘выдавать себя за кого-нибудь или что-нибудь, стремиться создать себе репутацию кого-чего-нибудь, не имея на то оснований’ [УФС: 392]; *танцевать от печки* – ‘делать что-нибудь, начиная с привычного места, повторяя весь ход работы, действия с самого начала’ [УФС: 246]; *камешек в огород* – ‘обидный намек по адресу кого-нибудь’ [УФС: 139]; *повернуть оглобли* – ‘уйти обратно, получив отказ, не добившись цели’ [УФС: 220]; *тутти кванти* – ‘все, какие есть, и всякие прочие’ [УФС: 400].

Сюда же примыкают ФЕ, имеющие структуру высказываний, иронические значения которых складываются в процессе столкновения разностилевой лексики в рематической и тематической частях фраз: *Звезд с неба не хватает* – ‘об умственно ограниченном человеке’ [УФС: 120]; *Гром не из тучи, а из навозной кучи* – ‘о чем-нибудь с виду страшном или значительном, а на самом деле пустом, малозначащем’ [УФС: 194].

Итак, выделяется шесть основных подгрупп ФЕ, различающихся способами создания иронии. Сами способы создания иронической коннотации различаются степенью продуктивности в современной фразеологии. По критерию продуктивности, как показывает анализ, они существенно различаются.

Ирония как игра культурными смыслами

Кроме собственно языковых способов, выделяются речевые способы порождения иронии, протекающие как игра культурными смыслами: первоначальным смыслом фразы и новым, рожденным в процессе узуального употребления и «переиначивания», основанного на новом практическом опыте. Как правило, ФЕ, созданные на основе игры культурными смыслами, употребляются в русском языке в двух значениях: собственно фразеологически связанном, неироническом, и новом ироническом. Эти ФЕ и обнаруживают механизм осуществления иронии.

Игра культурными смыслами не связана напрямую с языковой игрой, поскольку ироническая ФЕ такого плана может не содержать собственно

языковых средств насмешки. Однако ироническая коннотация ФЕ легко «прочитывается» за счет осознаваемого или частично осознаваемого носителями языка наложения двух смыслов фразы, сформировавшихся в различных общественно-исторических ситуациях или в различных исторических эпохах.

На основе игры культурными смыслами возникла ирония в ФЕ *христова невеста*. Вначале это выражение сложилось как метафорическое именование монахинь, дающих в числе прочих обетов обет безбрачия. Абсолютизация последнего момента и пренебрежительное отношение к подобной жертве со стороны обычных людей привело к появлению иронического значения: называния немолодой девушки, не вышедшей замуж [УФС: 203].

ФЕ *голубая кровь* – ‘дворянское аристократическое происхождение’ [УФС: 71]; *белая кость* – ‘барская, дворянская порода’ [УФС: 15] первоначально сложились как метафорические названия представителей аристократии, высших слоев общества. Но в народной среде отношение к людям, не умеющим жить своим трудом, всегда было насмешливым, поэтому в данные обороты в течение времени были привнесены иронические оттенки. В современном русском языке эти ФЕ используются для выражения иронического отношения к людям, выдающим себя за элиту общества.

Появление иронического оттенка в значении выражения *власти предержавшие*, означающего ‘представители высшей власти’ [УФС: 131], обусловлено весьма сложной исторической судьбой взаимоотношений русского народа со своими вождями и руководителями. Поскольку неуважительное отношение к представителям власти стало частью ментальной компетенции российского общества, выражение исключительно этого отношения находит примеры в языковой практике: «*Все больше власть предержавших поддерживают, покровительствуют, шефствуют, подбадривают, похлопывают по плечу, а попадись они в беду, им помогают выпутаться*»; «*Но проходит время, и в сознании миллионов ничего не остается от творений*

недавних любимцев власть предержащих, популярных авторов «на подхвате» [БСКС 2000: 80].

ФЕ *открыть Америку* – ‘объявить о том, что давно известно’ [УФС: 230] приобрело ироническую коннотацию в результате метафорического переосмысления исторического факта. Первоначально это выражение действительно служило для обозначения настоящих открытий, но поскольку жизненная практика все чаще подтверждала, что объявленные «открытия» не являются таковыми или этот факт не проверен, сформировалось новое ироническое восприятие бытующего оборота. Положительную коннотацию сменила ироническая, возникшая в процессе столкновения двух культурных смыслов.

ФЕ *отложить до греческих календ* синонимично по значению русскому фразеологизму *отложить в долгий ящик* [УФС: 137]. Первоначальное значение ФЕ ‘отложить до праздников’, было связано с так называемыми ‘календами’, время проведения которых не считалось греками и не включалось в годовой календарь. Эти праздники проходили долго, в течение двух недель, и все дела надолго откладывались. Ироническое отношение к долгому отсрочиванию нерешенных проблем привело к формированию иронической коннотации у всего выражения. Причиной «иронизации» вновь выступает столкновение двух культурных смыслов одного выражения: первоначального и переносного.

С освоением греческой мифологии на русской почве связано появление ФЕ *дойти до геркулесовых столбов*. Геркулесовыми столбами (или столпами) в Средневековье называли Гибралтарский пролив, считавшийся в представлении древних народов пунктом, за которым кончается суша. Первоначально это выражение означало ‘достичь самого предела’. Поскольку жизненная практика всегда показывала, что пределов ни в какой области человеческого существования нет, постольку возникли условия для формирования нового, иронического значения ‘дойти до крайнего предела, до абсурда, выйти за пределы разумного’ [УФС: 369].

Перевод произведений древнеримского поэта Горация подарил русской культуре выражение *золотая середина*. В первоначальном употреблении это выражение использовалось в значении ‘оптимальный выбор’, предполагающий осторожность решения. Осторожность всегда граничит с нерешительностью. Синонимизация понятий привела к появлению иронической коннотации у этой ФЕ: насмешливое отношение к какому-либо образу действий, решению, чуждому крайностей и риска [УФС: 124].

ФЕ *без руля и без ветрил*, бытующие в современном русском языке в значении ‘без ясного направления и цели’ [УФС: 320], обязано своим происхождением поэме М. Ю. Лермонтова «Демон» («На воздушном океане, Без руля и без ветрил, Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил»), где она появилась как поэтическая метафора. Выхваченное из контекста, выражение стало употребляться вначале для обозначения неуправляемого, а затем и бесцельного движения.

ФЕ *на изнанку* в первоначальном употреблении, реализующемся и сейчас, имеет значение ‘лицевой стороной материи внутрь, а внутренней наружу, навыворот’ [УФС: 130]. По критерию ‘навыворот’ оформилось переносное ироническое значение: в новом, переименованном виде [УФС: 130].

Столкновение культурных смыслов, сформировавшихся у ФЕ *казанская (казанский) сирота, скатертью дорога, во всей (своей) красе, крокодиловы слезы*, стало причиной появления у них иронической коннотации. Выражение *казанская сирота* имеет историческую основу: бывшие казанские правители – мирзы – после покорения Казани пользовались по указу Ивана Грозного милостями московских царей. Иронический оттенок появился уже в первоначальном употреблении оборота, отражавшем отношение русского народа к татаро-монгольским завоевателям. Ирония усилилась в процессе употребления этой ФЕ для обозначения человека, прикидывающегося несчастным, пытающимся разжалобить мнимыми лишениями [УФС: 341].

ФЕ *скатертью дорога* несколько веков входило в древнерусский и старорусский язык как часть речевого этикета: напутствия и пожелания легкой

дороги. С течением времени пожелание легкой дороги стало осмысливаться как часть желания освободиться от неудобного гостя или посетителя. Это новое отношение явилось основой формирования иронии в значении данной ФЕ ‘иди куда угодно, убирайся немедленно’ [УФС: 90].

Выражение *во всей (своей) красе* в прямом значении означало ‘в полном великолепии’ [УФС: 157]. Вероятно, самолюбование красотой конкретных людей вызывало у окружающих чувство осуждения, которое породило ироническую коннотацию у данного выражения с новым значением, ‘с обнаружением подлинного вида, со всеми недостатками’ [УФС: 157]. В ироническом значении этот оборот используется с обязательным компонентом *своей*, который, как правило, не реализуется при использовании ФЕ в первоначальном значении.

Общеизвестно происхождение иронической коннотации в ФЕ *крокодиловы слезы*. Согласно поверью, сложившемуся в средние века, крокодилы плакали, жалея свои жертвы. Однако учеными было установлено, что из глаз крокодила во время жевания выделяется избыток слюны, а вовсе не слезы. Так возникли условия для переосмысления первоначального значения (‘слезы жалости’) в ироническое: ‘лицемерные слезы’ [УФС: 160].

В «Универсальном фразеологическом словаре русского языка» содержится большое число примеров иронического переосмысления евангельских выражений, обусловленного столкновением первоначального, сакрального и последующего обыденного смыслов.

ФЕ *алчущие и жаждущие*, реализуется в нескольких иронических значениях. У него отмечено словарем значение ‘страстно желать чего-либо’ [БСКС: 25], ‘ожидающие, добивающиеся чего-либо’ [УФС: 8]. Абсолютизация одного чувства обусловила возможность выработки насмешливого отношения к подобной абсолютизации, что привело к возможности трактовать в языковой практике данное чувство как гротескное: «В приемной набралось человек тридцать просителей, алчущих и жаждущих драгоценную подпись, но

начальник «был занят» уже третий час, и обстановка накалялась» [БСКС: 25].

Второе ироническое значение ФЕ *алчущие и жаждущие* отмечено «Большим словарем крылатых слов русского языка» В. П. Беркова, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежковой [БСКС: 2000]. Результатом иронического переосмысления сакральной библейской фразы *блаженны алчущие и жаждущие правды (ибо они насытятся)*, стала характеристика людей, стремящихся обрести истину любой ценой. Именно такая характеристика содержится в произведении И. Тендрякова «Пара гнедых»: *За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос: – Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо помилованы будут... И мужики обеспокоились, разом заговорили. – Блаженны алчущие?! ..Выходит, что по-божески нынче забирают. – А милостивые блаженны, как тут понять? – Эй, дедко растолкуй: бог твой за нынешнюю власть или против? – Все равны перед богом, – пробубнил дед Санько сквозь волосяную паутину» [БСКС: 47]. В результате столкновения культурных смыслов – евангельского и обыденного – произошла буквализация метафорического выражения, которая не привела к утрате самой метафоры. Она способствовала соположению двух смыслов: старого и вновь формируемого в процессе буквализации, – а сам факт соположения и стал основой возникновения нового иронического оттенка ‘характеристики жадных людей, ненасытных в своем желании’ [БСКС: 47].*

ФЕ *валамова ослица* пришло в русскую фразеологию из библейской легенды об ослице волхва Валаама, неожиданно запротестовавшей человеческим языком против побоев. Первоначально оборот использовался как метафорическое обозначение людей, потерявших терпение и возмущившихся против притеснений. Но православие формировало отношение к терпению как к основной христианской ценности, и любое проявление нетерпения заставляло воспринимать презрительно. На этой основе сложилось ироническое

употребление ФЕ для пренебрежительной аттестации покорных людей, вдруг запротестовавших в обыденных обстоятельствах [УФС: 226].

ФЕ *метать бисер перед свиньями* взято из евангельской притчи, где уже употребляется в метафорическом значении: ‘говорить о чем-либо, превышающем понимание окружающих’. Правда, в евангелии это выражение не имеет иронического оттенка. Ироническая коннотация появляется позже как результат презрительного отношения к непонимающим людям вследствие их равнодушия. Исключительно в ироническом значении представляет эту единицу УФС [УФС: 16], хотя очевидно произошедшее во времени столкновение культурных смыслов данной ФЕ.

Логически более прозрачно формирование иронической коннотации в ФЕ *второе пришествие*. Первоначальное прямое значение свободного словосочетания связано с христианской верой. Но необычайная отсроченность второго пришествия привела к появлению переносного иронического значения: ‘неизвестно когда наступит’ [УФС: 288]. Любое отношение неопределенности воспринимается практичным народным сознанием насмешливо, что и проявилось в истории иронизации библеизма.

Из Библии заимствовано выражение *кимвал звенящий (или бряцающий)*. Правда, в самом тексте этот оборот звучит несколько иначе: «медь звенящая и кимвал бряцающий» [УФС: 142]. В первоначальном употреблении это выражение использовалось как метафорическая характеристика торжественной речи. Но поскольку в ораторских церковных речах приняты были частые повторы и пышные метафоры, делающие речь малопонятной, то вскоре это выражение приобрело иронический оттенок, отражающий отношение к витиеватой, напыщенной, но малосодержательной речи. Именно это ироническое значение зафиксировано фразеологическим словарем [УФС: 142].

Из евангельской притчи пришло выражение *чающие движения вод*, означавшее ‘ожидающие результата’. В народном сознании ожидают, а не достигают результатов деятельности только ленивые или хитрые люди. Такое понимание привело к возникновению нового иронического значения:

‘ожидающие чего-нибудь, какой-нибудь поживы, выгоды, улучшения’ [УФС: 435].

Очевидно, что в основе создания иронической коннотации у группы разобранных фразеологизмов лежит насмешливое переосмысление следствий и результатов конкретного события по ассоциации, смежности, сходству отдельных деталей и т. п. Вектор иронического осмысления один – сомнение в правильности изначальной трактовки явления, – а конкретные пути его реализации в каждом отдельном случае специфичны, своеобразны.

Итак, анализ фразеологических единиц, содержащихся в «Универсальном фразеологическом словаре», позволяет сделать следующие выводы.

Ирония, представляя собой металогическую фигуру речи, нацелена на выражение тонкой или скрытой насмешки над фактами, событиями, явлениями воспринимаемой действительности. Насмешка во ФЕ выражается посредством языковой игры со значениями слов (компонентов), входящих в ФЕ, или посредством игры с культурными смыслами, закрепленными за конкретными ФЕ.

Формирование иронического значения ФЕ посредством игры со значениями слов осуществляется шестью основными способами. Самыми продуктивными (33% от всех случаев) являются перенос смыслового центра с главного компонента фразеологизма на зависимый и совмещение способа метафоризации одного из компонентов ФЕ со способом перемещения смыслового центра сочетания с главного компонента на зависимый. На способ формирования прямо противоположных значений у компонентов ФЕ и способ буквализации метафорических значений ФЕ приходится 14% случаев формирования нового иронического значения у ФЕ, имеющих основное значение с нейтральной коннотацией. Наименее продуктивными являются способ намеренного столкновения разностилевой лексики в пределах ФЕ (7% от всех случаев) и способ метафорического употребления всех компонентов ФЕ (5% от всех случаев).

Формирование иронического значения ФЕ посредством игры с культурными смыслами осуществляется всегда особым, специфическим образом и предполагает переосмысление накопленного ментального или культурного опыта.

Проведенный анализ показал, что иронические значения не всегда имеют языковые маркеры выражения. Будучи металогической фигурой скрытого замысла говорящего, ирония обнаруживается на когнитивном уровне как разрушение сложившегося фрейма (стереотипа, нормы), сопровождающееся установлением новых причинно-следственных связей и отношений между явлениями и событиями объективной действительности.

Таким образом, обогащение наличного арсенала ФЕ новыми ироническими значениями, требующими двойной интерпретации высказываний, свидетельствует не только об эволюции языка в ходе языковой игры, но и существенном усложнении языковой личности, выступающей носителем русского языка. Умение иронизировать означает наличие высокой интеллектуальной способности скользить по сетке формируемых обобщений, использовать насмешку в прагматических целях, для выполнения не только осмеивающей, но и манипулирующей, презентирующей и катарсической функций.

Немаловажным представляется еще одно обстоятельство. Изменение языковой картины мира, обнаруживающееся в появлении иронической коннотации у давно бытующих ФЕ, свидетельствует о развитии более динамичной, семантически сложной концептосферы у современных носителей русского языка.

IV.

Русская языковая картина мира сквозь призму художественного сознания

**БИНАРНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО,
ИЛИ «ЖИЗНЬ, СОЗЕРЦАЕМАЯ В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРЫ»**

В российском и западном мерезковковедении сложились некоторые методологические подходы к вопросу эволюции творчества писателя и к трактовкам отдельных его произведений. Они в основном представлены в итоговой на данный момент книге – «Д. С. Мережковский. Мысль и слово» [Мысль и слово 1999]. Главными своими задачами авторы данной коллективной монографии видят освещение «разных граней мира писателя» и «нелицеприятное», «беспристрастное» осмысление его наследия. В качестве исходного тезиса постулируется мысль о парадоксальности и противоречивости Мережковского и его художественных созданий. Противоречивость эта усматривается как на уровне мирозерцания, «импонирующая цельность» которого «нередко оборачивалась догматической обуженностью», так и на уровне поэтики Мережковского-художника («Новизна содержания часто не могла преобразить форму, и тогда новое вино вливалось в старые мехи») [Мысль и слово 1999: 3]. Этот важный для нас тезис мы и положим в основу нижеследующих рассуждений.

Одной из тенденций современного мерезковковедения является стремление построить целостную и непротиворечивую концепцию творчества писателя, нарисовать единую «картину мира». «...все творчество Мережковского есть грандиозный по замыслу цикл, в центре которого – судьба целого мира, судьба человечества, – пишет Л. А. Колобаева. – Объединяющим началом этого *художественного мироздания* является символика Христа и антихристианства...» [Колобаева 1999: 7]. Из дореволюционных критиков лучше всего сказал об этом А. Белый: каждая из книг Мережковского «опирается на другую, все же они созданы друг для друга, все они образуют связанное целое». Все сферы своей деятельности, продолжает критик, Мережковский превратил «в ореол вокруг какого-то нового отношения к

религии – теургического, в котором безраздельно слиты религия, мистика и поэзия» [Белый 1994: 376-377]. Сам Д. С. Мережковский неоднократно подчеркивал единство всех своих произведений как отражение «внутреннего хода» [Мережковский 1991: 321] своего развития, и прежде всего «внутреннего религиозного опыта» [Мережковский 1914, т. 1: 7]. В разные периоды творческой деятельности писатель видел эту объединяющую идею в вопросе об отношении двух правд (Божеской и человеческой, «о небе» и «о земле») во всемирной истории [Мережковский 1914, т. 1: 8] либо понимал ее как «отражение в истории – вселенской, т.е. все века, все народы и культуры объединяющей, – идеи христианства (или, вернее, религии Святой Троицы <...>» [Мережковский 1914, т. 9: 137]. В произведениях эмигрантского периода Мережковский уже непосредственно и детально разрабатывает концепцию Третьего Завета. Однако в том же известном Предисловии писателя к собранию своих сочинений, которое мы только что процитировали, можно найти и такое высказывание: «Я не имею притязания давать людям истину, но надеюсь: может быть, кто-либо вместе со мною пожелает *искать истины*. Если да, то пусть идет рядом по тем же *извилистым*, иногда темным и страшным, путям; делит со мною иногда почти безысходную муку *тех противоречий*, которые я переживал. Читатель равен мне во всем; если я вышел из них – выйдет и он» [Мережковский 1914, т. 1: 6] (курсив везде наш – А. М.).

Таким образом, попытка исследователей прочесть тексты Мережковского разных жанров как единый «религиозно-художественный» текст, растянутый во времени, но написанный «об одном», достаточно плодотворна и, как мы уже показали, находит методологическое обоснование в высказываниях самого писателя, в понимании им творческого процесса и, наконец, в многочисленных, явных и скрытых, переключках (образных, тематических и пр.) между его произведениями. Для дореволюционных критиков это стало ясно к 1910-м гг., когда вполне определилась идеология Мережковского, когда были написаны трилогия «Христос и Антихрист», исследование «Лев Толстой и Достоевский», когда начало выходить полное собрание его сочинений. Так, в своей публичной

лекции 1909 г. о Мережковском Л. Щеглова отмечала своеобразную цельность его исканий: «Мережковского надо брать в целом, *как образ...*» [Щеглова 1910: 59]. Указывая на «частные противоречия» идейной эволюции Мережковского, В. Брюсов в 1912 г. говорил о «необыкновенной стройности» ее, а также о единстве творческих исканий писателя: «Его романы, драмы, стихи говорят о том же, о чем его исследования, статьи и фельетоны. Мережковский-поэт неотделим от Мережковского-критика и мыслителя» [Брюсов 1912: 55, 58]. Среди современных исследователей эта точка зрения наиболее четко выражена Л. Колобаевой («можно говорить о намеренной установке Мережковского на прочтение его произведений в контексте большого целого – не только романа, но цикла, трилогии, даже всего творчества» [Колобаева 1999: 15]) и В. Рудичем («В силу особенностей творческого склада самого Мережковского все эти сочинения <перечисляются основные произведения писателя. – А. М.>, независимо от разделения на жанры, составляют некое *единое* произведение»). Рудич в то же время предостерегает от упрощений, отмечая, что «мысль Мережковского была динамичной и противоречивой» [Рудич 1995: 218]. Мы также считаем, что при всем «тотальном единстве художественного мира» (Л. Колобаева), созданного писателем, картина мира в каждом отдельном его произведении уникальна и не сводится к механическому повторению «общих мест» поэтики и идеологии Д. С. Мережковского. Отсюда следует одно методологическое замечание: надо с большой осторожностью переносить высказывания, концепции и смысл поэтических приемов Мережковского одного периода на произведения других периодов, например, с эпохи увлечения идеями Ф. Ницше (1890-е гг., т. е. время создания романа «Смерть богов») на эпоху первой русской революции (созревание замысла второй трилогии), когда Мережковский, по его позднему признанию, видел «положительную религиозную силу в русском самодержавии» [Мережковский 1914, т. 1: 7].

Очевидно, что содержание понятия *художественная картина мира* предполагает выделение неких идейно-художественных констант, на которых

она строится. Суммируя наблюдения мережковсковедов двух поколений (рубежа XIX–XX вв. и рубежа XX–XXI вв.), можно выделить основополагающие характеристики мышления Д. С. Мережковского – человека, мыслителя и художника – и созданной им картины мира: 1) мышление это **амбивалентное** и **дихотомическое**, воспринимающее и осмысляющее мир в антиномиях, художественно описывающее его в антитезах; 2) художественная картина мира Мережковского может быть определена как **культурофилософская**.

Последний тезис был сформулирован еще в дореволюционном мережковсковедении, и наиболее отчетливо, пожалуй, К. И. Чуковским: «Д. С. Мережковский *любит культуру*, как никто в России не любил ее. Любит все эти «вещи», окружающие человека <...> и кажется – вынь Мережковского из *культурной среды*, из книг, цитат, памятников <...> – и ему нечем будет жить, дышать, и он тотчас же погибнет, как рыба, вынутая из реки»; «Человека всегда изображает Мережковский в *аспекте культуры*»; «Мережковский становится истинным виртуозом, тонким и богатым художником только тогда, когда рассматривает человека сквозь наслоения созданных человеком вещей – религии, языка, литературы, искусства». Однако не стоит заблуждаться насчет симпатий критика к писателю. Все эти мнимые комплименты нужны Чуковскому только для того, чтобы доказать тезис о неспособности Д. Мережковского проникнуть в «душу человеческую»: «... чужда Мережковскому душа человеческая и человеческая личность» [Чуковский 1908: 200 – 216]. К мнению Чуковского присоединяется А. Долинин, говоря о том, что «неодолимая трагедия Мережковского» – в «*болезни культуры*», которую критик понимает как «власть рассудка над интуицией» [Долинин 1914: 356].

О необходимости какого-то нового взгляда на созданное Мережковским пронизательно писал А. Белый: «Оставаясь в пределах строго искусства, почти невозможно говорить о его «Трилогии». Все равно вырвешься в мистику, в историю культуры, в идеологию» [Белый 1994: 377]. Эту только намеченную в первые десятилетия XX в. мысль – о «погруженности» Д. С. Мережковского в

культуру, о «культурологическом» характере занимавших писателя проблем – плодотворно развивают современные исследователи: С. Поварцов [Поварцов 1991: 344], И. Кондаков, Х. Баран, И. Приходько и др. [Кондаков, Баран, Приходько 1999: 159, 188, 203 - 204]. В своем новейшем курсе лекций по культурологии И. В. Кондаков говорит о возникновении в творчестве деятелей Серебряного века, в том числе и Д. Мережковского, «нового культурного синтеза, связанного с символической интерпретацией всего – искусства, философии, религии, политики, самого поведения, деятельности, реальности» [Кондаков 2003: 300].

На нынешнем этапе развития науки о Мережковском представление о писателе – «субъективном культурологе» [Низова 1999: 280] – освободилось от негативных коннотаций, свойственных ему в 1900–1930-е гг., и определяет один из ракурсов восприятия трилогий «Христос и Антихрист» и «Царство Зверя». «...жизнь, созерцаемая в *аспекте культуры*, – пишет М. Задражилова, анализируя «символизированное пространство» романов Мережковского, – предопределяла во многом способ ее художественного воспроизведения» [Задражилова 1999: 20]. В культурологическом ключе написана одна из первых диссертаций о творчестве писателя – «Проза Д. С. Мережковского 1890 – сер. 1900-х гг.: становление и художественное воплощение концепции культуры» А. М. Ваховской (М., 1996).

Если обратиться к творчеству самого Д. Мережковского, то в наиболее законченной форме культурофилософские устремления писателя выражены в первом его крупном исследовании – сборнике эссе «Вечные спутники» (1896). Приведем также одно из характернейших свидетельств Мережковского на этот счет, во многом автобиографическое: «...душа современного человека не только в отвлеченных мыслях, но и в самых жизненных чувствах своих состоит из бесчисленных влияний, наслоений, наваждений *прошлых веков и культур*. Кто из нас не живет двумя жизнями – действительною и отраженною?» [Мережковский 1995: 83].

К настоящему времени определены и подробно проанализированы те проблемы, которые являлись доминирующими в культурофилософских построениях Дмитрия Мережковского. Приведем лишь самые показательные высказывания исследователей. Еще в 1908 г. Андрей Белый уподобил все написанное Мережковским Эйфелевой башне, начинающейся «многими подножиями; подножия эти упираются в несоизмеримые области знания и творчества; в религию, историю культуры, в искусство, в публицистику, во многое другое» [Белый 1994: 377]. По мнению позднейшего исследователя, Т. Пахмусс, в произведениях Д. С. Мережковского эмигрантского периода соединились «искусство, религия, метафизическая устремленность и социально-политическая мысль». В. Полонский пишет о слитности в книге «Наполеон» «четырех важнейших составляющих русской культурной традиции» – «религиозного, философского, критического и общественно-политического типов мысли». Исследуя связь исканий Мережковского и З. Гиппиус с русской утопической традицией XIX в., О. Матич говорит об их попытке «соединить эрос, религию и общественность». И. Кондаков, «размышляя над феноменом Мережковского», видит особенность его художественного мышления в приложении «предельно абстрактных конструкций – триад и диад, воссоздающих модели мироздания в духе философии всеединства, – к обыденной, повседневной действительности, взятой во всевозможных аспектах – социальном, политическом, нравственном, религиозном, эстетическом и т. п.» [Пахмусс, Полонский, Кондаков 1999: 80, 104, 110, 156]. Наконец, Н. Лосский в своей «Истории русской философии» говорит о «трех проблемах в мышлении Мережковского: проблеме пола; <...> проблеме святой плоти; проблеме социальной справедливости и ее решении через христианизацию жизни общества» [Лосский 1991: 391].

Подытожим сказанное. **Искусство – религия – общественность – историософия – эрос – этика** – таковы те доминантные сферы писательского интереса, которые, вступая зачастую в причудливые отношения, организуют проблемно-концептуальное пространство в художественных произведениях

Мережковского. Каждая из этих шести сфер включает в себя, соответственно, определенный круг вопросов, причем на пересечении их возникают удивлявшие современников и не всегда понятные потомкам комбинации. Так, вызвала недоумение у читателей и критиков второй трилогии писателя его концепция «религиозной общественности» применительно к декабристскому движению. Проблемы общественно-политические постоянно проецировались Мережковским, особенно в период между двух революций, на плоскость религиозную, а вопросы религиозные транспонировались в сферу общественную. Самый яркий пример из духовной биографии писателя такого странного сочетания несочетаемого – идея религиозно-философских собраний в 1901-1903 гг., а также самое содержание «нового религиозного сознания», адептами которого были Д. Мережковский и З. Гиппиус. Кощунственным с точки зрения ортодоксального православия и малопонятным для атеистически настроенной русской интеллигенции было и соединение «триумvirатом» Мережковский–Гиппиус–Философов религии и проблем пола.

Обратимся теперь к той характеристике мировидения Д. С. Мережковского, которую мы обозначили как *амбивалентность*. Синонимом ее в дореволюционной критике выступали понятия *двойственность*, *полярность* и т. п. Именно от критических работ рубежа XIX–XX вв. идет традиция объяснять столь бросающееся в глаза обыкновение Мережковского сталкивать в сознании своих героев неразрешимые дилеммы, оперировать антитезами и т. п. свойствами душевной организации самого писателя. Сразу несколько критиков этой эпохи именно так истолковали принцип антитезы – неспособностью самого Д. Мережковского обрести искомый им синтез. «Антитеза <...> – главный, если не единственный прием Д. Мережковского для выяснения лица его героев, для построения самого хода его романов, для определения <...> количества действующих лиц», – писал Р. Иванов-Разумник в статье «Мертвое мастерство» [Иванов-Разумник 1911: 134-137]. «Особенностью художественного воображения» Мережковского считал антитетичность Л. Козловский: «Страсть находить всегда антитезы он

объективирует во вне, переносит на внешний мир <...> ему кажется, что все вокруг расколото, человечество раздвоено <...> На антитезе построена вся его трилогия» [Козловский 1910: 124 - 125]. А. Долинин, автор итоговой статьи о Мережковском в «Русской литературе XX в.», даже находит «формулу душевной организации» Мережковского – «в действительности все воспринимать по антитезам», формулу, в которой критик видит ключ к творениям писателя и его душевной жизни [Долинин 1914: 344]. Уже в эмиграции другой современник Дмитрия Мережковского, И. Ильин, также рассматривал двойственность как основу натуры писателя, проецируемую им вовне: «...он совершенно раздвоен, сломлен, он носит в самом себе некое темное лоно и любит объективировать его и тогда играть с ним <...> Мережковский чувствует себя в своей тарелке, он успокаивается только тогда, когда он устанавливает *дихотомию* (курсив Ильина – А. М.) – две противоположные стороны – как будто бы некое непримиримое противоречие...», – и дальше Ильин жестко иронизирует над пристрастием разбираемого, а точнее, уничижаемого им автора к антитезам [Ильин 1990: 193-194]. Примеры можно продолжить, и все они, как правило, будут выражать неприятие либо непонимание художественного мира Д. С. Мережковского.

Позитивное истолкование жизненных и художественных интенций Мережковского-писателя (его «двойственности») с тех же, биографическо-психологических, позиций представлено во всех основных работах западных славистов. В своей книге об эволюции религиозного сознания Д. Мережковского до 1917 г. американский ученый Б. Г. Розенталь исходит из посылки о существовании «психологической матрицы, в которой развивалась его мысль» (здесь и далее перевод работы Б. Розенталя наш – А. М.). Признав «внутри себя» «непримиримую двойственность», Мережковский, пишет Б. Розенталь, все проблемы рассматривал «в терминах полярностей». Вся его жизнь – мучительный религиозный поиск – состояла из «попыток синтезировать полярности, которые он видел вокруг себя – *полярности, которые отражали раскол внутри него*» [Rosenthal 1975: 21, 32, 35]. Другой западный

исследователь, С. Х. Бедфорд, рассматривал «дуализм Мережковского» «как движущую силу его жизни, побуждающую его к религиозным исканиям, которые, в свою очередь, были источником, из коих возникала вся его литературная деятельность» [Bedford 1975: 60] (перевод работы С. Бедфорда здесь и далее наш. – А. М.). Более сжато и взвешенно ту же концепцию развивает западноевропейский славист В. Рудич. «Духовная драма Мережковского заключалась в том, – пишет исследователь, – что он был *мучеником дуализма...*». «Неспособность разрешения внутренних душевных конфликтов» Мережковский «предпочитал осмыслять как *культурно-исторические антиномии*». Укажем, вместе с критиком, на истоки этого дуализма. Первый – психологический: «Мережковский видел мир таким и только таким, лично ему присущим образом, пытаюсь найти в этом устраивающее его выражение метафизической проблемы». Второй – философский: гегелевская диалектика. Третий – мистико-религиозный: «эзотерический спиритуализм, уходящий корнями в манихейство» [Рудич 1995: 219 - 220].

В работах отечественных литературоведов и культурологов последних лет находим несколько тенденций в истолковании феномена «двойственности». Понимается он, во-первых, как художественный прием Мережковского, элемент его поэтики. Вслед за критиками 1910-х гг. исследователи указывают на «антиномичность» (Л. Колобаева) созданных Мережковским характеров; на своеобразие его концепции истории, предстающей «как результат антагонистического противостояния» полярностей (С. Ильев); на любовь писателя к «симметричным» схемам (И. Корецкая); на игру Мережковского и Гиппиус с «эзотерическим значением чисел» 2 и 3, с принципами «два в одном» и «три в одном» (О. Матич) [Колобаева, Ильев, Матич, Корецкая 1999: 13, 56, 111-112, 143].

Во-вторых, важный материал, с точки зрения выбранного нами ракурса исследования, содержат работы, посвященные литературно-критическому творчеству Д. Мережковского. Их авторы (Ю. Айхенвальд, С. Поварцов, В. Келдыш, И. Усок и др.) говорят 1) о концепции двойственности творчества

русских писателей – Лермонтова, Достоевского, Толстого и др., развиваемой Мережковским; и 2) о «двойственности» мышления и методологии самого Мережковского как «субъективного критика», который «в диалектическом контрапункте» стремится осознать фигуры русских классиков [Поварцов 1991: 341]. Так, например, И. Усок пишет о том, что Лермонтов Мережковского – «существо *амбивалентное*, несущее в себе начала множащейся *двойственности*» <...> В «его» Лермонтове встретились и противоборствуют *разнонаправленные начала*» [Усок 1999: 265]. В русле этой традиции вновь обнаруживаем ту известную посылку, что объектам своих литературоведческо-философских штудий Мережковский передает собственные внутренние противоречия и конфликты.

В-третьих, и это наиболее близкая нам тенденция, часть авторов рассматривает амбивалентность Мережковского и его созданий как имманентное свойство художественного мышления писателя. Из современников писателя об этом кратко и веско сказал прот. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии»: «Мышление Мережковского движется в антитезах, в острых противоречиях...» [Зеньковский 2001: 731]. Автор монографии о гностических традициях в русской литературе 1890–1930-х гг., С. Слободнюк, считает, что Д. С. Мережковский был одним из первых русских модернистов, который «проделал опыт сотворения художественного мира, где одновременно сосуществуют *антисистемы*, *антимир*, бесконечно отражающиеся друг в друге» [Слободнюк 1998: 97]. Построения концептуального характера находим также в работах М.-Л. Додеро Коста, М. Задражиловой, и И. Кондакова. Итальянский исследователь М.-Л. Додеро Коста, говоря о книге Мережковского «Данте», расценивает «*биполярность*», пронизывающую это произведение, как «проявление *особенностей мысли*» писателя: «тезис-антитезис» [Додеро Коста 1999: 86]. В своем анализе художественного пространства в исторических романах Д. Мережковского чешская исследовательница М. Задражилова исходит из представления об «*антиномической конструкции биполярного художественного мира*»

писателя. Вполне обоснованным является ее мнение о том, что «*принцип полярности* <...> predetermined тяготение к заостренным контрастам на всех уровнях текста, включая способ заполнения пространств, размещение пространственных доминант, взаимное существование предметов, и, одновременно, композиционный прием контрастной смены пейзажей, видов, крупных планов и мелких деталей». Романы Д. Мережковского отличает «ясное, рационально обдуманное размещение всех компонентов <...> в *два противоположных ряда* ...». «Принцип полярности», справедливо заключает М. Задражилова, «имеет неоспоримое право на существование, свой радиус действия, свою логику, неподвластную чужим эстетическим нормам. Это – логика мечты писателя и мыслителя вплотную приблизиться к той точке, где надломленный, надвое разорванный мир приобретает чаемое единство» [Задражилова 1999: 22, 27]. И.В. Кондаков предлагает продуманную и наиболее импонирующую нам концепцию творческого мышления Д. С. Мережковского. Основными его особенностями И. Кондаков называет «пограничность» и «амбивалентность» – «черты, поневоле ставившие его несколько особняком в культурно-историческом развитии России рубежа веков». Свой тезис критик доказывает анализом взаимопроникающих и противоположных друг другу устремлений Мережковского: его *рационалистичности* как художника и *артистичности* как мыслителя; «западнических» пристрастий и тяготения к славянофильским концепциям; «светского» характера его религиозно-мистических исканий. Для Мережковского, стремящегося «к *синтезу противоположных тенденций* в русской культуре (курсив И. В. Кондакова – А. М.), было вообще характерно «*дихотомическое мышление*», – делает вывод исследователь. «На протяжении всего своего творчества – и художественного и философского – он настойчиво стремился преодолеть извечную русскую дихотомию сознания и бытия, постоянно воспроизводящуюся «расколотовость» души и тела, культуры и социума, дневного и ночного» [Кондаков 1999, 151-155]. «Все у Мережковского *на границе* <...>, – замечает другой исследователь, М. Ермолаев, – но уж *слишком* на границе, там, где настолько переплетаются

система и страсть, религия и политика, личное и общественное, что порой даже трудно определить жанр. Романы у него – «историсофские», исследовательские штудии – субъективные, биографии – творческие, публицистика – религиозная» [Ермолаев 1995: 651] (курсив М. Ермолаева – А. М.).

Естественно предположить, что для описания подобного художественного мышления и порожденной им картины мира целесообразнее всего использовать пары противопоставленных друг другу понятий – **бинарные смыслоразличительные признаки**. Мы выделили три таких бинарных признака: 1) диалектичность/метафизичность; 2) историзм/мифологизм; 3) рационализм/интуитивизм. Не все они имеют прямой выход на поэтику (чаще всего этот выход опосредованный); охватывают они отдельные стороны содержания и формы художественных произведений, некоторые же аспекты мировидения Мережковского реализуются только в проблематике; и, наконец, для разных произведений степень актуальности их различна.

Источники

Мережковский, Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники / Д. Мережковский. – М.: Республика, 1995. – (Прошлое и настоящее)

Мережковский, Д. С. Акрополь: Избр. лит.-критич. статьи / Д. С. Мережковский. – М.: Кн. палата, 1991. – (Из архива печати).

Мережковский, Д. С. Полное собр. соч.: В 17 т. / Д. С. Мережковский. – СПб.; М.: Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1911-1913.

С. Л. Андреева

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В АНТИУТОПИИ ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА «МЫ»

Идеи летают в воздухе, но непременно по законам; идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым; идеи заразительны.

Ф. Достоевский

Текст как форма, фиксирующая социально-гуманитарное познание человека, органически связан с позицией автора в обществе, его мировоззрением и господствующими учениями, с национальной и групповой

идеологией, а также с универсалиями культуры в целом. Когнитивная практика гуманитарных наук дает возможность не только изучить формы анализа ценностных компонентов, но одновременно увидеть, как текст независимо от содержания предстает пусть косвенным, но объективным "свидетелем", выразителем менталитета эпохи, реального положения самого человека. Исследование концептосферы отдельного текста или некоего текстового пространства, нам представляется, не может обойтись без анализа идей, доминировавших в период создания текста, а также идей предшествующих и, возможно, последующих.

Гуманитарные науки реализуют две возможности при обращении к тексту как особой реальности. При первой объектом познания становится представленный через текст мир вне и внутри нас (духовный и материальный, природный и социальный), хотя текст является чем-то опосредующим, но, постигая текст, мы постигаем мир в той мере, в какой он отражает мир (по М. М. Бахтину). При реализации второй возможности объектом познания становится сам текст непосредственно, его языковая природа, структура и функции, средства выражения и т. д. В первом случае реализуется **эпистемологический** подход, во втором речь идет о значении, смысле, множестве интерпретаций, о различных формах текстового анализа, т.е. здесь реализуется **семиотический** подход.

Для эпистемологического исследования важны такие принципы работы с текстом, как целостность и историзм. С точки зрения Л. А. Микешиной, эти принципы имеют глубинный смысл: «Целостный подход дает возможность предположить, а затем выявить и учесть имплицитные компоненты текста, среди которых важнейшие философско-мировоззренческие предпосылки и основания, а также неявные требования и регулятивы, порождаемые коммуникативной (диалоговой) природой текста. Этот уровень предполагает осознание еще более важной целостности – включенности текста в социально-исторические условия, культуру общества в целом. Принцип историзма не просто предпосылается, но обретает методологические,

эвристические функции в исследовании и объяснении, поскольку особенность поэтики произведения как "системы всего мировоззрения и мироповедения" позволяет тексту соотноситься с социальными и политическими реалиями истории, причем непосредственно через человека, его "самоощущение внутри истории"» [Микешина 2006: 52].

Текст не только носитель информации, но и явление культуры, ее гуманистических параметров, существующих, как правило, в неявных формах и выступающих предпосылками разнообразных реконструкций и интерпретаций. С точки зрения исследователя, принадлежащего к другой культуре, интертекстуальность является совершенно уникальным источником гуманитарного знания.

Следует отметить, что есть эпохи, обладающие особым статусом в истории цивилизации, а соответственно, и тексты, созданные в это время, часто становятся отражением не только современного им менталитета, но и менталитета грядущего. Есть тексты, которые оказываются пророчествами, не нашедшими в отечестве своем должного признания. Ни у кого не вызывает сомнения, что конец XIX и начало XX в. в истории европейской цивилизации – именно такой этап, не только потому, что характеризуется сильнейшим социальным и политическим кризисом, но и потому, что в умах объективно, количественно и качественно, назрела необходимость глобальной переоценки морально-этических ценностей. Это был своего рода рубеж сознания, обусловленный стремительным развитием науки, искусства, философии и сам в свою очередь обусловивший известные социальные переустройства. Безусловно, такое наступление на старый порядок жизни было спровоцировано социальным недовольством, явно созревшим в Европе к середине XIX в., а начавшимся еще в XVIII в. Коренным изменениям в сознании людей способствовали многие научные открытия в антропологии, биологии, физике, психиатрии и т. д., что привело если не к смене научной картины мира, то к значительной ее корректировке. В 10-20-е гг. XX в. получили самое широкое хождение

«культуркритицизм» и «культурпессимизм», противопоставление «жизни» и «культуры» стало общим местом европейской философии. Это был период мощной переоценки ценностей, когда в недрах нигилизма, по выражению В. И. Мильдона, появился фундамент нового **исторического** (в противоположность **утопическому**) типа сознания [Мильдон 2006].

Исследование национальной концептосферы через анализ текстов данной эпохи позволит, с нашей точки зрения, увидеть рождение нового сознания в недрах утопии. Безусловно, относительно полную картину можно получить, проанализировав максимально возможное количество текстов. Тем не менее, есть отдельные произведения **«концентрированно» отражающие культурный диалог разных эпох** и имеющие в связи с этим особое значение для когнитивных исследований. Примером такого произведения является, по нашему убеждению, роман Е. Замятина «Мы». Благодаря пророческому содержанию, критике философско-мировоззренческих оснований утопизма, этот текст стал знаковым, сам стал символом смены типа сознания.

Какие идеи «летали в воздухе»? Кто из мыслителей того времени или предшествующего ему попал в сферу пристального внимания Е. Замятина? Чьи имена стали знаковыми в вопросе осмысления проблемы счастья человека в цивилизации (культуре)². Получить ответы на эти вопросы позволит анализ культурно-исторического контекста романа «Мы».

Исследователи творчества Замятина не раз описывали межтекстовые связи, устанавливаемые в замятинских произведениях, отмечая, например, влияние идей Ф. Достоевского, и здесь можно упомянуть целый ряд ученых (Н. Арсеньева, И. Груздева, Т. Давыдова, А. Семенова, В. Сорокина, О. Ю. Юрьева и др.). Но Ф. Достоевский не единственный, с чьим именем связано интертекстуальное поле романа. А. Л. Семенова замечает, что в «Мы» Е. Замятин представляет утопизм «через призму идей Ницше», что «роман русского писателя – это художественная иллюстрация к мысли Ницше»

² Вслед за З. Фрейдом мы будем использовать термины «цивилизация» и «культура» как синонимы.

[Семенова 1999: 176]. Безусловно, влияние Ницше заметно, но нам представляется, что им тоже не ограничивается «призма», сквозь которую писатель оценивает путь всей цивилизации и путь отдельного человека в европейской цивилизации.

Межтекстовые связи в романе поражают количеством и глубиной обращений писателя к прецедентным текстам. В списке источников для размышления – с разным аксиологическим шлейфом – находятся, например, Библия, трактат Платона «Государство», «Утопия» Т. Мора, философские труды И. Канта, Г. Гегеля, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Ницше, В. Соловьева, К. Маркса, З. Фрейда, а также художественное наследие В. Шекспира, А. Пушкина, Ф. Достоевского, В. Маяковского и др. Прецедентные тексты, так или иначе, в явной и скрытой форме, проявляющиеся в «Мы», вводят роман в вертикальный контекст мировой культуры. Разные идеи, попадая в зону рассмотрения, рассматриваются Замятиным с помощью *reductio ad finem* (доведение до предела; ср. лат. *reductio ad absurdum* – доведение до нелепости), которое используется как способ доказательства истинности или ложности идеи, своеобразного индикатора «человеческого» в ней, Замятин проверяет все утопические схемы и «новые», и «старые» – все, которые декларировались современным ему советским государством, до него и которые еще только «летали в воздухе». Прием тем более оправдан, учитывая национальную особенность русских доводить все до крайности.

Замятину удалось показать все типичные узлы «кристаллической решетки» утопического сознания. Он сознательно и, возможно, бессознательно отразил в романе «Мы» разные по времени создания идеи переустройства общества и человека. Созданная им сложная модель взаимодействия прецедентных идей, образов, тем и сюжетов стала, с нашей точки зрения, отображением парадигмы утопического сознания. Писатель совершенно четко обозначил архетип утопии – стремление к «золотому веку», который на разных исторических этапах, имея одну природу, воплощался в разных моделях социального переустройства, приводя к примерно

одинаковому – тупиковому и кровавому – результату: замятинский герой подчеркивает, что на пути к всеобщему благу граждане Единого Государства пришли не просто к «нулю», а «минус нулю»: *«Человеческая история идет вверх кругами – как аэро. Круги разные – золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля – вперед: 10, 20, 200, 360 градусов – опять ноль. Да, мы вернулись к нулю³ – да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: ноль – совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо – мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса ноль – у нас минус ноль* [«Мы»: запись 20-ая, 384].

Текст романа, безусловно, воплотил и собственные размышления писателя о пути человеческой цивилизации и месте человека в ней. Как и другие творческие личности этой эпохи, Замятин обратился к истокам европейской цивилизации в поисках нового пути, подверг анализу историю человеческой мысли, отраженную в текстах разных исторических периодов, начиная с древних мифов. Количество и качество интертекстуальных связей, обнаруженных в романе «Мы», свидетельствует не просто о случайных ассоциативных связях, возникших по какому-либо поводу, а о законченном исследовании генеалогии утопизма. Интертекстуальность в данном случае отражает механизм взаимодействия «своих» и «чужих» идей, сложный процесс формирования содержания ключевых концептов и установления связей между ними в концептосфере романа. Все прецедентные источники по-разному вербализуются в романе, что отражает отчасти разные их роли в эволюции утопического сознания.

В этом плане было бы интересно обозначить некоторые узловые моменты замятинской критики утопии и представить их в виде переключки «своих» и «чужих» идей, «витавших в воздухе» и обозначивших переход к новому типу сознания. Очевидно, что каждая эпоха представлена именами, которые превращаются для нее в своеобразные знаки-символы, архетипы доминирующего мировоззрения или противоборствующих мировоззрений, как

³ Здесь и далее полужирный курсив в цитатах наш. – А. С.

например, Ф. Достоевский, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, К. Маркс, З. Фрейд, для русской и западноевропейской эстетической мысли в XIX и XX вв.

Идеи, питавшие утопическое сознание, сформировали концептуальную парадигму, посредством которой традиционно оценивались удачи и неудачи развития европейской цивилизации. Сама парадигма долгое время не вызывала сомнения, внимание человечества было приковано к средствам, к поиску путей достижения идеала – совершенного государства, гарантирующего счастье для всех. С середины, и особенно в последней трети XIX в. появились одинокие голоса, не только заявившие о конфликте человека и культуры, но еретически подвергшие сомнению сами основы этой парадигмы, и здесь, прежде всего, нужно назвать Ф. Достоевского и Ф. Ницше.

Следует заметить, что **влияние Ф. Достоевского на творчество Е. Замятина** неоднократно привлекало внимание отечественных филологов. Мы принимаем эту интертекстуальную линию **как доминирующую** не только для творчества Замятина, но и для значительной части русской литературы XX в. Текст замятинской антиутопии имеет ряд содержательных соответствий с произведениями Платона, Ф. Ницше и З. Фрейда. Нас интересует только эта зона интертекстуальности, которую, за исключением Платона, можно в определенных случаях считать вторичной по отношению к наследию Достоевского. Конечно, представляет совершенно самостоятельную проблему исследование параллелей «Достоевский – Ницше», «Достоевский – Фрейд», «Достоевский – Замятин», «Замятин – Ницше», «Замятин – Фрейд», но в тексте романа многие «чужие» по отношению к Замятину образы и идеи объединяются и превращаются в **общие места**, создают новую, оригинальную полифонию в культурном контексте XX в.

Только на первый взгляд, ряд имен, выбранных для рассмотрения, – Платон, Ф. Ницше, Е. Замятин и З. Фрейд – может показаться странным. Но при внимательном взгляде выявленные философско-стилистические

совпадения представляются нам закономерными и много объясняющими, причем не только в творчестве Е. Замятина. Важно отметить не только роль этих личностей в формировании мировоззрения XX в., но и совпадение их интересов в выборе проблемы – проблемы **конфликта** конкретного, а не теоретического **человека и культуры**; их интересовали главные культурные константы, выстраивающие ментальность европейца и общества в целом. Сходство обнаруживается и в том, что впервые за многие столетия при решении этой проблемы мыслители обратились к самим **глубинам природы человека**, обнаруживающим его амбивалентность, сложность и противоречивость его пребывания на земле. Конечно, их идеи были настолько новы, смелы и несвоевременны, что казались еретическими, подрывающими общественные устои, и это во многом определило трагизм судьбы каждого из них. Можно много говорить о «еретиках» Ф. Достоевском, Ф. Ницше, Е. Замятине и З. Фрейде, которые каждый со своей стороны «раскачивали» энтропию утопического мировоззрения, являя собой энергию новой эпохи.

Мы попытались определить главные «узлы» «кристаллической решетки» утопического типа сознания, зафиксированные в романе «Мы», и тем самым, обозначить в интертекстуальном контексте романа признаки другого типа сознания – исторического.

Антиутопия Замятина как жанр является критикой утопий, и поэтому она содержит в себе несомненные аллюзии, отсылающие нас к известным идеям утопистов-теоретиков и практиков, и, прежде всего, к трактату древнегреческого философа Платона «Государство»⁴. Напомним, что, с точки зрения А. Л. Семеновой, Замятин оценивал это произведение сквозь призму идей Ф. Ницше [Семенова 1999: 176], а для последнего Сократ (Платон)⁵ был «воплощением александрийской культуры», повинной в трансляции в европейскую цивилизацию ложного идеала, который завел ее в тупик

⁴ Существуют доказательства того, что «Государство» Платона активно обсуждалось в литературных кружках и Е. Замятин участвовал в его обсуждении. [Семенова А. Л. 1999: 175].

⁵ Платон ведет свои диалоги от имени Сократа.

разочарования: «Весь современный мир бьется в сетях александрийской культуры и признает за идеал вооруженного темными силами познания, работающего на службе у науки **теоретического человека**, первообразом и родоначальником которого является Сократ. Все наши средства воспитания имеют своей основной целью этот идеал; всякий другой род существования принужден сторонкой пробиваться, как дозволенная, но не имевшаяся в виду форма существования» [Ницше 3 т. 1:126-127].

В чем же обвиняет Ницше сократическую культуру?

«...Она **ставит на место метафизического утешения земную гармонию**, даже своего собственного *dues ex machina*, а именно бога машин и плавильных тиглей, т. е. познанные и обращенные на служение высшему эгоизму силы природных духов; она **верит в возможность исправить мир при помощи знания, верит в жизнь, руководимую наукой**, и действительно в состоянии **замкнуть отдельного человека в наитеснейший круг разрешимых задач**. [Там же: 126].

Поиск ключевых констант, формирующих мировоззрение человека, а следовательно, определяющих структуру и содержание индивидуальной концептосферы, начнем с анализа вопроса, от ответа на который зависел выбор стратегии развития европейской цивилизации. Это **вопрос о смысле жизни человека**, в частности, о тех этических ценностях, которые определяют для личности картину мира. Фрейд, как известно, отказывался говорить о смысле человеческой жизни⁶, но в статье «Недовольство в культуре» (1930 г.) он пишет о типичном для людей понимании: «...Что сами люди полагают целью и смыслом жизни, если судить по их поведению, чего они требуют от жизни, чего хотят в ней достичь? Отвечая на этот вопрос трудно ошибиться: **они стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать счастливыми**» [Фрейд 1989: 92].

⁶ В одном из писем Фрейд писал: «В тот момент, когда человек спрашивает о смысле и ценности жизни, он является больным» (Цит. по Руткевич 1989: 89).

Вспомним, что именно **задача счастья** была приоритетной при создании Единого Государства, и это декларируется Государственной Газетой уже на первой странице романа: «...наш долг заставить их быть счастливыми» [«Мы»: запись 1-ая, 307].

Ницше также считал эту проблему главной для человека; в книге «Человеческое, слишком человеческое» (1878 г.) он пишет: «Без удовольствия нет жизни; борьба за удовольствие есть борьба за жизнь» [Ницше 4, т. 1: 296].

Достижение счастья, по Фрейд, преследует собой **две цели**: «...с одной стороны, **отсутствие боли и неудовольствия** <...> с другой – переживание сильного чувства **удовольствия**. В узком смысле слова под «счастьем» понимается только последнее» [Фрейд 1989: 92].

Признавая за счастьем (удовольствием) первенство в иерархии ценностей в жизни отдельного человека, Ницше все же считал **проблему человеческого счастья тупиковой для философии** и науки в целом, ложной по самой своей сути, он называл ее «возмутителем спокойствия в науке»: «Философия отделилась от науки, когда она поставила вопрос: каково то познание мира и жизни, при котором человек живет счастливее всего? Это совершилось в сократических школах: **точка зрения счастья задержала кровообращение научного исследования** – и задерживает его еще и поныне» [Ницше 4, т. 1: 243].

С нашей точки зрения, Ницше именно здесь увидел «системную ошибку», в частности в том, что всеобщие силы познания были брошены на поиск путей достижения счастья. Философия словно сочла себя обязанной путем научного знания выработать для человечества «схему пути к всеобщему счастью». И знаковым моментом в этом смысле стал трактат Платона «Государство», где общественная задача философов и состояла как раз в выработке этого пути и организации соответствующим образом государства. Причем, счастье не отдельной личности было безусловной ценностью, а только всего народа или даже всего человечества в целом. Именно здесь мифологическое сознание встало на прочные утопические рельсы, что и определило во многом стратегию развития европейской цивилизации.

В. И. Мильдон в качестве **первого признака утопического сознания** называет **веру в возможность всеобщего счастья**, Царства Небесного, делая такой вывод, он замечает: «В утопии перемены носят внешний характер: изменяется словарь, способы выражения. Ямбул не походит на Ф. Бэкона, Кампанелла на Ш. Фурье, но *содержание* всегда одно, как говорилось выше: коллективное благо, счастливое человечество, избавление от зла. В этом отношении Ямбул и Ш. Фурье пишут об одном и том же, хотя их разделяет почти две тысячи лет» [Мильдон: 21].

Идея достижения всеобщего счастья зафиксирована во множестве мифов о первой стадии творения жизни и человека («золотой век» античной мифологии, Адам и Ева до грехопадения и т.д.). Подобного же рода состояние часто выступает как конечная цель развития человечества во многих утопиях: оно мыслится как полное снятие всех противоречий, достижение абсолютной гармонии мира. Архетип «золотого века» является, по мнению современных культурологов, одним из тех структурных элементов человеческой психики, которые скрыты в коллективном бессознательном (по Юнгу) и которые структурируют понимание мира и себя в этом мире.

Замятин тоже увидел в мифе истоки утопического сознания, поэтому одним из ярких узлов интертекстуальной цепи является «новое» прочтение мифа о Рае, с помощью которого писатель объясняет, откуда любое утопическое государство берет идеологические оправдания несвободы своих граждан и насилия над ними: *«Понимаете... древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю – был предоставлен выбор: или счастье без свободы – или свобода без счастья, третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу – и что же: понятно – потом века тосковали об оковах. Об оковах – понимаете, – вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше – дальше слушайте! Древний Бог и мы – рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть Дьявола – это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он – змий ехидный. А мы сапожищем на головку*

ему – ттрах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все – очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители – все это добро, все это – величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу – то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову – этика, неэтика...» [«Мы»: запись 11-ая, 347-348].

Но что мешает человеку обрести Царство Небесное на земле? Фрейд обращает внимание на три препятствия на пути человека к счастью: «С трех сторон нам угрожают страдания: **со стороны нашего собственного тела**, приговоренного к упадку и разложению, предупредительными сигналами которого являются боль и страх <...> **Со стороны внешнего мира**, который может яростно обрушить на нас свои огромные, неумолимые и разрушительные силы. И, наконец, **со стороны наших отношений с другими людьми**» [Фрейд 1989: 93].

Первый и второй вид страданий можно объединить, назвав их страданиями со стороны Природы, и противопоставить их страданиям человека в цивилизации, т. е. от тех отношений, в которые человек хочет или вынужден вступать, живя совместно. Последним видом страданий в большей мере и занимался психоанализ.

Стремление человека к счастью, а точнее к отсутствию несчастий, прежде всего, поставило перед ним цель – **покорить мир, природу**, поскольку от нее зависело физическая безопасность человека. Она была первым явным источником страхов. Ницше пишет по этому поводу: «**Природа** – непостижимая ужасная загадочная природа – должна представляться ему (первобытному дикарю – А. С.) **царством свободы, произвола, высшего могущества, как бы сверхчеловеческой ступенью бытия, или Богом**. Каждый человек тех эпох и условий жизни чувствует, что от **произвола природы** зависит его существование, его счастье, счастье его семьи, государства, успех всех его предприятий: некоторые процессы природы

должны для этого вовремя наступить, другие вовремя отсутствовать. **Как можно влиять на этих ужасных незнакомцев, как можно укротить царство свободы?»** [Ницше 4, т. 1: 303].

Этой естественной враждебности человека природе противопоставлено два чисто человеческих способа выживания – **цивилизация и культура**. Цивилизация обеспечивает человеку **физический комфорт**, культура – **приспособление человека** к враждебному миру и, как результат, обретение душевного, психологического комфорта. Культура приобретает свое значение там, где бессильна цивилизация. Самый лучший путь защиты от угроз внешнего мира человек традиционно видит, с точки зрения Фрейда, в том, чтобы: «...в качестве члена человеческого общества с помощью науки и техники перейти в **наступление на природу и подчинить ее человеческой воле**. Тогда человек действует со всеми и **ради счастья всех**» [Фрейд 1989: 93].

Возникает вопрос, почему человек стремится именно ко всеобщему счастью, почему ему мало быть счастливым одному. У Ницше есть предположение: «Чувство удовольствия на почве человеческих отношений делает человека в общем лучше; **общая радость, совместно пережитое удовольствие** повышают последнее, **дают отдельному человеку прочность, делают его добродушнее, отнимают недоверие и зависть**, ибо человек чувствует себя хорошо и видит, что и другие так же себя чувствуют. Однородные проявления удовольствия **возбуждают фантазию сочувствия, сознание одинаковости людей**; тот же эффект производят общие страдания, одни и те же непогоды, опасности, враги. На этом создается древнейший союз между людьми; смысл его сводится к общему устранению или противодействию грозящей опасности в интересах каждого отдельного человека. И таким образом, **социальный инстинкт вырастает из удовольствии**» [Ницше 4, т. 1: 291].

Получается, что счастье человека проявляется и в социальном, и в индивидуальном, но истоком его является все же переживание удовольствия – индивидуального по сути переживания. Фрейд пишет, что объединение людей

для противостояния силам Природы обусловило когда-то **необходимость объединения, создания общественных институтов** [Фрейд 1998: 874].

В первой трети XX в. уровень защиты человечества от природы стал таким, что, казалось, природа как «высшее могущество», как «сверхчеловеческая ступень бытия», как «Бог» (см. [Ницше 4, т. 1: 303]) была уже побеждена человеком. Фрейд писал, что «человек стал, так сказать, *богом на протезах*», но он не стал от этого счастливее [Фрейд 1989: 99].

В начале XX в. это стало очевидным, но **связь технического прогресса с идеей всеобщего счастья** была поддержана идеей социализма, считавшегося тогда самой прогрессивной формой человеческого общежития и провозгласившего, например, в Советской России «индустриализацию всей страны». Утопичность данного подхода к решению задачи человеческого счастья не была явной для всех, как не было явным и другое – **абсолютизация технического способа регулирования всех сторон жизни человека опасна**. В романе «Мы» сила этого предостережения настолько велика, что кажется, что роман просто «пропитан» мыслью об опасности идеализации технического прогресса как гаранта счастливой жизни человека. Тем более это кажется странным, учитывая, что автор этого романа Е. Замятин сам был инженером, занимался строительством первых ледоколов, преподавал технические науки. Негативное отношение к техногенному счастью есть у Ницше. К Ницше в интерпретации Шпенглера восходят положения о «сатанизме машины», о грядущей гибели западной «культуры», раздавленной «фаустовской» технической цивилизацией [Крахоткин²].

Е. Замятин критикует социальный миф, по которому человеку для счастья достаточно только одной его составляющей – отсутствия боли и неудовольствия, которая принимается в качестве главной и абсолютной ценности в государстве: *«Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно сказал умную вещь: «Любовь и голод⁷ владеют миром». Ergo: чтобы овладеть*

⁷ «Любовь и мудрость правят миром» - это заключительная строка стихотворения Ф. Шиллера «Мировая мудрость» (1795). Восходит к античному изречению – напр., у Гесиода: «Голод и любовь правят миром» [Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г.: .256-257]. Это

миром – человек должен овладеть владыками мира <...> Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира – против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический "Lex sexualis": "всякий из нумеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой номер". Ну, дальше там уж техника» [«Мы»: запись 5-ая, 320-321].

Вспомнив достижения Государственной Науки – нефтяная пицца, прозрачные дома, аэро, Государственная Машина, детоводство, Материнская и Отцовская Нормы, Часовая Скрижаль и т. п., понимаешь, что государство совершенствуется от эпохи к эпохе средства защиты далеко не только от Природы, но и от самого человека, может быть, даже в первую очередь от человека. Не случайно, наибольшего успеха люди будущего в замятинском Едином Государстве добились в совершенствовании гильотины, не оставляющей никакого следа от человека. Известно: нет человека – нет проблемы. Ничто не должно мешать государству вести человека к счастью, даже сам человек: *«Человечество беспощадно употребляет каждую личность как материал для топки своих великих машин; но к чему же тогда эти машины, когда все личности (т. е. все человечество) годны лишь для того, чтобы поддерживать их? Машины, которые суть цель для самих себя, – в этом ли состоит umana commedia?»* [Ницше 4, т. 1: 469].

Достижения, которыми так гордится номер Д-503, – это не что иное, как последовательно реализованные мечты утопистов о государственном устройстве во имя всеобщего счастья. При ближайшем рассмотрении все средства и схемы ограничения свободы историчны, они в разное время были предложены и реализованы утопистами.

Идея всеобщего счастья, как мы уже упоминали, связана с нашим бессознательным, поэтому учитывается при выборе стратегии развития

же изречение использует Фрейд в «По ту сторону удовольствия»(1920): «Психоанализ, не успевший выдвинуть какую-либо теорию влечений, примкнул сначала к популярному различению влечений, для которого прообразом были слова о "голоде и любви"[Фрейд²: 755].

государственного устройства, начиная с античности. В истории философской мысли опыт сознательного моделирования общества на идее **всеобщего блага**, в которую трансформируется стремление к счастью, связывается, прежде всего, с трактатом Платона «Государство», именно поэтому замятинско-платоновская интертекстуальная линия по количеству обращений является самой мощной и самой явной. Утопии со времен Платона имеют общую тематику, в частности, в них обычно авторы рассуждают об идее «блага», о природе человека, об общественной связи между людьми, о происхождении государства и разрядов его граждан, наконец, о том, каким должно быть образцовое государство, кем и каким образом оно должно управляться, какой должна быть наиболее пригодная для его граждан система воспитания и обучения, каким должно быть разрешаемое его властями искусство и т. д.

В совершенном государстве Платона три разряда граждан: во-первых, **правители-философы, стражи-воины и работники производительного труда**. В романе Замятина два последних класса повторяют платоновскую модель – **хранители и нумера**, но класс правителей заменен образом одного человека – **Благодетеля**. Замятинский образ, с нашей точки зрения, является собирательным, поскольку в нем соединились собственные идеи Замятина и «чужие», воспринятые и осмысленные писателем.

Во-первых, само имя соотносится с идеей **блага**, активно развиваемой в трактате Платона: «...**Идея блага – вот это самое важное знание**; через нее становятся пригодными и полезными справедливость и все остальное» [Платон: 505 а; 508 е].

Сам Платон в диалоге о благе замечает, что в понимании людьми блага «очень много спорного», а следовательно, возможны разные толкования этого главного мерила вещей, людей, поступков: «...по мнению большинства, **благо состоит в удовольствии**, <...> Те, кто определяет благо как удовольствие, меньше ли исполнены заблуждений? Разве им не приходится признать, что **бывают дурные удовольствия?** – И даже очень дурные. – Выходит, думаю я, что **они признают, будто благо и зло – одно и то же**» [Платон: 505 b,c; 506 a-e].

Ницше критикует размытость понятия «добро, благо»⁸ у Платона, да и в этике вообще, признавая его несостоятельным с точки зрения познания. «Колебания» в понимании того, что – благо, а что нет, не позволяет Ницше принять мораль в качестве мерила человеческих поступков: «...**Человек хочет получить удовольствие или избежать страдания; в каком-либо смысле дело всегда идет о самосохранении.** Сократ и Платон правы: что бы человек ни делал, он всегда поступает хорошо, т. е. делает то, что кажется ему хорошим (полезным), смотря по развитию его интеллекта, по степени его разумности» [Ницше 4, т. 1: 293].

Ницше так же, как и Фрейд объясняет происхождение злых поступков людей их стремлением к самосохранению и удовольствию, т. е. стремлением к собственному личному счастью или счастьем своего клана. Рассматривая нечеткость границ Добра и Зла, Ницше замечает по поводу относительности этих понятий следующее: «**Единственное стремление личности к самонаслаждению** (включая сюда страх его утраты<...> **удовлетворяется и в действиях тщеславия, мести, наслаждения, пользы, злобы, хитрости, и в действиях самопожертвования, сострадания, познания**» [Ницше 4, т. 1: 297].

Достоевский писал о том, что далеко не всегда человек действует, руководствуясь разумом ради собственной пользы, выгоды: «...Человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе **не так, как повелевали ему разум и выгода**; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно...» [Достоевский: 469].

Мораль, отвергнутая Ницше, не отвергается Замятиным, более того, человек должен «судить, рядить, ломать голову – этика, неэтика», чтобы сохранить человеческое в себе. Прецедентная линия, реализующая тему сложного морального выбора человека в обществе, связана в романе «Мы» с именами Шекспира, Канта и Достоевского.

«К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских – или как их там – прошли, – нарочно громко сказал я...» [«Мы»:

⁸ Сократ в своих диалогах признает это.

запись 8-ая, 335]; *«У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли - все их **Канты** вместе (потому, что ни один из **Кантов** не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении)»* [«Мы»: запись 3-ая, 315].

Но вернемся к вопросу, почему писатель в антиутопии заменил всех правителей-философов только одним человеком; ведь известно, что Платон наихудшей формой отклонения от совершенного государственного строя считал тиранию – власть **одного** над всеми.

Замятин увидел, что при таком жестком, тотальном регулировании человеческой жизни, какое обнаруживается в государстве Платона, не может быть разных или даже слегка отличных точек зрения на содержание понятия блага, а значит, философов-правителей не может быть больше одного. Тем более что все исторические примеры преобразования государств во имя всеобщего блага заканчивались уничтожением инакомыслящих. Единое содержание понятия блага определяет единое содержание понятия морали, а значит, должна быть единая система норм, принципов и ценностей, которыми будут руководствоваться люди в реальной жизни и на которые будет опираться государство, реализуя свои функции. Такое государство свободным быть не может. Во имя всеобщего блага наисовершеннейшее государство накладывает на личность множество запретов, а в обществе ограничений, как заметил З. Фрейд: **«безгранично счастливым может быть только один-единственный человек, а именно: тиран, диктатор, присвоивший себе все средства власти»** [Фрейд 1998¹: 873].

Образ Благодетеля, кроме всего прочего, связан с критикой Ницше, в частности, с его идеей «сверхчеловека», разрушившего в себе «тварь дрожащую» и осознавшего себя «творцом», решившего для себя дилемму – **мораль** или **свобода** – в пользу свободы: мораль, извне предписывающая человеку целую систему запретов и декретов, опирается только на презумпцию несвободы [Свасьян, т. 1: 25].

Замятину как нельзя более ясно, каких «гениев» произведет совершенный «инкубатор» Платона, кто будет находиться на государственном Олимпе. Вот несколько замятинских эскизов к почти античному портрету Благодетеля»: *«А наверху, на Кубе, возле Машины – неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки – выходят огромными, приковывают взор – заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки – ясно: они – каменные, и колени – еле выдерживают их вес...»* [«Мы»: запись 9-ая, 337]; *«...знамение нечеловеческой мощи Благодетеля»* [там же]; *«...десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг (после казни – С. А.) юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун – и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов»* (там же).

В. И. Мильдон, раскрывая главные черты утопического типа сознания, пишет: **«Абсолютное значение для утопического сознания имеет фигура/понятие/образ спасителя, мессии** – конкретное или вымышленное лицо или целый народ. Фигура такого спасителя непременно в любой мифологии, очень часто она принимает вид гиганта/великана/сверхчеловека» [Мильдон: 21]. У просветителей таким мессией является Законодатель (загадочный механик, некий социальный инженер), который занимается воспитанием нравов, гражданских добродетелей. А Руссо, не веря в просвещенного монарха-законодателя, сформулировал миссию правления народа-законодателя, который обладает неотчуждаемым, единым и неделимым суверенитетом.

Таким образом, в романе «Мы» утопическая идея **всеобщего блага** тесно **связана с мессианством** – другой чертой всякого утопизма. Мессианство в образе Благодетеля – это только одно его проявление, другое мы находим в

идее покорения чужих народов, что связано с компенсаторными механизмами, используемыми тоталитарными государствами, но об этом мы скажем ниже.

Казалось бы, добившись безопасного существования в природе, человек мог бы стать счастливым. Но оказалось, чтобы достичь безопасности, человек вынужден отказаться от некоторых желаний («первичных позывов»), которые, по Фрейдю, не совместимы с жизнью в культуре, так как их удовлетворение грозит безопасности этой культуры. Но здесь начинается другой конфликт, поскольку, как замечает Фрейд: «Каждая культура основывается на **принуждении** к работе и на отречении от **первичных позывов** и поэтому неизбежно вызывает **оппозицию тех, кто от этого страдает**» [Фрейд 1998¹: 868].

Получается, что человек является одновременно врагом Природы, поскольку от нее исходит угроза, но он является **и врагом культуры** (=цивилизации), которая требует от него определенных, иногда значительных жертв, включая его собственную жизнь. Сам факт обращения к внутреннему миру человека, его частным интересам, в вопросе разрешения вечного антагонизма между человеком и культурой, попытка найти именно в природе человека возможности примирения, а не в совершенствовании государственного управления, – это уже признак меняющегося сознания.

Противопоставление **дикого, первобытного свободного счастья** несвободе развитой цивилизации известно в философии. Она отразилась в романе «Мы» в противоборстве нумеров – граждан Единого Государства и дикарей, живущих за Зеленой Стеной «в диком состоянии свободы». Оказалось, что и в далеком будущем, о котором повествует роман, извечный конфликт не исчерпан. Сам факт существования в будущем диких людей, а также досадный атавизм, на который сетует Д-503, – «обезьяньи руки», становится символом «человеческого, слишком человеческого» в человеке. И это не просто дань эпохе, не только кивок в сторону теории Дарвина, но и отражение амбивалентности человека, соединение в нем морального и неморального. Ницше объясняет происхождение морали в выражении «Сверх-зверь» так: «Зверь в нас должен быть обманут; мораль есть вынужденная ложь, без которой

он растерзал бы нас. Без заблуждений, которые лежат в основе моральных допущений, человек остался бы зверем. Теперь же он признал себя чем-то высшим и поставил над собой строгие законы» [Ницше 4, т. 1: 268]. Но если Ницше в этом выражении больше имел в виду людей «в состоянии, предшествующем государству», то Фрейд замечает, что эти стремления повторяются и сегодня у вновь рождающихся детей. «Первичные позывы», о которых пишет Фрейд, называются Ницше «зверем», которого сам человек и должен победить, чтобы выжить, но не убить, а обмануть, превратиться в «сверх-зверя».

Идея *сверх-зверя* (по Ницше) или *сверх-Я* (по Фрейду) нашла отражение в романе «Мы», хотя по законам антижанра то, что у Фрейда *сверх-Я*, в романе называется замятинским героем просто «Я». Замятинский Д-503 к началу своих записей состоял только из *сверх-Я*, самостоятельное психоаналитическое самоисследование с помощью дневниковой исповеди вывело на поверхность почти убитое Я героя. Оно росло в нем вместе с душой, заполняя все пространство. Роман Замятина вообще содержит мощную интертекстуальную линию, связанную с критикой идеи Фрейда решить **проблему примирения человека с культурой** путем покорения Я другим душевным образованием *сверх-Я*.

Согласно психоаналитической культурологии Фрейда, прогресс культуры не делает человека “счастливее”, но в возрастающей мере “невротизирует” личность. Западноевропейская культура является высшей точкой насилия над природными влечениями, она неизбежно ведет к невротизации человечества, но культура как таковая покоится на запретах-табу, приносит в жертву естественные побуждения, энергия которых начинает служить социальным целям. Это мы находим и у Замятина. Главный герой романа «Мы» обнаруживает в себе амбивалентность: *«Я стал стеклянный. Я увидел – в себе, внутри. Было два меня. Один я – прежний, Д-503, номер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что*

тогда? И этот другой – вдруг выпрыгнул и заорал: – Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что вас – я вас __» [«Мы»: запись 10-ая, 344].

Отголоски логических схем, с помощью которых Фрейд приходит к выводу о существовании только двух влечений – Любви и Смерти, заменены в романе на математические вычисления, в результате которых Д-503 приходит к тому же выводу:

«И ясно, что вчерашнее нелепое "растворение во Вселенной", взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть - именно полнейшее растворение меня во Вселенной. Отсюда если через "Л" обозначим любовь, а через "С" смерть, то $L = f(S)$, то есть любовь и смерть... Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и "я не хочу" и "мне хочется"? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти» [«Мы»: запись 24-ая, 397].

Но осознание всего этого возможно, когда личность вдруг начинает получать **удовольствие от своей отдельности**, неповторимости, когда значимость его личности подтверждается социумом. Удовольствие, имеющее нарцисстическую природу, слава, в которую впервые окунулся Д-503 за Зеленой Стеной, способствует укреплению Я, осознанию самооценности героем: *«...Я чувствовал себя над всеми, я был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей»* [«Мы»: запись 27-ая, .411]. Удовольствие от славы, которое испытывает герой, он сравнивает с любовью.

Проецируя в текст своего романа идеи психоанализа, Замятин является при этом не столько последователем, сколько критиком, поскольку находит в нем отголоски утопии. Он использует все тот же прием *reductio ad finem* и вскрывает во фрейдовской теории новую опасность: **не следует идеализировать сверх-Я**, которое из дикаря с необузданными страстями, превращает человека в бездушную машину. Замятин моделирует общество, в котором сверх-Я человека поставлено на службу государству, но доведенный до максимума этот внутренний запрет, внутренняя несвобода оборачивается

тем, что человек добровольно **уничтожает** в себе всякую **индивидуальность**, становится «машиноравным», зомбируется: роман заканчивается добровольным или частично добровольным походом нумеров на операцию по удалению фантазии. В замятинской антиутопии цивилизация поглотила человека, лишив его всякой свободы. Возникает вопрос: где та мера внутренней и внешней несвободы, которая бы не противоречила человеческому счастью? Возможность неограниченного подавления свободы человека в процессе примирения с культурой робко оговаривается Фрейдом: «Очень возможно, что культуре предстоят еще стадии развития, при которых **удовлетворение желаний, вполне возможных сейчас, покажутся столь же неприемлемыми**, как в наше время канибализм» [Фрейд 1998¹: 868]. Зерна того, что кажется Фрейду только далеким будущим, Замятин видит в современной ему эпохе, и в этом состоит главное его предостережение.

Есть ли предел ограничений человеческих желаний во имя всеобщей пользы, всеобщего блага, всеобщего счастья? Замятин считает, что предела нет, что *сверх-Я* человека можно использовать как инструмент подчинения ради всеобщего счастья.

Стремясь стать моральным и социальным, подчиняясь государственному прессу, человек легко может перейти грань между *Я* и *сверх-Я*, воспринимать со временем остатки проявления индивидуальности как болезнь, подвергнуть себя «лоботомии», «экстирпировать фантазию»⁹, избавившись от «души». Этим объясняется и страх главного героя после того, как доктор обнаружил у него опасное заболевание – *душу*, и состояние восторга, эйфории, когда он прочел в Государственной Газете о предстоящем массовом¹⁰ удалении фантазии: «– *И-30... Да, да: 330, – и потом, захлебываясь, крикнул :-- Вы дома, да? Вы читали – вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно! ... Я чувствовал: улыбаюсь – и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку – как фонарь, высоко над головой...*» [«Мы»: запись 31-ая, 427].

⁹ [«Мы»: запись 16-ая, .366.

¹⁰ Массовость, обязательность снимала с Д-503 ответственность за нравственный выбор.

В. И. Мильдон, определяя черты утопизма, указывает на главную его черту – **«отсутствие интереса к индивидуальному бытию»**. В связи с этим ясно, почему, например, утопия Платона не занята индивидуальной судьбой, ее предмет – **коллективное спасение** Субъектом свободы и высшего совершенства оказывается у Платона не отдельная личность и даже не класс, а только все общество, все государство в целом. Утопия Платона не теория **индивидуальной свободы** граждан, а теория **тотальной** свободы — свободы государства в его совокупности, целостности, неделимости. По верному наблюдению Ф. Ю. Шталя, Платон «приносит в жертву своему государству человека, его счастье, его свободу и даже его моральное совершенство <...> это государство существует ради самого себя, ради своего внешнего великолепия: что касается гражданина, то его назначение только в том, чтобы способствовать красоте этого государства в роли служебного члена» (цит. по [Асмус: 555]).

Однако как быть с привлекательными лозунгами просветителей «Свобода и Равенство», разве это не забота об отдельной личности? Разве не этот лозунг столетиями владел умами революционеров?

Замятин и Ницше заметили, что утопии рассматривают свободу и равенство не для конкретного, а для теоретического человека, поэтому в лозунге «Свобода и Равенство» на первое место выходит не «свобода», а «равенство».

Свобода и равенство были для просветителей воплощением **справедливости** для всех. Им была присуща горячая иллюзорная вера в то, что на основе разумных законов, отвечающих разумной природе человека, будут разрешены все социальные и политические конфликты. Однако они как огня боялись проявлений **анархии частных интересов**. Представители либерального крыла мечтали о приведении к некоей гармонии частных и общественных интересов¹¹. Просветители-радикалы видели преодоление анархии частных интересов в их радикальном (вплоть до насильственного) устранении. По их мнению, любой **носитель частных интересов** (конфессиональных предпочтений, моральных и т. д.) есть не кто иной, как враг

¹¹ К этим взглядам восходит теория "разумного эгоизма" английского просветителя, основателя политической экономии как строгой науки Адама Смита.

общества, “враг народа”¹². Для Ж.-Ж. Руссо одним из важнейших условий общественного договора (создания “государства разума”) является **отказ каждого (и всех – на добровольных началах, без привилегий) от своих частных интересов**. Выполнив это условие, проявив тем самым гражданскую добродетель, индивид становится гражданином государства (Руссо Ж.-Ж.)¹³.

Но что же такое счастье как не удовлетворение этих самых «частных интересов»? Абсурд утопии, по мнению Замятина и Ницше, как раз и заключается в том, что в стремлении достичь всеобщего счастья утопическое государство жертвует личным счастьем каждого своего гражданина. Совершенствуя общественное устройство, утопическое государство все меньше учитывает частные интересы и последовательно **подменяет счастье благом, благо – справедливостью, а справедливость – равенством**.

Воля отдельного человека или даже меньшинства (еще с античных времен) не только не учитывается, а искореняется, такие индивиды, по мнению утопистов, подлежат уничтожению¹⁴. **Общая воля не ошибается** и всегда направлена прямо (прямолинейно, строго линейно)¹⁵. Характерно, что если в настоящий момент логика действий правителей такого «справедливого» государства не очевидна, то **не нужно анализировать, нужно верить – верить в коллективный разум и подчиняться коллективной воле**, справедливость всего этого станет очевидной позже. Просветители видят **право** как сочетание Разума и Воли. Общая воля олицетворяет и воплощает суверенитет народа. Но, как показывает история, стремление к всеобщей справедливости чревато тем, что конкретная человеческая жизнь перестает быть ценностью. У Ницше в афоризме № 101 «Не судите» по этому поводу находим: «Впрочем, **что значит сожжение одного человека по сравнению с муками ада почти для всех!**»¹⁶ И все же это представление владело тогда миром, причем его неизмеримо

¹² Термин принадлежит революционеру, гильотинированному вместе с Робеспьером, Луи Сен-Жюсту (1767-1794).

¹³ Чем не схема общественных отношений в Едином Государстве?

¹⁴ К этим суждениям восходят истоки идеология всех тоталитарных режимов, достигших апогея в XX столетии.

¹⁵ Как не вспомнить по этому поводу «непреложно прямые» улицы идеального Города и, конечно же, линию Единого Государства

¹⁶ Ср. Достоевский о слезе ребенка.

большая жестокость не наносила существенного ущерба представлению о Боге» [Ницше 4, т. 1: 293].

Схема **необходимой жертвы счастьем или даже жизнью одного ради счастья многих** характерна не только для религиозного типа сознания, но и для утопического сознания в целом.

Примечательно, что **утопия с позиций всеобщего, коллективного блага всегда выглядит привлекательно**, однако **в приложении к индивиду «логика преимуществ теряет опору»** [Мильдон: 20]. И эта привлекательность, по мнению Замятина, опасна. Что приобретет или потеряет отдельный человек в результате «справедливой» организации общества, ни Платона, ни других утопистов нисколько не занимает. Личность с ее неповторимой судьбой, с ее потребностью в многосторонней деятельности утопизм знать не хочет.

К проблеме отчуждения человека из-за невнимания к его индивидуальному бытию относится идея **разделения труда**, описанная в общих чертах в трактате «Государство» Платона и активно развиваемая в социалистических доктринах конца XIX – начала XX в. (например, у К. Маркса). Платон пишет: «Мы установил, что **каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним** из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он **по своим природным задаткам** больше всего способен» [Платон, IV: 433 а]; **Это и есть справедливость»** [Платон, IV: 433 б).

Эта идея, привлекательная с точки зрения общественных интересов, несколько раз выводится в тексте романа Замятина на первый план и представляется как генеральная рациональная идея, как безусловная истина для совершенного государства. Но писатель увидел в ней все то же утопическое **невнимание к индивидуальному бытию**. Фрейд, ссылаясь на просветителей и положительно относясь к работе «по призванию», замечает: «...Простая, доступная работа по призванию может занять то место, на которое своим мудрым советом указывал Вольтер <...> Возможность перемещения значительной части либидинозных компонентов – нарцисстических,

агрессивных и собственно эротических – в трудовую сферу и связанные с нею человеческие отношения придает этой деятельности ценность, каковая не уступает ее необходимости для поддержания и оправдания своего существования в обществе. Когда она **свободно выбрана**, профессиональная деятельность приносит **особого рода удовлетворение**: при помощи сублимации становятся полезными склонности, доминирующие или конституционально усиленные влечения. И тем не менее **труд как путь к счастью мало ценится людьми** <...> Подавляющее большинство работают только под давлением нужды, и самые тяжкие социальные проблемы проистекают из этой природной неприязни людей к труду» [Фрейд 1989: 95].

И у Платона, и у Замятина основная задача «простых смертных» – труд по способностям. Замятин подчеркивает, что благо от «труда по способностям» проистекает не оттого, что этот вид деятельности математически точно подобран человеку (как у Платона или в Едином Государстве), а потому, что **труд и творчество являются путем к счастью только при условии свободы выбора**. Свобода необходима хотя бы потому, что творчество и трудовая деятельность предполагают индивидуальный набор первичных порывов, которые сублимируются в них. Свобода человека, таким образом, является условием счастья, в той его части, которая отвечает за удовольствие. Но в то же время, свобода отдельного человека оказывается первой под ударом цивилизации и с каждым шагом ее становится все меньше, поскольку: **«Индивидуальная свобода не является культурным благом. Она была максимальной до всякой культуры, не имея в то время, впрочем, особой ценности, так как индивид не был в состоянии ее защитить»** [Фрейд 1989: 100].

В этом сходятся Замятин и Фрейд. Совершенно созвучно этим мыслям высказывание Ницше: «...Кто хочет пожинать в жизни счастье и довольство, тот пусть всегда избегает встречи с более высокой культурой» [Ницше 4, т. 1: 388]¹⁷.

¹⁷ Конечно, ни Ницше, ни Замятин, ни Фрейд не призывали отказаться от цивилизации и государства как ее необходимого продукта.

В утопии нет места свободе, только порядок, поскольку свобода обращена к индивидуальной жизни и является актом индивидуальной воли. Закономерно поэтому, что все известные литературные и практические утопии очень строго регламентируют жизнь.

Абсолютизация Государства, по мнению Замятина, приводит не к улучшению механизмов защиты своих граждан и компенсации их страданий, а к усилению насилия и полной блокаде всех источников недовольства и возможного бунта, притом не только личная свобода человека не является ценностью в таком государстве, но и сама жизнь, поскольку за малейшее проявление неповиновения или даже за осознание собственной индивидуальности (эпизод с казнью поэта, который осознал свою гениальность) нумерам грозит смерть от Государственной Машины.

Агрессивность, возникающая от давления государственного прессы, с точки зрения Фрейда, может неожиданно прорвать все запруды и выйти на поверхность в спонтанных актах немотивированного насилия, в войнах, массовых движениях, пронизанных ненавистью к другим группам, классам, нациям. Насилие в человеческом обществе связано не с социальными противоречиями, оно принадлежит природе человека, его не обуздать социальными реформами типа уничтожения частной собственности. Природу человека не изменить. Поэтому ему трудно быть счастливым в мире культуры, которая подавляет неискоренимые сексуальные и агрессивные влечения: «Культурный человек променял счастье на относительную безопасность» [Фрейд 1989: 101]. Но и она (безопасность) является весьма хрупкой, поскольку теперь роду человеческому грозит самоуничтожение в войне: «Ныне люди настолько далеко зашли в своем господстве над силами природы, что с их помощью легко могут истребить друг друга вплоть до последнего человека» [Там же].

В романе «Мы» тема агрессивности мирового масштаба присутствует в теме Двухсотлетней Войны (войны между городом и деревней), уничтожившей почти все человечество. Правители будущего Единого Государства из

замятинского романа, желая снизить деструктивность от неудовлетворенности у выживших 0,2 населения, задумались о механизмах сублимации. Сублимированный сексуальный инстинкт, с точки зрения Фрейда, собирает людей вместе, скрепляет нации и государства, но обратной стороной такого объединения является направленная вовне деструктивность. Чем сильнее единство внутри какой-либо группы людей, тем сильнее ненависть к «чужакам» («образу врага»).

На государственном уровне сублимация достигается операторами культуры [Есин А. Б.], которые должны снять конфликт между личностью и государством, личностью и обществом в целом. Например, можно соблазнить угнетенных **идеями мировых революций**, покорения мировых пространств и насаждения там «математически-безошибочного счастья» («Мы»). Это достаточно старый трюк, который только время от времени слегка меняет «дизайн». Старый, потому что является явным и обязательным признаком утопизма, другой стороной **мессианства**. Суть его объясняется отцом психоанализа, который обращает внимание на идеалы культуры (= цивилизации): «В силу этих различий (в идеалах и целях – А. С.) каждая культура признает за собой право презирать другие... Не только привилегированные классы, вкушающие благоденствия культуры, но и угнетенные могут участвовать в удовлетворении, причем **право презирать «внестоящих» вознаграждает их за угнетение в их собственном кругу**. Правда, я, ничтожный плебей, замученный долгами и военными поборами, но зато я римлянин и участвую в задании покорять другие народы и предписывать им законы. Угнетенные идентифицируют себя с повелевающим и эксплуатирующим их классом, но эта идентификация представляет собой только одну часть большой причинной связи» [Фрейд 1998¹: 871-872].

Закономерно, по мнению В. И. Мильдона, и другое: «кто, не считается с индивидом при устройстве человеческих дел, тому и целый народ(ы) не препятствие ради торжества мессианской идеи» [Мильдон: 20]. Поэтому неудивительно, что герой Д-503, рассказывая о реформах, которые пришлось

реализовать на пути к совершенному государству, практически без сожаления замечает, что «выжило только 0,2 населения земного шара».

В. И. Мильдон отмечает: «Каждый мессианист нуждается в народах взысканном и гонимом, подчеркивающим избранность первого» [Мильдон: 20]. Идея грядущего покорения Вселенной с помощью ИНТЕГРАЛА, которая обозначается сразу на первой странице романа «Мы» и на фоне которой развиваются все события романа, является первым сигналом несвободы людей этого государства. Главному герою «посчастливилось» быть строителем носителя безошибочного счастья для неведомых народов, чтобы, как сказал поэт R-13, *«проинтегрировать от нуля до бесконечности – от кретина до Шекспира»*.

Следует заметить, что Платон тоже решал проблему «недовольства человека в культуре», но не с целью помочь отдельному человеку обрести счастье, избежать отчуждения, а с целью организовать силы души каждого гражданина таким образом, чтобы идеальное государство процветало. Лишь с этой целью он подводил под теорию идеального государства психологическую основу, затрагивая проблемы души человека, познавательных сил души, отношения души и тела, вселения души в тело и ее судьбы после смерти человека.

Все надежды в этой сфере Платон возлагает на воспитание. Если еще в детстве пресечь природные дурные наклонности, то, освободившись от них, душа способна обратиться к истине. Фрейд тоже верит в человеческий разум, который подскажет человеку путь примирения с культурой.

«Новые поколения, любовно воспитанные в глубоком уважении к мышлению, рано узнавшие благодетельность культуры, будут иметь и иное к ней отношение, будут ощущать ее как глубоко личное достояние, и в них будет готовность приносить ей жертвы работой и отказом от удовлетворения первичных позывов, необходимых для ее поддержания» [Фрейд 1998¹: 867].

Замятинская модель общества строго выдержана с точки зрения идеальной схемы Фрейда и Платона. Писатель критикует не Фрейда или

Платона, а утопизм вообще. Сходство объясняется скорее тем, что Фрейд был последователем просветителей-рационалистов, о чем не раз упоминали исследователи его психоаналитического наследия¹⁸.

Рационалистский образ человека, победившего свою природу, всегда связывался с совершенной **системой образования и воспитания**, которая является еще одной точкой платоновско-замятинских соответствий. Здесь сосредоточен ряд проблем, связанных с конфликтом человека и цивилизации, здесь также находится очередной узел, «пунктик» утопического сознания.

Вспомним, что, выбирая содержание обучения для философов, Платон отдает предпочтение *математике*, видя в ней основу любого умения, мышления, знания, то, что каждому человеку необходимо понимать заранее. Вычисление и счет по своей природе ведет человека к умозрению, к созерцанию подлинного бытия [Платон VII: 524 е – 525 а]. Но Сократ Платона сетует, что никто не пользуется ею правильно, как такой наукой, которая влечет нас в сторону подлинного бытия [Платон VII: 523 с]. Именно поэтому главный герой романа «Мы» не просто математик, а «философ» и даже «поэт» от математики. Математические метафоры и сравнения в устах замятинского героя говорят о том, что герой достиг платоновского идеала: математика влечет душу ввысь и заставляет рассуждать *«о самих числах»*, даже в обыденной жизни герой мыслит математическими категориями: *«Вот что: представьте себе - квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит - настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении»* [«Мы»: запись 5-ая, 320]; *«Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах – и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: "Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте меня из $\sqrt{-1}$!" Этот иррациональный корень врос в меня как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня – его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне *ratio*»* [«Мы»:

¹⁸ См., например, указ. соч. А. М. Руткевича, Э. Фромма, М. А. Блюменкранца.

запись 8-ая, 332]; «Солнце – сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное – снизу. О – на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел; $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...» [«Мы»: запись 8-ая, 335].

Но математические высоты не могут избавить человека от страданий, не позволяют познать истину, поскольку не все в жизни можно просчитать и упорядочить. Замятин увидел в бесконечном желании все просчитать и рационализировать великую опасность для человека. В романе множество гротескных эпизодов, высмеивающих желание контролировать и рационализировать человека даже по мелочам, например: «Издалека, сквозь туман постукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: **пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок**» [«Мы»: запись 18-ая, 374].

Математика, названная Платоном «наукой о подлинном бытии», развивает мышление, но не касается иррационального, чувственного начала в человеке. Стремление с помощью математики контролировать все стороны человеческой жизни – опасная утопия, по мнению Замятина. В. И. Мильдон тоже отмечает, что сверхматематизация совсем не «исключает взгляда на утопизм как разновидность ложного сознания, граничащего с душевным расстройством <...> сверхматематизация может в некоторых случаях исходить из неосознанной потребности избегать материи <...> В утопиях, – прибавляет автор, – часто находим сверхматематизацию отношений и социальной организации» [Мильдон: 23-24]. Вот и герой Замятина, математик, постоянно переносит математические способы решения задач на жизненные ситуации. Эта "сверхматематизация", если иметь в виду метафорические значения, по мнению В. И. Мильдона, дает ответ на вопрос, почему, невзирая на почти три тысячи лет утопических проектов, ни один так и не был осуществлен: «потому что индивидуальная природа, составляющая сущность человека, не постижима "математически" <...> Но "математика" (выгода)

одновременно объясняет, почему постоянно терпящая крушения утопия все же не теряет своего соблазна: потому что никогда, скорее всего, человек не откажется от намерения упорядочить ("математизировать") собственные иррациональные порывы. В этом состоит универсализм утопии» [Там же].

Идея, что счастье достижимо путем **совершенствования мышления, логики**, а следовательно, науки и техники, всегда наблюдалась в трудах мыслителей, задумывавшихся о судьбе человечества. Эта идея прослеживается практически во всех утопиях, и, с точки зрения Е. Замятина, является одной из основных социальных иллюзий. Поскольку ни индивидуальное бытие, ни частные интересы человека никогда не были ценностью для утопистов, то философы-просветители в целом разделяли **презрение к чувствам и аффектам**. Мыслители-рационалисты верили, что, если человек поймет причину своих бедствий, интеллектуальное познание даст ему силу изменить обстоятельства, порождающие страдания. Именно эта вера оказала значительное влияние, в том числе и на Фрейда. Фрейд тоже верил в человеческий разум, который подскажет человеку путь примирения с культурой. И в этом состоит, по мнению Э. Фромма, глобальная ошибка утопистов: «Чувства и эмоции сами по себе считались иррациональными, а потому низшими по сравнению с мышлением. Они (мыслители-рационалисты. – С. А.) не видели того, что заметил еще Спиноза: аффекты, подобно мыслям, могут быть рациональными и иррациональными, полное развитие человека требует рациональной эволюции обеих сторон – и мысли, и аффекта. Они не замечали того, что с **обособлением мышления от чувств искажаются и мышление, и чувства, и сам образ человека**, в основе которого лежит признание такого раскола, также является искаженным» [Фромм 1996: 9].

Еще до теории психоанализа Ницше писал об опасности **гиперрационализма** и о роли бессознательного, кивая в сторону просветителей, которые были приверженцами естественного права, права Разума, руководящего миром вместо Бога (одно из проявлений мессианства): «С незапамятных времен рассматривали сознательное мышление как мышление

вообще; только сейчас брезжит нам истина, что наибольшая часть наших духовных процессов протекает в нас **бессознательно** <...> **Сознательное мышление**, в особенности мышление философа **есть бессильнейший** <...> **род мышления**, и, стало быть, именно философ легче всего может быть введен в заблуждение относительно природы познания» [Ницше³, т. 1: 657].

Просветители считали, что достигли истины, а Ницше усматривал в этом великую трагическую ошибку. Подобного заблуждения с претензией на мессианство, к сожалению, не избежал и Фрейд. Э. Фромм, писал, что в стремлении быть «вождем интеллектуальной революции», «донести до человечества **новую весть – не счастливую, но реалистичную**» [Фромм: 85] «Фрейд осуществлял свою заветную мечту – быть Моисеем, указующим роду человеческому землю обетованную (покорение Оно нашим Я) и пути ее завоевания» [Фромм: 99].

Ницше пошел в своей критике рационализма слишком далеко: справедливо не признав за человеческим разумом божественных прерогатив, он «вообще отверг разум, противопоставив ему, – в конечном счете, она оказалась **волей к власти**, – слепым жизненным порывом, витальностью, вожделением, страстью» [Крахоткин³]. Замятин видит утопизм как в крайнем рационализме, так и в абсолютизации иррационализма: жизнь человека сочетает и то, и другое начало.

Исследовав «узлы кристаллической решетки» утопии, начиная с древности и заканчивая «новыми», «революционными» идеями, Замятин не нашел в ней места **свободе и счастью** человека. Все основополагающие черты утопического сознания – **мессианство** с идеей избранного и гонимого народов, мировых революций, с бескомпромиссной борьбой с инакомыслящими; **гиперрационализм** с его стремлением к тотальному контролю во всех сферах человеческой жизни; **невнимание к индивидуальному бытию** с запретом частных интересов и идеей подчинения коллективной воле – все это не только **черты, но и причины усиливающегося конфликта человека с цивилизацией.**

«Машина» утопического сознания, приводимая в действие этими «узлами», сжимает в своих тисках человека, так как не предполагает никакой личной свободы. «Узлы» утопизма взаимообусловлены, и поэтому, с точки зрения Замятина, утопическое сознание – это не восхождение к вершине по спирали, а хождение по кругу. Кристаллическая решетка утопии – это структура «твердого тела», система, находящаяся в покое, а значит, лишена изменений, лишена энергии, нежизнеспособна. Она совершенствуется от века к веку только механизмы подавления, а «заставить человека быть счастливым», по мнению автора романа «Мы», нельзя. В жизни человека бывают моменты, когда собственное благополучие, польза, справедливость не являются для него абсолютной ценностью, и тогда, пусть ценой своей жизни, человек делает шаг в пользу **свободного выбора**. По-видимому, Замятин считает стремление к свободе **главной составляющей счастья**, сохраняющей в человеке человеческое, пусть, даже «слишком человеческое». Таким образом, концепт «Счастье» оказался для Замятина он неотделимым от концепта «Свобода». Именно данный «тандем» определяет связи и содержание других концептов антиутопии.

Источники

Достоевский, Ф. М. Записки из подполья / Ф. М. Достоевский // Собр. соч. в 15 т. Т. 4. – Л. : «Наука», Ленингр. отд-е, 1988. – С. 452 -550.

Замятин, Е. Мы. / Е. Замятин // Избранное. – М. : Правда, 1989. – С. 307-462.

Ницше,¹ Ф. Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм / Ф. Ницше // Сочинения: в 2 т. Т. 1. Литературные памятники. – М. : Мысль, 1990. – С. 47-157.

Ницше,² Ф. Человеческое, слишком человеческое /Ф. Ницше // Соч. в 2 т. Т. 1. Литературные памятники. – М. : Мысль, 1990. – С. 231-490.

Ницше,³ Ф. Веселая наука /Ф. Ницше // Сочинения : в 2 т. Т. 1. Литературные памятники. – М. : Мысль, 1990. – С. 491-719.

Платон. Государство // Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий. – М. : Мысль, 1999. – С. 79-420.

Руссо, Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Ж.-Ж. Руссо. – М. : Канон-пресс-Ц: Terra-Книжный клуб, 2000. – 544 с.

Фрейд, З. Недовольство в культуре / З. Фрейд // Философские науки. – 1989. – № 1. – С. 92-101.

Фрейд,¹ З. Будущее одной иллюзии / З. Фрейд // Я и Оно: Сочинения. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998. – С. 861-914.

Фрейд² З. По ту сторону принципа удовольствия / Фрейд З. // Я и Оно: Сочинения. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во «Фолио», 1998. – С. 709-769.

С. А. Анохина

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАЗВИТИЕ» В ТВОРЧЕСТВЕ В. РАСПУТИНА 1994–2003 гг.

Концепт «Развитие» занимает одно из ведущих мест в русской концептуальной картине мира. Развитие как одна из разновидностей изменения играет важную роль в рубрикации концептуального пространства. Исследуемый нами концепт существует в инвариантной для носителей современного русского языка части, а также в индивидуальных вариантах, вербализованных в частности в художественной литературе. Несомненный интерес в этом отношении представляет функционирование вербализаторов концепта «Развитие» в произведениях В. Г. Распутина 1994–2003 гг., особенно единиц, отражающих представление писателя о развитии человека.

Состав и структура лексико-фразеологического поля,

вербализующего концепт «Развитие» в произведениях В. Г. Распутина

Лексические и фразеологические единицы (ФЕ), вербализующие концепт, объединяются в лексико-фразеологическое поле (ЛФП). В ходе сплошного анализа языка художественных произведений В. Распутина 1993-2003 гг., опубликованных в последнее десятилетие, нами было отмечено 819 употреблений 635 языковых единиц, вербализующих концепт «Развитие». Эти единицы были выявлены в результате компонентного анализа их значений и соотнесения их с семемой, составляющей ядро ЛФП *Развитие* – ‘закономерный переход кого/чего-либо из одного состояния в другое’, а также в результате сопоставления реалий, обозначаемых данными единицами, с фреймом *Развитие*. При фиксации языковых единиц в качестве вербализаторов концепта «Развитие» мы учитывали

– все значения многозначного существительного *развитие* (к которым, кроме названного, относятся: 2) ‘ход, протекание’; 3) ‘процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное’; 4) ‘возникновение, появление, образование чего-либо’; 5) ‘действие, направленное на то, чтобы постепенно усилить, укрепить кого/что-либо; сделать обширнее что-либо’; 6) ‘действие, направленное на то, чтобы довести кого/что-либо до определённой степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности’; 7) ‘действие, направленное на то, чтобы распространить, расширить, углубить содержание или применение чего-либо; последовательно и подробно изложить что-либо’; 8) ‘действие, направленное на то, чтобы довести что-либо до определенной степени силы, мощности, совершенства, поднять уровень чего-либо’; 9) ‘действие, направленное на то, чтобы вырасти, видоизмениться в результате жизненного процесса // достичь физической зрелости // принять законченную форму; сложиться, созреть’; 10) ‘состояние кого/чего-либо как результат усиления, укрепления данного объекта’; 11) ‘степень умственной, духовной зрелости, просвещённости, широта кругозора’; 12) ‘состояние чего-либо как результат доведения объекта до определенной степени силы, мощности, совершенства, поднять уровень чего-либо’; 13) ‘состояние как результат действия, направленного на то, чтобы вырасти, видоизмениться в результате жизненного процесса // достичь физической зрелости // принять законченную форму; сложиться, созреть’);

– эпидигматические связи между значениями;

– структуру ЛФП *Развитие*;

– основные терминальные узлы фрейма *Развитие* (к которым относятся 1) участники процесса (объект, субъект и наблюдатель, которые могут совпадать или различаться); 2) два качественно отличающихся друг от друга состояния объекта (состояние₁ и состояние₂), из которых первое оценивается (наблюдателем) положительно, а второе – отрицательно; 3) изменение объекта, заключающееся в его закономерном переходе из состояния₁ в состояние₂ или наоборот; 4) сохранение системного качества развивающегося объекта;

5) протяжённость процесса во времени; 6) средства развития; 7) поэтапность развития; 8) уровень развития, оцениваемый наблюдателем).

В качестве репрезентантов индивидуального варианта концепта «Развитие» мы рассматриваем единицы, функционирующие как в речи автора, так и в речи персонажей, на том основании, во-первых, что речь персонажей в художественном произведении создана автором, то есть именно В. Распутин в процессе продуцирования анализируемых текстов выбрал «из всего многообразия предлагаемого языком материала (языковой системы) то, что соответствует устойчивым связям между понятиями и концептами в его картине мира» [Чурилина 2002: 9]. Во-вторых, мы не дифференцируем случаи употребления единиц, вербализующих концепт «Развитие», в речи автора и в речи персонажей потому, что В. Распутину свойственно не только прямо высказывать свою точку зрения в авторских комментариях к описываемым событиям, но и выражать свои мысли через речь персонажей. Эту особенность своего творчества писатель прокомментировал в одном из интервью в ответ на замечание об «усложнённости простого героя» (старухи Дарьи из повести «Прощание с Матерой): «<...> в конце концов, если даже герой и прост, как нам кажется, почему бы свои заботы, свои мысли не передавать ему?» [15 встреч... 1989: 211]. В произведениях 1994–2003 гг. героями, которым автор «передал свои заботы, свои мысли», являются Сеня Поздняков (рассказы «По-соседски», «Сеня едет», «Поминный день», «Нежданно-негаданно», «Вечером»), старуха Наталья («Женский разговор», «Нежданно-негаданно», «Вечером»), Алексей Петрович («В больнице»), Тамара Ивановна, Иван Савельевич, Дёмин, Иван (повесть «Дочь Ивана, мать Ивана»). Именно этим персонажам автор «доверяет» рассуждать о развитии, и в их рассуждениях звучат мысли, соответствующие тем, которые сам В. Распутин высказывает «от своего лица» как в художественных, так и в публицистических произведениях.

В качестве ведущего метода исследования вербализаторов концепта выбран метод семантического поля, так как он позволяет рассмотреть максимальное количество единиц, репрезентирующих концепт, даёт

возможность выявить семантические отношения между ними и через анализ вербализаторов концепта, их связей с вербализаторами смежных концептов получить представление о самом концепте «Развитие».

Номинативные единицы языка, как отмечает Л. М. Васильев, «представлены двумя рядами слов и их эквивалентов: предметными (существительные) и признаковыми (глаголы, прилагательные, наречия, а также некоторые группы существительных). Значения первых в современной семантике часто называют идентифицирующими (или денотатными), а значения вторых – предикатными (или сигнификатными)» [Васильев 1990: 113]. Большинство компонентов ЛФП *Развитие* относится к разряду признаковых слов, или слов с предикатными значениями (предикатов), обращенных, по словам Н. Д. Арутюновой, «к мышлению человека, к системе его понятий <...>. Для того чтобы оперировать <...> предикатами (признаковыми словами), нужно разбираться в способах мышления о мире. <...> быть знакомым <...> с системой выражаемых языком понятий» (цит. по [Васильев 1990: 113]). Все единицы, отмеченные нами как вербализаторы концепта «Развитие», так или иначе связаны с понятием развития – сутью данного процесса, особенностями его протекания, проявлениями результатов и т. д.

Единицы, вербализующие концепт «Развитие» в произведениях В. Распутина, могут быть разделены на следующие группы:

- 1) единицы, семантика которых связана с представлениями о нисходящей линии развития;
- 2) единицы, семантика которых связана с представлениями о восходящей линии развития;
- 3) единицы, не имеющие в своём значении указания на направление развития;
- 4) периферийные единицы, имеющие ослабленную, контекстуально обусловленную связь с ядерной семемой.

Абсолютное большинство единиц, отмеченных нами в произведениях В. Распутина в качестве вербализаторов концепта «Развитие», входит в три

первые группы. При этом единицы, семантика которых связана с представлениями о нисходящей линии развития, преобладают в количественном отношении над единицами других групп, поэтому мы поставили их в перечне на первое место. В процентном соотношении с общим количеством отмеченных вербализаторов концепта единицы первой группы, семантика которых связана с представлениями о нисходящей линии развития, составляют 50,9 % (46,3 % употреблений), единицы второй группы, семантика которых связана с представлениями о восходящей линии развития, – 24,6 % (22,7 % употреблений), единицы третьей группы – 19,1 % (26,3 % употреблений). Единиц четвертой группы нами отмечено 36 в 39 употреблениях, что составляет 5,7 % от общего числа вербализаторов (4,8 % употреблений).

Соотношение слов-вербализаторов, принадлежащих к разным частям речи, и ФЕ с определённой семантикой внутри каждой группы примерно одинаковое: наиболее частотны спрягаемые глагольные формы и ФЕ с процессуальной семантикой (48,7 %), а также причастия и ФЕ с процессуально-призначной семантикой (24,9 %), далее следуют существительные и ФЕ с предметной семантикой (13,6 %), прилагательные и ФЕ с призначной семантикой (5,5 %), имеющие в своём значении эксплицитную или имплицитную сему 'действие'. Наиболее малочисленными (в среднем по 2 %) являются группы деепричастий, наречий и ФЕ с качественно-обстоятельственной семантикой, а также ФЕ, соотносящихся по своей структуре с предложениями.

В настоящей работе мы разграничиваем спрягаемые глагольные формы и особые формы глаголов – причастия и деепричастия на том основании, что различия в их семантике существенны при построении ЛФП. В основном это относится к функционированию причастий в качестве вербализаторов концепта «Развитие». Если собственно глаголы, имеющие категориальное значение процессуальности, характеризуются более близкими семантическими отношениями с ядерной семемой ЛФП *Развитие*, то причастия, семантика

которых осложняется семой 'признак', имеют более отдалённую связь с ядром, располагаясь ближе к периферии поля. Относительно расположения деепричастий в ЛФП следует отметить, что сема 'дополнительное (действие)' не влияет на близость семантических отношений данных глагольных форм с ядерной семемой.

Преобладание в качестве вербализаторов исследуемого концепта спрягаемых глагольных форм, причастий, отглагольных прилагательных и существительных объясняется тем, что развитие – это действие. Относительно редкое использование В. Распутиным деепричастий как вербализаторов концепта обусловлено, по нашему мнению, тем, что данная глагольная форма обозначает добавочное действие, а развитие чаще всего мыслится как основное действие, которое трудно представить «сопровождающим» другое действие.

Группа единиц, семантика которых связана с представлениями о нисходящей линии развития, является самой многочисленной (50,9 % отмеченных слов и ФЕ).

Интегральной для данной группы вербализаторов является сема 'разрушение', которая связывает их значения с группой существительных *деградация, регресс, спад, упадок, ухудшение*, находящихся в видородовых отношениях с ядром анализируемого ЛФП (семемой 'закономерный переход кого/чего-либо из одного состояния в другое') и в антонимических отношениях с двумя околядерными семемами ('процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное' и 'возникновение, появление, образование чего-либо').

В антонимических отношениях с лексико-семантическим вариантом (ЛСВ) слова *развитие* ('возникновение, появление, образование чего-либо') находятся следующие группы вербализаторов концепта: глаголы *выродиться, гибнуть, делиться, дотлеть, дробиться, иссякнуть, не стало, не осталось, обмирать, отмирать, разбегаться, распасться, рушиться, рухнуть*; ФЕ с процессуальной семантикой *весь вышел (вся вышла), прийти к концу*; предикативные ФЕ *песенка спета, швы расходятся*; существительные

вымирание, вырождение, вычерпанность, обломок, омертвелость, опустошённость, осколок, развалина, разделение, разрушение, руины. Эти вербализаторы объединяет то, что в их значениях имеют место семы ‘завершение (существования)’, ‘исчезновение’, противопоставляющие данные единицы названному ЛСВ слова *развитие*.

Остальные единицы связаны антонимическими отношениями с ЛСВ-3 (‘процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное’), то есть обозначают переход объекта развития в менее совершенное (по сравнению с исходным) состояние. Далее перечисляются группы вербализаторов с интегральными семами, отражающими наиболее важные в концепте представления о развитии:

1) **‘приходить/прийти в упадок’**. Сюда входят глаголы *ахнуть, покатиться, спадать, спасть, ужать, ужиматься* в значении ‘уменьшиться, сократиться в количестве, размере’, *укорачиваться*; ФЕ с процессуальной семантикой *ахнуть в пропасть, пойти ко дну, пойти на убыль, сходить на нет*; существительные *мор, порча, укорот* в значении ‘уменьшение, сужение’;

2) **‘утратить определённую степень духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности’**. В эту группу объединяются обозначающие социальную деградацию человека глаголы *допиться, спиваться, спиться, падать*; ФЕ с процессуальной семантикой *в водочке (наркотиках) захлебнуться, дойти до края, на голову встать, а ноги задрать; потерять себя, сбиться с пути, с ума походить*; причастия *запивающийся, опустившийся, покотившийся*; ФЕ с процессуально-призначной семантикой *погрязший в пороке*; ФЕ с призначной семантикой *человек конченный*;

3) **‘стать менее привлекательным внешне’**. Состав данной группы вербализаторов позволяет не только конкретизировать сему ‘видоизмениться в результате жизненного процесса’, но и получить представление о том, какие именно видоизменения объектов развития (людей, жилищ, природы и др.) представляются наиболее важными в картине мира писателя В. Распутина):

а) две группы вербализаторов с интегральной семой ‘измениться в объёмах’:

– единицы с семой ‘похудеть’ – глаголы *вжаться, выостриться, высохнуть, заостриться, обостриться, опасть, подсушиться, похудеть, удлиниться*; причастия *ввалившийся, впавший, высохший, заострившийся, обвисший* (о коже похудевшего человека), *обострившийся, подсушенный, оскудевший (телом), усохший*; деепричастие *выстрогавшись* в значении ‘похудев, словно кто-либо сострогал лишнее’;

– единицы с семой ‘потолстеть’ – причастия *затёкший, набрякший, разбухший, раздобревший, размягчившийся* в значении ‘слегка располневший’, *расплывшийся, расползшийся, распухший*;

б) единицы с семами ‘изменить цвет’, ‘потерять яркость’ – глаголы *желтеть, облезть, обтереться, померкнуть, потемнеть, потускнеть, почернеть*; причастия *вытершийся, выцветший, облезший, облупившийся, полинявший, померкший, посиневший, потемневший, почерневший*;

в) единицы с семами ‘изменить форму’ – глаголы *осесть, прогнуться, просесть*, причастие *осевший*;

4) ‘слабеть/ослабеть’, ‘терять/потерять жизненную силу’. Сюда входят глаголы *замориться, захиреть, источиться* в значении ‘ослабеть, устать’, *обгнить, повянуть, расслабнуть, слабеть, слабнуть, увянуть, хиреть, чахнуть*; ФЕ с процессуальной семантикой *ноги отказывают, опустились руки*; причастие *ослабевший*;

5) ‘прийти/приходить в негодность’, ‘изнашиваться/износиться’. Эти семы отмечаются в значениях глаголов *дыряться, изнашиваться, продыряться, протекать, расшататься, трескаться*; ФЕ с процессуальной семантикой *прийти в негодность, расходиться по швам*; причастий *отставший* (в значении ‘отделившийся, отвалившийся’), *потрескавшийся, протрухляевший* в значении ‘полностью превратившийся в труху’; существительных *гниль, затхлость, износ, изношенность, поруха, тление, труха*;

б) **‘стареть’**. В эту группу входят глаголы *стареть, стариться, состариться, постареть, поджигаться* в значении ‘приближаться к какому-либо периоду жизни’; причастия *выстаревший* – ‘постаревший до предела’ (с префиксом, имеющим значение ‘исчерпанность действия, достижения чего-нибудь’), *обветшавший, состарившийся, стареющий, зажившийся*; существительные *дряхлость, старость*;

7) **‘оказаться без людей, без их внимания’**. Сюда относятся глагол *осиротеть*, причастия *заброшенный, обезлюдивший, онемевший* в значении ‘лишившийся голосов, звучащих в нём’ как характеристика изменения дома), *опустевший, осиротевший*.

В значениях большинства названных выше глаголов, глагольных форм и процессуальных ФЕ отражается процесс развития, субъект и объект которого совпадают. Однако в семантике многих единиц, вербализующих концепт «Развитие» в творчестве В. Распутина 1994–2003 гг., субъект и объект этого процесса дифференцируются.

Семы **‘разрушать/разрушить’, ‘приводить/ привести в состояние упадка’** являются интегральными для следующих групп вербализаторов: глаголов *выгибать, гнуть, делить, добивать, доламывать, запустить, затянуть, зарыхлить, изнашивать, изъездить, истрепать, крушить, мять, намаять, отрубать, портить, развалить, разрушать, свернуть в бараний рог, сострогать, уродовать*; ФЕ с процессуальной семантикой *лишать рассудка и лица, повыдергать пёрышки* в значении ‘сделать менее привлекательным внешне’, *столкнуть в пропасть*; причастий *вытоптанный, домучиваемый, загаженный, загнанный, загубленный, закопчённый, запущенный* (в значении ‘находящийся в упадке, запустении’), *затоптанный, захламлённый, зачернённый, избитый, издёрганый, измождённый, измученный, израненный, изъеденный, испорченный, истерзанный, надорванный, обессиленный, перебученный, перелопаченный, обдёрванный, перекошенный, перекрученный, побитый, потрёпанный, продавленный, прокопчённый, прокуранный, разбитый, разграбленный, разломаченный, разношенный*.

В некоторых случаях функционирования данных переходных глаголов и причастий отмечается совпадение объекта и субъекта развития. Например, глаголы, характеризующие развитие Ангары после строительства плотины, называют действия, совершаемые самой рекой: *«Здесь тоже поднималась вода, и селеньям тоже пришлось перекочёвывать, но, в отличие от низовий, недалеко, распах запруженной в Братске Ангары здесь уже терял свою мощь. И Ангару перестали называть Ангарой, в море, хоть и рукотворное, разливом она не вытягивала. Только очень изменилась, **запустила** и **зарыхлила** свои раздвинутые берега, **затянула** песочек **тиной**, извела родную рыбку – хариуса да ленка, при воспоминании о которой бежала слюнка, остановила свой бег, постарела»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 16].

В остальных случаях употребления глаголов и причастий с интегральной семой 'разрушать', когда субъект и объект развития дифференцируются, в качестве субъекта выступают либо люди (в этом случае, как правило, объектом являются Россия, природа или жилища), либо жизнь (объектами выступают люди или жилища): *«Алексей Петрович делал вид, что не понимает [соседа по палате], и отвечал сердито:*

– Добивают Россию. Доламывают.

– Через тяжёлый период пройти надо...

*– И куда выйти? – подхватывал Алексей Петрович. – В пустыню? В сплошные развалины? Они же не строители, они не умеют строить. У них профессия такая, талант такой – **разрушать!** Да, – спохватывался он, – вы-то ведь строителем были. Вы можете отличить: или выкладывают стены, или бьют по ним чугунной бабой!»* [В больнице: 29]; *«Так её [Аксинью Егоровну] **намаяла**, так **изъездила** жизнь, что она в последний месяц и не знала, живёт она или не живёт»* [В ту же землю: 5].

В группе имён существительных, указывающих на нисходящую линию развития, кроме названных выше, выделяются группы, объединённые следующими семами:

- ‘состояние, являющееся результатом утраты тепла, жизни’ – *омертвелость, нежить, стылость, стынь*;
- ‘состояние общего упадка’ – *запустение, запущенность, затхлость*;
- ‘состояние, являющееся результатом старения’ – *дряхлость, старость, изношенность*.

Среди имён существительных, вербализующих представления В. Распутина о нисходящей линии развития, особенно значимыми, на наш взгляд, являются авторские окказионализмы, отражающие черты индивидуального концепта «Развитие». Необходимость конструирования слов, не существующих в общеупотребительной лексике, вызвана стремлением точнее, ярче охарактеризовать представления писателя о развитии: «...*Ушла Тамара Ивановна из садика, когда вслед за Светкой подоспел к школе и Иван. Больше ей делать там было нечего. Будто вместе с выросшими дочерью и сыном вышла она из возраста, который доставлял удовольствие и терпение возиться с малышами. Как у роженицы появляется грудное молоко для кормления ребёнка, а потом в свой срок исчезает, почувствовала она в себе **вычерпанность** от долгой нутряной **истяги**. Будто однообразные и невыразительные круги крутила над солнечной сердцевиной жизни. Захотелось движения, жизни, физической усталости от здоровой работы*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 12].

Все окказиональные существительные, являющиеся вербализаторами индивидуальных представлений В. Распутина о развитии, относятся к разряду абстрактных. Образуются они по регулярным, продуктивным словообразовательным моделям, связь с производящими основами прозрачна, поэтому окказиональные существительные легко выполняют номинативную функцию. Носитель русского языка не затруднится в понимании значений употребляемых писателем существительных, а их окказиональность усиливает экспрессивность высказываний: «*И эти гонки на чужом были теперь во всём <...> Всё хлынуло разом, как в пустоту, вытеснив своё в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквах, что*

казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперёд, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное **спячивание** назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их – одни, как бабочки рвутся к огню, другие, как кроты, зарываются в землю» [Дочь Ивана, мать Ивана: 5]. Кстати, в окказиональном существительном **спячивание** наблюдается двойная мотивированность: помимо основы глагола *пятиться* со значением ‘медленно идти назад, повернувшись спиной по направлению к движению’, производное существительное имеет явную связь с основой просторечного глагола *спятить* в значении ‘сойти с ума’, что расширяет представление об анализируемом концепте.

Особой группой вербализаторов концепта «Развитие» являются компаративы, обозначающие изменение объекта посредством грамматического значения сравнительной степени. Объектом сравнения в тех случаях, когда компаративы становятся средствами вербализации концепта «Развитие», выступают бывшие состояния развивающегося предмета: *глупее, длиннее, мельче, меньше, мимолётней, наглей, пустынней, тревожней, хуже*. Так, характеризуя изменения Пашуты, В. Распутин пишет: «<...>и вот уже приходилось замечать, что всё **меньше и меньше** остаётся желаний, всё **длиннее** невидящий взгляд, всё **пустынней и мимолётней** дни» [В ту же землю...: 9]. Выделенные прилагательные и наречия в положительной степени сравнения не являются вербализаторами концепта «Развитие». Семантическая связь со словом *развитие* проявляется у них только в форме сравнительной степени, что является причиной отнесения этих единиц к периферии анализируемого ЛФП.

Во вторую группу вербализаторов концепта «Развитие» мы включили единицы, имеющие в значении указание на восходящую линию этого процесса, то есть являющиеся антонимами единиц первой группы. Связь этих вербализаторов с именем анализируемого ЛФП поддерживается следующими семами:

– ‘вырасти, стать более крупным, взрослым’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *взрасти, взростеть, возрациваться, возрасти, вымахать, вытянуться, доспевать, отрастать, подняться, подрасти, расти, сневестить* (в значении ‘вырастить из себя невесту’); причастий *вызревший, вызревавший, выросший, вылезший* (*из всех отверстий пиджака*), *накачанный, налитой, омужичившийся, подросший, разросшийся*; существительных *налитость, созревание, спелость*;

– ‘содействовать росту чего-либо’ – *взрастить, возрацивать, нарастить, поднимать*;

– ‘улучшить своё социальное положение’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *взлететь, подняться, продвинуться, процветать, расстроиться* (в значении ‘построить у себя много нового’), ФЕ с процессуальной семантикой *встать на ноги, пойти далеко, сделать карьеру, уйти вперёд*; причастия *процветающий*; ФЕ с процессуально-призначной семантикой *возведённый в ранг, в степень; вознесённый на гребень успеха, достигавший высоты, набирающий обороты, сделавший шаг вперёд*; деепричастия *вознесшись*; существительных *высота, возвышение*;

– ‘приобретать новые знания, умения’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *навостриться, научиться, поумнеть, подковываться, умнеть, учиться*; ФЕ *намотать на ус*; существительных *образование, опытность*; прилагательных *образованный, умудрённый*;

– ‘способствовать улучшению чего-либо’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *обновить, поднимать, приукрасить, цивилизовать, привести в порядок*; причастий *выдрессированный, обработанный, отшлифованный*; существительного *воспитание*;

– ‘становиться лучше’ – *лучшеть, совершенствоваться*;

– ‘усиливаться, крепнуть’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *выздоровливать, выкрепиться* (в значении ‘стать крепким, крепче’), *закалиться, нарастать, натягиваться, оживать, окрепнуть, поправляться*; ФЕ *пойти на поправку*; причастия *окрепший*.

Во вторую группу вербализаторов концепта «Развитие» мы включили единицы на основе их узувального значения. Однако анализ функционирования в произведениях В. Распутина некоторых из этих единиц показал, что в языковой картине мира писателя восходящая линия развития вполне может обернуться нисходящей. Например, глагол *цивилизовать* в узусе имеет значение ‘сделать (делать) цивилизованным, достигшим определённой ступени развития общества’, ФЕ *привести в порядок* – ‘довести до правильного, налаженного состояния’. В рассказе «В больнице» эти единицы употребляет главный герой Алексей Петрович, в словах которого звучат интонации самого автора: *«Мы дикари, звери, развратники, пьяницы, матерщинники... полный набор... лодыри, покорное стадо, к иконе подходим не иначе как с топором. Надо нас в цивилизованный мир, чтобы **привести в порядок**. Посмотрите, как **цивилизуют**. Пьяницы – и заливают дешёвой водкой. Развратники – и весь срам, всё бесстыдство людское со всего мира, всё несусветное уродство – сюда. Дикари – и гуляй свободно любой головорез, насилуй, грабь, воруй, убивай беспрепятственно, захватывай мафия и коррупция государственное богатство, объединяйся между собой, захватывай власть. Лодырь – и хлеб, масло у крестьянина не берут, везут из-за океана. Грубияны – и полон рот мата у каждого воспитателя. Не кажется это вам... ну, не совсем подходящим способом воспитания... совсем не подходящим?! Свободы хватило только на это – как сделаться окончательно без стыда и без совести, разграбить страну и оболванить нас с вами. А мы и рот разинули: настоящую Россию нам кажут! Нет, Антон Ильич, это не Россия. Избави Бог!»* [В больнице: 26]. Безусловно, то, как «цивилизуют» и «приводят в порядок» Россию в представлениях Алексея Петровича, иначе чем нисходящей линией развития назвать нельзя.

Третья группа вербализаторов концепта «Развитие» в произведениях В. Распутина состоит из единиц, в значении которых нет указания на направление развития. Связь этих единиц с ядром поля осуществляется за счёт сем, указывающих на переход объекта развития из одного состояния в другое.

Значительная часть (71 употребление) вербализаторов третьей группы объединяется в лексико-фразеологические группы (ЛФГ) со следующими интегральными семами:

– ‘переходить/перейти из одного состояния в другое’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *заделаться, измениться, меняться, оборотиться, сделаться, стать* (в значениях ‘сделаться, перейти из одного состояния в другое’ и ‘вспомогательный глагол со значением начала действия или перехода от одного действия к другому’), *становиться, перейти, переходить, превращаться, превратиться, развиваться*; причастий *выраставший (в кого), превратившийся, превращающийся, преобразившийся*; деепричастий *превращаясь, сделавшись*;

– ‘переводить/перевести в другое состояние’. Эта сема отмечается в значениях глаголов *переводить, повернуть, превратить, преобразжать, сделать, создавать, сотворить*; причастия *превращённый*.

Перечисленные здесь вербализаторы концепта имеют конструктивно ограниченное значение, которое полностью раскрывается только в сочетаниях с другими словами. При рассмотрении этих единиц как вербализаторов концепта следует учитывать, что они обозначают лишь факт перехода объекта из одного состояния в другое, а характеристика исходного и конечного состояний может быть получена из значений слов, сочетающихся с данными вербализаторами концепта. Исходное и конечное состояние объекта оценивается автором, который выступает как наблюдатель процесса развития. Именно он (иногда словами своих героев определяет) направление развития. Например, при характеристике развития школы В. Распутин пишет: «*Родная история, литература превратились в бросовые, третьестепенные предметы, доказавшие свою несостоятельность в подготовке граждан глобального общества*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 26]; «*Да и сама школа стала как старая кляча, неспособная тянуть телегу со всеми, кто в неё понавскакивал. А упадёт она от бессилия, эта кляча, и добьют, исколют до смерти своими острыми указками расплодившиеся “культурологи” и потребуют огонь-скакуна, у*

которого бы искры летели из-под копыт, когда помчит он по безбрежным мировым нивам» [Дочь Ивана, мать Ивана: 85]. Для писателя такой поворот развития образования – безусловный регресс, который влечёт за собой духовное падение подрастающего поколения.

Различие между тем, как компоненты этих ЛФГ вербализуют представления о развитии, заключается в соотношении участников процесса. В значении глаголов первой ЛФГ субъект и объект совпадают, в значении второй – нет. Анализируя состав группы глаголов, обозначающих нисходящую линию развития, мы отмечали, что в произведениях В. Распутина преобладают единицы, характеризующие развитие как процесс, субъект и объект которого совпадают. То же относится и к глаголам, в значении которых нет указания на направление развития.

В контекстах, в которых функционируют переходные глаголы и причастия, как правило, объекты развития (Ангара, кинотеатр «Пионер», школа) оцениваются как беззащитные жертвы произвола: *«Они уже давно не возмущались тем, что нельзя эту воду [из Ангары] пить, что нельзя войти в неё, чтобы окунуться, что так и не нарастила она за тридцать с лишним лет чистых берегов с песочком и камешком, что нельзя на неё помолиться и поутру сбегать к ней за радостью, что **превращена** она только в дорогу для сплава – ко всему они притерпелись. И упал широкий и яркий отсвет заката на неё, возжѐг небесным сиянием – и снова показалась родной и живой. Если уж небо не отказалось от неё и вон как разукрасило – им ли отказываться?! Не её вина, что **превратили** её в огромный, уродливый и грязный разлив, называемый водохранилищем, что отняли у неё звонкую переливчатую песню, с которой она бежала»* [Вечером: 94]; *«Вышел к кинотеатру “Пионер”, где прежде показывали детские фильмы. Иван захватил ещё то благополучие “Пионера”, когда тут бывало шумно, чинно и празднично <...> Но теперь, конечно, “Пионеру” каюк. И как это самое невинное существо умудряются **превратить** в самую поганую лоханку, что за мстительный закон тут действует?! Весь город знал, что “Пионер”, не поменяв имени, превратился в*

притон наркоманов и проституток школьного возраста и на дискотеках разыгрывается здесь такое “кино”, что только “туши свет” и больше ничего» [Дочь Ивана, мать Ивана: 78].

К спрягаемым глагольным формам, причастиям и деепричастиям с интегральными семами ‘переводить/перевести из одного состояния в другое’ и ‘переходить/перейти из одного состояния в другое’ как средствам вербализации концепта «Развитие» примыкает группа наречий (*не так, по-другому, сейчас, теперь, уже*). Общим для этих групп вербализаторов является то, что и те, и другие лишь указывают на факт свершившегося перехода объекта из одного состояния в другое, не характеризуя эти состояния: «*Выдумка **теперь** значит многое, она стиль жизни, апофеоза, как говорят философы, витрина успеха, водружение знамени над рейхстагом. Выдумка в своих хитрых ходах и смелых решениях доходит до того, что больше нечем на неё отозваться, кроме как с восхищением и завистью ахнуть<...> Покорив все мыслимые вершины, утвердившие тщеславие и авторитет первых сердец, выдумка вдруг кинулась в низины<...>*» [Новая профессия: 6]. Наречие *теперь* в данном фрагменте функционирует как средство вербализации представлений о развитии, указывая на то, что в данное время объект изменился, перешёл в другое состояние по сравнению с тем, что было раньше. То же значение имеют наречия *сейчас* и *уже*: «*Замараевские: муж и жена Темниковы, он – инженер в леспромхозе, она – бывший врач. Но это ещё по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них **сейчас** кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта и поговаривали, что закроют и фельдшерский» [Нежданно-негаданно: 7]; «*Сегодня это **уже** не тот город, что был вчера, и завтра будет не тот, что сегодня. В нём так многое меняется, что, если бы удалось подсчитать, выстроить эти перемены в один ряд и окинуть взглядом, от удара долго бы не пришёл в себя. Но они рассеяны среди прежнего и среди прежнего принимаются за естественное и неизбежное обновление клеток одного и того же организма, хотя, может быть, это **уже** другой организм.**

Может быть, раком страдают не только люди, но и города, государства, только “раковые” города живут дольше» [Новая профессия: 20-21]. Данные наречия как вербализаторы концепта нуждаются в уточнении своего значения контекстом. Они выполняют роль своеобразного сигнала, указывающего на то, что в данном фрагменте идёт речь о развитии. Эти наречия являются периферийными элементами ЛФП *Развитие*. Их функционирование в качестве вербализаторов концепта всегда «подкрепляется» употреблением единиц, имеющих более тесную связь с ядром поля (в предыдущих цитатах такими единицами являются *доходит до.., бывший, ужали, меняется, перемены, обновление* и др.).

Имена существительные, вербализующие концепт «Развитие» без указания на направление этого процесса, объединяются в группы со следующими интегральными семами: ‘изменение’ (*развитие, изменение, перемена, воспитание, перестройка, революция*) и ‘субъект развития’ (*воспитатель, преобразователь*).

Существительное *изменение* и его синоним *перемена* являются родовыми именами для ключевого слова анализируемого концепта. Существительные *воспитание, перестройка, революция* – видовые имена, гипонимы гиперонима *развитие*, характеризующие разновидности процесса перехода объекта из одного состояния в другое.

Четвёртую группу вербализаторов концепта составляют единицы, находящиеся на периферии ЛФП *Развитие*. В эту группу входят, во-первых, единицы, обозначающие отсутствие или недостаточность развития там, где оно мыслится возможным или даже обязательным, и, во-вторых, крылатые выражения (КВ), в семантике которых нет указания на процесс развития, но которые в контексте распутинских произведений становятся выразительным средством вербализации анализируемого в данной работе концепта.

Единицы, обозначающие отсутствие развития там, где оно мыслится возможным или даже обязательным (11 единиц в 12 употреблениях), семантически связаны с антонимами ядра (*неизменность, постоянство,*

неразвитие). Они представлены следующими группами вербализаторов концепта «Развитие»:

- причастия *невыстряпанная, неодрябшая, не испорченная*, характеризующие отсутствие во внешнем облике героинь возможных проявлений влияния возраста и жизни, и *незаживающий, несозревший*, характеризующие отсутствие изменений чувств или ума персонажей;
- глаголы *остановиться, сохраниться, не опали (ангельские крылышки)* и процессуальная ФЕ *в тело не мог войти*;
- прилагательное *безграмотный*;
- наречие *по-прежнему*.

У большинства единиц данной группы периферийное положение в ЛФП *Развитие* обусловлено семой 'отсутствие', которую вносят в семантику единиц префиксы *не-*, *без-* и частица *не*. Соответствующие единицы без этих компонентов (*выстряпанный, одрябший, испорченный, заживающий, созревший, грамотный, войти в тело* в значении 'поправляться, крепнуть; полнеть') имеют более тесную связь с ядром.

Единицы, обозначающие недостаточную степень развития (11 единиц в 13 употреблениях), занимают промежуточное положение между вербализаторами предыдущей группы, обозначающими отсутствие развития, и основным составом ЛФП. У большинства единиц данной группы сема 'неполнота, недостаточность по сравнению с какой-либо нормой' вносится префиксом *недо-*:

- ЛФГ причастий *недоношенный, недоразвитый, недораспустившийся, недорождённый*;
- ЛФГ прилагательных *недозрелый, недоспелый*;
- ЛФГ существительных *недолетка, недоношенность, недоросль* (в значении 'глуповатый юноша-недоучка'), *недоросль* (в диалектном значении то же, что *недорослый*; 'человек маленького роста');
- глагол *отставать* в значении 'в своём развитии, деятельности остаться позади других, дать себя обогнать'.

Четырнадцать КВ, включённых нами в число периферийных вербализаторов концепта (*пленение египетское, обетованная жизнь, райские кущи, сады эдемовы, плодородные палестины, тьма египетская, власть фараонова; каменный век, ледниковый период, великое стояние через дорогу, Все ушли на аукцион* – трансформация КВ *Все ушли на фронт, великое переселение народов, новые люди*, не имеют в своих значениях семы ‘развитие’, однако в контексте распутинских размышлений становятся средствами характеристики современного этапа развития российского общества.

Итак, проанализировав состав ЛФП *Развитие*, вербализующего соответствующий концепт в творчестве В. Распутина 1994–2003 гг., и выявив основные семантические группы вербализаторов индивидуального концепта «Развитие», можем сделать предварительные выводы о его специфике. Прежде всего обращает на себя внимание преобладание лексических и фразеологических единиц, объективирующих представления о нисходящей линии развития, что свидетельствует о важности данного фрагмента в концепте В. Распутина. Представления о переходе различных объектов в худшее по сравнению с исходным состоянием занимают в индивидуальном концепте В. Распутина центральное место в отличие от инварианта анализируемого мыслительного образования, в котором представления о регрессивном развитии находятся на периферии.

Вербализация представлений В. Распутина о духовном развитии человека

Духовное развитие человека, то есть необратимое закономерное изменение его сознания, мышления, психики, характера, находится в центре внимания В. Распутина. Представления о духовном развитии человека являются одной из наиболее важных составляющих концепта «Развитие», вербализованного в произведениях писателя 1994–2003 гг. Сам В. Распутин в 1980-е гг. говорил: «Речь [в произведениях писателя – С. А.] идёт о духовном мире миллионов людей, который преобразуется, уходит и завтра будет уже не таким, как сегодня. Кто, как не писатель, запечатлеет этот нелёгкий процесс?» (цит. по [Овчаренко 1984: 10]). Показать преобразование духовного мира

персонажей остаётся задачей автора и на рубеже второго и третьего тысячелетий.

Именно во фразах, посвящённых духовному развитию человека, В. Распутин в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» дважды употребляет имя анализируемого в данной работе концепта, два однокоренных ему глагола (*развивалась, доразвивались*) и прилагательное *недоразвитая*. Многозначное существительное *развитие* функционирует в текстах писателя в двух значениях. В словах Ивана, обращённых к матери, представлен ЛСВ ‘степень сознательности, просвещённости, культурности’, причём актуализируется сема ‘просвещённость’:

«– Я теперь к каждому слову прислушиваюсь. Вот “бездна”. Что такое “бездна”?»

– Ты у меня, что ли, спрашиваешь?

– У тебя. Посмотрю на твоё развитие...

– Я те покажу развитие... Доразвивались... Дальше некуда. Ахнули в пропасть – вот тебе и “бездна”» [Дочь Ивана, мать Ивана: 30].

Ивану нравится «вслушиваться в слова» и хвастаться своими лингвистическими находками перед матерью. Для него слово *развитие* не наполнено особым смыслом, но Тамара Ивановна в ответной реплике актуализирует иное значение данного слова. Нам представляется, что в реплике Тамары Ивановны слово *развитие* функционирует в основном (по построенной нами иерархии) значении имени анализируемого концепта – ‘закономерный переход кого/чего-либо из одного состояния в другое’. Появление в речи Тамары Ивановны глагола *доразвивались* в значении ‘получили полное развитие’ (у Распутина – ‘получили полное негативное развитие’) и следующих слов «*Дальше некуда. Ахнули в пропасть*» свидетельствует о том, что она размышляла о том, куда направлено развитие человека, к чему оно приводит. И, очевидно, героиня пришла к печальным выводам. То, что для Ивана – случайно подвернувшееся слово, для Тамары Ивановны (и для автора, создавшего этот образ) – предмет нелегких размышлений.

Второе употребление имени анализируемого концепта нами отмечено в диалоге Дёмина и Егорьевны о «происшедших в дамах изменениях»:

« – <...> мы скоро пощады запросим: не курить при нас. Зачадили весь белый свет.

– Странно. Кто из нас курит – ты или я?

– Это ни о чём не говорит.

– Да как же не говорит?!

*– А так, что мы с тобой, как два сапога пара, не в счёт. Ты сапог с левой ноги, задержалась в **развитии** в одну сторону, а я сапог с правой ноги, я задержался в **развитии** в другую сторону.*

*– Я сапог с левой ноги... Спасибо. Я, значит, задержалась в **развитии** в левую сторону. В каком, интересно, виде я теперь нахожусь?*

Дёмин загоготал и, вытянув над столом руки, ухватил Егорьевну за плечи и усадил её.

*– Конечно же, – пошёл он на попятную, – ты избежала **дурного развития** и сохранилась в образе самой непорочной женщины» [Дочь Ивана, мать Ивана: 60].*

В этом диалоге слово *развитие* включено в ироничный контекст и не несёт на себе того трагического отпечатка, который чувствуется в употреблении этого же существительного Тamarой Ивановной. Дёмин, признавая возможность разных направлений развития, не берёт на себя ответственности определять, где его восходящая, а где нисходящая линии, правда, употребляет всё же прилагательное с оценочной семантикой – *дурное развитие*. Герой вполне дипломатично ограничивается указанием на две стороны этого движения, в отличие от Тamarы Ивановны, которая в разговоре с сыном бескомпромиссно характеризует направление развития человека как движение в пропасть. Дёмин, говоря о «происшедших в даме изменениях», далёк от того, чтобы считать это падением в пропасть. Однако в данном фрагменте актуализируется то же значение, что и в цитируемых выше словах героини. Таким образом, функционирование в повести В. Распутина

существительного *развитие* и глагола *доразвивались* подтверждает, что современные толковые словари фиксируют не все значения слова *развитие* и в русской концептосфере, а также в индивидуальной концептосфере В. Распутина имеют место представления о нисходящей линии развития, которые находят отражение в идиостиле писателя.

Фрагмент ЛФП и соответственно концепта, отражающий представления о развитии ума человека, вербализованные в произведениях В. Распутина 1994–2003 гг. представлен следующими единицами: *умнеет, поумнел; учишь, да не заучивайся; умишко (детский, несозревший), голова отстаёт*. Интеллектуальное развитие человека в произведениях В. Распутина в основном характеризуется в репликах персонажей. Например, в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» отец главной героини размышляет о пользе и вреде книг, чтение которых традиционно считается основным средством развития ума: «– Я уж перестал понимать, Толя, хорошо ли это – книги. Говорят: плохому не научат... смотрю я: запутать могут, хорошее с плохим воедино смешать. <...> Николай у нас книжки читал... я радовался, пускай умнеет парень. А он вишь до чего **поумнел!** Шире головы. Он ещё там, дома, – домом Иван Савельевич до сих пор называл деревню на Ангаре – блажить стал. Задумываться начал. Наманят, наманят книги, посулят с три короба, а жизнь, она другая» [Дочь Ивана, мать Ивана: 65].

Конечно, герои В. Распутина не выступают против умственного развития человека. Вредны для духовного развития человека, по мнению персонажей анализируемых произведений, только излишние знания, делающие ум «шире головы», манящие свернуть с «родословной дорожки». Тамара Ивановна в словах, обращённых к сыну, высказывает то же отношение к развитию ума, что и её отец в предыдущей цитате: «Ладно, хватит выставляться-то перед матерью. **Учишь, да не заучивайся, дальше ума не лезь**» [Дочь Ивана, мать Ивана: 31].

Стремление залезть «дальше ума», по мнению Тамары Ивановны и её отца, до добра не доведёт, но жить с «умишком детским, несозревшим» не

лучше. Об этом размышляет старуха Наталья в рассказе «Женский разговор»: *«Девка она [Вика] рослая, налитая, по виду – вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстаёт. Всё по привычке задаёт вопросы там, где пора бы с ответами жить»* [Женский разговор: 8]. История Вики, да и Светки из повести «Дочь Ивана, мать Ивана» показывает, что опасность сбиться с пути подстерегает не только книголюб с умом «шире головы», но и (в ещё большей мере) девчонок с «отстающей головой».

Развитие умственных способностей, образованность, начитанность в духовной эволюции человека занимают отнюдь не основное место. Гораздо более важным в представлениях о духовном развитии, вербализованных в анализируемых произведениях, является формирование традиционных нравственных устоев, без которых человек неминуемо сойдёт с пути. Этой мыслью завершает долгую беседу с внучкой старуха Наталья: *«Вот поживёшь с моё, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить с внучкой. И скажет она тебе: забавная ты, старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизнь – спаси и помилуй... Устою возьми. Без устою так тебя истреплет, что и концов не найдешь»* [Женский разговор: 12].

Формированию в душе современного человека традиционных нравственных устоев мешает устремлённость человека к «неизвестной жизни». «Устоя» и устремлённость – два противоречащих друг другу начала духовного развития человека, ценности двух культур. Противоречие этих начал проявляется в беседе старухи Натальи и её внучки Виктории:

«– Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живёшь. Женищина сейчас ценится... та женищина ценится, которая целе-устремлённая.

– Куда стрелёная?

– <...>Целе-устрем-лённая – это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь... сильный. <...>

– Ну и что, – сказала она [Наталья] потом. – И такие были. Самые несчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется.

Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту цель-то, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету не взвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе» [Женский разговор: 10].

Устремлённость к цели – главная черта, которую должна развить в человеке современная жизнь. Эта устремлённость нужна, чтобы ничего другого, кроме своей цели, человек не замечал. А замечать, что происходит вокруг, человеку необходимо – об этом мысли старухи Натальи, в которых ясно слышатся интонации самого автора: *«На какой-то холодный продуваемый простор выгнан человек, и гонит его неведомая сила, гонит, не давая остановиться. Сама жизнь гончей породы. Только в гоне, среди множества бегущих и забывается он, бедняга, только тогда и кажется ему, что он живёт. А как остановится – страшно. Видно, как всё вокруг перекошено, запущено, перекручено»* [Женский разговор: 10]. Старухе Наталье ясно, что не человек стремится к цели, а жизнь его гонит. Автор всем своим творчеством подводит читателя к мысли, что усовершенствоваться духовно человек может, только если остановится, выйдет из этой невыносимой гонки, в которую превратилась его жизнь, и вернётся к исконным русским духовным ценностям.

Представления о развитии характера человека вербализованы в основном в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» в описании Тамары Ивановны и Ивана. В характерах этих героев много общего, и главное, что их объединяет, – прочная «сердцевина», описывая которую автор использует слова с семами ‘твёрдый’, ‘крепкий’: *кремень, кость, твёрдость, прочная, окрепшая:*

«– Ты знаешь, Стёпа, – говорил он [Иван Савельевич] чуть погода миролюбиво, – Томка у нас в тебя. У неё будет сильный характер, на ней не поездишь.

*Характер у Тамары Ивановны, и верно, был материнский, но как бы **обработанный** отцовскими инструментами, всякими там крошечными напильниками, наждачными шкурками, лобзиками – всем тем, что в огромном количестве, частью приведённом в порядок, а частью разбросанном как*

попало, жило в мастерской. И всё же там, внутри характера, находился кремень» [Дочь Ивана, мать Ивана: 17]; «<...> какая-то прочная сердцевина, **окрепшая** в кость, чувствовалась в нём [Иване], и на неё, как на кокон, **накручивается** всё остальное жизненное крепление. Понятно, что это крепление ложилось пока слабо, кое-где топорщилось, кое-где высовывались петли, но оно было на месте, на котором и надлежало ему быть. Это главное» [Дочь Ивана, мать Ивана: 28].

Итак, в характерах матери и сына одинаковая прочная сердцевина. Возможно, эта та самая «устоя», о которой говорила старуха Наталья своей внучке Виктории. Однако развивались характеры Тамары Ивановны и Ивана по-разному. Если у героини повести характер изначально отличался твёрдостью и был «обработан», немного смягчён мудрым отцом с его мягким характером, то у её сына твёрдость формировалась в результате материнских уступок: «Иван в малые годы был более самостоятелен и умел настоять на своём. Захочет чего – вынь да положь ему. Тамаре Ивановне постоянно было некогда, она, торопясь отойти, уступала, и парнишка **всё набирал и набирал твёрдости**» [Дочь Ивана, мать Ивана: 26]. Таким образом, в одном случае в развитии характера принимает важное участие другой человек (в данной ситуации отец), в другом случае влияние окружающих на развитие характера минимально. Вообще о методах воздействия на развитие характера В. Распутин не пишет и лишь пренебрежительно упоминает воспитательные беседы, которые должны провести в милиции с «глубоко погрязшими в пороке» детьми: «<...> **провели мимо группу ребятшек лет от восьми до одиннадцати, имеющих варначий и весёлый вид, очень довольных тем, что их сграбастали и будут вести с ними воспитательные беседы, глубоко уже погрязших в пороке, с мордашками, на которых впечаталась ранняя опытность**» [Дочь Ивана, мать Ивана: 18–19]. Воспитательные беседы для них – своеобразное развлечение, не случайно у Тамары Ивановны, увидевшей эту группу, возникает ощущение, что они собрались в пионерский лагерь имени Дзержинского. Исправить характеры этих детей уже невозможно, и уж тем более воспитательными беседами.

На развитие характера персонажей влияют прежде всего жизненные обстоятельства. Например, в характере Коли Молодцова из рассказа «Поминный день» развилась едкость в результате того, что его жена внезапно выросла, как на дрожжах, и «заслонила» мужа в глазах окружающих: «— *Моя-то супруга...— выбрасывал указкой руку с другой стороны стола Коля Молодцов, совсем не молодецкого вида парень, по зависимому своему положению **выраставший** в едкого мужика. Но и правда: какую-то роль ему брать надо было, ещё два года назад его Любка действительно была «соплюшкой» — и вот те на!* — выросла, как на дрожжах, и, если безропотно давать показывать себя рядом с нею мальчишкой, станешь посмешищем» [Поминный день: 19–20].

Процесс изменения характера для героев иногда мучителен. Так, через боль и страдание формируется новый характер Светки в повести «Дочь Ивана, мать Ивана»: «*Она с трудом взбирается с помощью Николина на высокое сиденье “Нивы”, и рыдания снова принимаются сотрясать её маленькое изнурённое тельце, пляшут даже ноги. Николин, набросив руки на баранку и не делая попыток успокоить Светку, терпеливо ждёт. Он слишком хорошо понимает, что у девчонки это прощание с собой, и с той, какой она была раньше и во что **превратилась** в последний месяц, и что это в корчах и муках **рождается** новый человек. Каким он будет, неизвестно. Но чем страшнее муки, тем больше **перемены***» [Дочь Ивана, мать Ивана: 76].

Какие же изменения происходят в характере Светки? Если до бед, свалившихся на неё, «*Светка **росла** мягкой, как воск, любила приласкаться, засыпала у матери на руках*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 26], то после всего пережитого характер героини становится жёстче, что проявляется в её новом тоне, неприятном, безучастном: «*<...>позвонила тогда же, после Нового года, Светка и облила холодной водой:*

– *Папа, ты помнишь Николина... ну того, из областной прокуратуры?<...> Убили его.*

– *Как ты знаешь? За что? — Анатолий встревожился: не связано ли это как-нибудь с ними — со Светкой и Тamarой Ивановной?*

– По телевизору только что сказали. А за что?.. Въехал, наверное, куда не просили...

Анатолия поразили и этот язык, какого ещё совсем недавно не было у Светки, и тон её, тоже новый, неприятный, в котором жалость звучала спокойно, почти безучастно» [Дочь Ивана, мать Ивана: 95].

Представления о развитии сознания, мышления, психики, характера человека соответствуют инвариантному, общеязыковому концепту «Развитие». Это подтверждается толкованием лексического значения имени концепта (а именно семемами ‘действие, направленное на то, чтобы довести кого/что-либо до определённой степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности’ и ‘степень умственной, духовной зрелости, просвещённости, широта кругозора’), его парадигматическими связями (см. анализ сочетаемости и ассоциативных связей слова *развитие*), а также пословицами и поговорками, составляющими интерпретационное поле концепта (*Беды мучат, да уму учат, За одного битого двух небитых дают, да и то не берут* и др.).

Специфическим для индивидуального варианта концепта «Развитие» нам представляется придание гораздо большего значения формированию нравственности человека, чем его образованию.

Наиболее ярко специфичность представлений, составляющих концепт какой-либо личности, проявляется в образной составляющей данного мыслительного образования. На уровне исследования лексических и фразеологических единиц как вербализаторов концепта образность проявляется прежде всего в употреблении метафор. Традиционно метафора в лингвистике рассматривалась как перенос названия с одного предмета на другой на основе их сходства. В когнитивной лингвистике было разработано понятие концептуальной метафоры. Дж. Лакофф и М. Джонсон предложили определять концептуальную метафору «как способ думать об одной области через призму другой, перенося из **области-источника** (source) в **область-мишень** (target) те когнитивные структуры (фреймы, образные схемы и т. п.), в терминах которых структурировался опыт, относящийся к области-источнику. <...> Метафора

основана скорее на соответствиях в нашем опыте, чем на сходствах. Область-источник и область-цель по своему существу не связаны» [Кобозева 2000: 171–172]. Такое понимание метафоры позволяет рассматривать случаи функционирования метафорических наименований (знаков вторичной номинации) в различных текстах как отражение связей между концептами, существующих в концептосфере автора. У адресата высказывания, естественно, должен быть подобный опыт, чтобы он мог восстановить связь между областью-источником и областью-мишенью. Концептуальные метафоры, как и метафоры в традиционном понимании, могут быть образными или утратившими образность. Нас интересуют образные концептуальные метафоры как специфические для В. Распутина вербализаторы концепта «Развитие».

Рассмотрим отмеченные нами в анализируемых произведениях концептуальные метафоры с областью-мишенью *духовное развитие человека*. Областями-источниками этих метафор являются «обработка материалов», «передвижение» и «превращение ангела в человека».

Метафорические значения слов *впечататься, истрепать, накручиваться, обработанный, отшлифованный, окрепший, труха* служат отражением концептуальной метафоры «духовное развитие человека – обработка материалов». Субъектом этой обработки в представлениях В. Распутина может быть сам человек, чей характер подвергается воздействию (а именно эта составляющая духовной сферы мыслится как объект обработки), другие люди или жизнь. На эту особенность процесса формирования характера героев В. Распутина мы уже обращали внимание выше. Поэтому отметим здесь только, какими методами осуществляется обработка и к каким результатам она приводит. Слова *впечататься, истрепать, отшлифованный* указывают на связь представлений о формировании характера с представлениями о достаточно грубом воздействии, оставляющем на объекте обработки заметные следы: «*Дежурная, красивая, вся подтянутая с ног до головы, отшлифованная, выдрессированная в вежливости молодая женщина, объясняла, <...> что места в терапевтическом сегодня нет*» [В больнице: 19].

Обработка характера может его улучшить (по крайней мере, во внешних его проявлениях), как в предыдущей цитате, или ухудшить, как в случаях функционирования слов *впечататься* («*впечаталась ранняя опытность*») и *истрепать* («*Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь*»), рассмотренных выше. Слишком сильное воздействие может уничтожить человека, превратив его в труху. Это представление о развитии человека проявляется в словах Дёмина: «*Дурак-то что... дураком тоже можно доброе дело закрепить. Я вот ржавый гвоздь, а потребуется мной доску прибить, я держать буду. А кто человека в себе потерял... это гниль, **труха**, одна видимость*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 91].

Отражением концептуальной метафоры «духовное развитие человека – передвижение» являются единицы *ахнуть в пропасть*, *выгибать*, *падать*, *утонуть (в телевизоре)*, *дойти до края*, *направлять*, *сбиться с пути*, *вытянутый (из детства)*, *вознесшись*, *соступивший с проложенной дороги*. Данные вербализаторы концепта «Развитие» показывают, что В. Распутин, рассуждая о развитии, использует фрейм *Передвижение*, одним из терминальных узлов которого является направление движения. Духовное развитие человека мыслится как движение по дороге (горизонтальное передвижение), падение вниз или движение вверх (вертикальное передвижение).

Представление о развитии человека как о движении по дороге отражено в размышлениях Ивана Савельевича: «*И вот я думаю: человек от рождения, от родителей **направлен** по одной **дорожке**, по родословной сказать, а книжки его **выгибают** на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушёл, так он Ломоносов был, кругом его по учёной-то части редколесье было. Он почему ещё **не сбился с пути**... он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из неё вывел. А наши что? Они прямо в чащобу **устремляются** таких же, как они, без царя в голове, они все голодные до неизвестной жизни...*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 66]; в авторской характеристике Светки: «*И совсем иное дело [чем брат Иван] – девчонка шестнадцати лет,*

хорошенькая, нетвёрдая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги. Она пошла в школу рано, шести лет, и рано же, после девятого класса, бросила школу, заразившись поветрием, неведь откуда налетевшим, что учиться необязательно» [Дочь Ивана, мать Ивана: 4]. Согласно представлениям, отражённым в данных метафорических высказываниях, перед каждым человеком проложена дорога, с которой легко сойти, и это неминуемо вызовет несчастье. При этом причины «сворачивания» с проложенной дороги могут быть разными: если беды Николая (размышления о судьбе которого вызвали приведённое высказывание Ивана Савельевича) обусловлены излишней тягой к книгам, то Светка, наоборот, не пожелала доучиться. Цель же у всех «сворачивающих» одна – познать «незнаемую жизнь».

Представления о духовном развитии человека как вертикальном передвижении связаны преимущественно с негативными изменениями в человеке. Представления о духовном регрессе как движении вниз (*ахнуть в пропасть, падать, утонуть, погрязнуть*) соответствуют инварианту концепта «Развитие».

Специфическим для концепта В. Распутина нам видится функционирование знака вторичной номинации *вытянутый* в следующем контексте: *«У Сени не хватало сердца смотреть на мордашки девчоночек, как за крючок с наживкой **вытянутых** из детства, где только в куклы играть, а они уж через такие игры проходят, через такое воспитание!..»* [Сеня едет: 7]. Данная метафора связана с представлениями о грубом вмешательстве в развитие человека, «вырывании» его из естественного хода жизни.

Концептуальная метафора «духовное развитие человека – превращение ангела в человека» отражается в двух высказываниях В. Распутина из повести «Дочь Ивана, мать Ивана» о взрослении героинь: *«Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нём. Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже, но кончалось, за малыми исключениями, одинаково – загубленной жизнью и бабьей обездоленностью. **Повыдергают** у неопытной*

ещё, ещё не запасшейся умишком девчонки пёрышки, а там лети» [Дочь Ивана, мать Ивана: 8]; *«Дочь принялась льнуть к отцу рано, ещё не опали ангельские крылышки за плечами, почуяв чистым сердечком его доброту и покладистость и разглядев особое непрекословие в отношениях с матерью»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 16]. Данные высказывания концептуально связаны – отражают представление писателя о том, что в детстве человек подобен ангелу, а затем, взрослея, утрачивает это подобие. Превращение ангела-ребёнка во взрослого человека может быть естественным, как это произошло с Тамарой Ивановной, когда «ангельские крылышки опадают сами», или неестественным, вызванным грубым посторонним вмешательством, как случилось со многими девчонками (первая цитата) и как это произошло с дочерью Тамары Ивановны, когда крыльев «бывших ангелов» лишает посторонняя грубая сила.

*Вербализация представлений В. Распутина
о физическом развитии человека*

В физическом развитии человека, судя по анализируемым текстам, для В. Распутина важны определенные этапы, ступени, через которые он проводит своих персонажей и на которые обращает внимание читателей. На этих этапах происходят наиболее заметные физические изменения персонажей.

Первым этапом в физическом развитии человека, представления о котором вербализованы в творчестве писателя, является рост детей – Кати из рассказа «Нежданно-негаданно», Ивана из повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Данный фрагмент анализируемого нами концепта вербализован ЛФГ глаголов со сквозной семой ‘расти/вырасти’: *возрасти, вымахать, вытянуться, подрасти, расти, вылезти, подняться*. У последних двух глаголов данной группы сема ‘расти/вырасти’ в узуальном употреблении отсутствует, но в употреблении В. Распутина эти глаголы вербализуют его представления о физическом росте человека: *«К неполным пятнадцати годам Иван поднялся в высокого и красивого парня. Всё в нём сидело плотно, спина не прогибалась, как обыкновенно у высоких подростков, руки и ноги не вихлялись, будто плохо ввинченные, шея не вытягивалась по-петушиному. Недорослем его не назовёшь.*

Больше всего Тамара Ивановна гордилась ростом сына: она и Анатолий обошлись средним ростом, Светка вышла в них, а Иван – надо же! – как на опаре **поднялся** в полную и завидную статью» [Дочь Ивана, мать Ивана: 27]; «Дёмин смотрел-смотрел однажды на Ивана, **вылезшего** из всех отверстий своего старенького пиджака, и окликнул Анатолия: “Ты посмотри, отец, ты всё его за цыплёнка держишь, а он уж в петуха **вымахал**. Ты посмотри: ему в этой поддёвке и пуна не спрятать”. И верно, Иван только за последние месяцы без матери **вымахал** так, что не наахаешься, а взглянуть на себя не умел, этим всегда занималась мать» [Дочь Ивана, мать Ивана: 85].

Дети в произведениях В. Распутина растут быстро. Это представление отражено, на наш взгляд, в семантике просторечного глагола *вымахать* и в разговорном значении глагола *вытянуться*, хотя в толкованиях этих слов сема ‘быстро’ не зафиксирована: *вымахать* (прост.) 3. ‘вырасти, стать высоким’ [СОШ: 115]; *вытянуться* 4. ‘то же, что вырасти’ (разг.) [СОШ: 121].

В. Распутин в рассказе «Поминный день» даёт ответ на вопрос о причине роста ребёнка и всего живого. Бронислав Иванович в беседе с Сеней Поздняковым говорит: «Мне, маленькому, всегда казалось, что всё в мире растёт от похвалы. Приласкают ребёнка – он **подрос**. Так и телёнок, жеребёнок... кто-нибудь их должен приласкать. Так и трава, деревца – у всех есть попечение, родительство. Я был уверен, что невысокий рост – от недостатка внимания» [Поминный день: 22]. Внимание, похвала, ласка должны сопровождать развитие ребёнка. Косвенно эта мысль повторяется в рассказе «Нежданно-негаданно»: девочка Катя попадает в семью Поздняковых, встречает внимание, ласку, попечение и растёт, хотя взрослые герои не верят своим глазам: «Катя загорела и **вытянулась**. Или уж казалось, что вытянулась, потому что привыкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живе́й она стала точно. Но всё ещё странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью» [Нежданно-негаданно: 23].

Следующий этап в физическом развитии человека показан в произведениях В. Распутина только на примере женских персонажей – Вики из

рассказа «Женский разговор» и Люси из повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Это период взросления, перехода девочки в невесту, женщину, период созревания. Сопоставление физического развития юных героинь и созревания плодов выражается употреблением причастия *вызревшая*: «<...> [Тамара Ивановна] сбегала на соседнюю улицу к Светкиной подружке Люсе, рослой и пышной девчонке, которую можно было принять за совсем **вызревшую** женщину, если бы не откровенно кукольное лицо – круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками» [Дочь Ивана, мать Ивана: 4]. На этом этапе внешние изменения юных героинь опережают внутренне созревание: «Девка она [Вика] рослая, налитая, по виду – вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстаёт. Всё по привычке задаёт вопросы там, где пора бы с ответами жить» [Женский разговор: 8]. «Вызревшая», «налитая» внешность и «умишко детский, несозревший» – таковы юные героини В. Распутина. Они спешат стать взрослыми, считая, что физического созревания для этого достаточно. Но не такой видится девушка-невеста представительницам старшего поколения, не так она должна развиваться, по традиционным народным представлениям, высказать которые писатель доверяет старухе Наталье и Тамаре Ивановне: «[Наталья – Вике] К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то, – и подчеркнула “родного” и “суженого”, поставила на подобающее место. – Прижаться надо, поплакаться сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тут, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя **взросла**, всю себя по капельке, по зернышку для тебя **сневестила**» [Женский разговор: 9];

«– А почему девушку называют красной? – не отставал Иван; очень ему нравилось учительствовать перед матерью, так и приплясывал он перед нею <...> – Красна девушка – это что?

– На морковке да на свёкле со своей грядки **возросла** – вот и красная.

– Красная – это красивая. Так в старину говорили. Красная площадь в Москве – не от морковки же она красная... А потому что выстроена красиво.

– *Площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки, – упёрлась Тамара Ивановна. – Тут уж меня не перебьёшь. От огородного, от таёжного, от чистого воздуха – вот она откуда, краса. Никакой мазни не надо. Лицо белое – от коровки, щёки жаром пышут – от чего же ещё, как не от неё, не от морковки; глаза чисто глядят – утром встанет пораньше да умоеет свои глаза свежей росой, они и рады-радешеньки» [Дочь Ивана, мать Ивана: 31]. Девушка должна «взрастать» неторопливо, «по капельке, по зёрнышку» становиться невестой, но в современной жизни, которую писатель сравнивает с непогодой, на это времени нет: «*Невеста совсем юна <...> на ней нет лица, а лицо было прехорошенькое и полудикое, в котором славянская томность сошлась с азиатской дерзостью. Но в непогоду срывай плод прежде, чем он обвис, и под большими, часто моргающими глазами невесты тень, выдающая, что из неё уже испили любовь не вприглядку» [Новая профессия: 11].**

Следующие годы после созревания невест остаются вне сферы внимания писателя. Только один раз в рассказе «Поминный день» В. Распутин характеризует физические изменения молодой женщины: «*Любка Молодцова, пышная невыстрипанная молодайка, вывалив на честной народ огромную белую грудь, кормила двухмесячного парнишку <...>*

– *Моя-то супруга... – выбрасывал указкой руку с другой стороны стола Коля Молодцов, <...> ещё два года назад его Любка действительно была «соплюшкой» – и вот те на! – **взросла, как на дрожжах***» [Поминный день: 19–20].

Следующий важный этап в физическом развитии человека, который характеризует В. Распутин, приходится на сорокалетний возраст. В анализируемых рассказах мы отмечаем описание физических изменений в этот период как женских персонажей, так и мужских.

Для характеристики данного этапа в жизни женщины В. Распутин использует крылатое выражение *бальзаковский возраст* и дважды (в рассказе «Сеня едет» при описании Гали и в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» при

описании Егорьевны) – фрагмент русской пословицы *Сорок лет – бабий век* <сорок пять – баба ягодка опять>: «*Это [прокурор] была женщина на исходе бальзаковского возраста, крупная, затаенная, двигающаяся осторожно, находящаяся в стадии борьбы со своими формами, выпирающими как тесто из квашонки, с загрубевшей тёмной кожей на лице и жёстким голосом*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 37]; «*И только Галя, по-прежнему красивая, прямая, выше Сени, с сильным телом, **неразношенная**, – только Галя была хоть куда <...> **В сорок пять “баба ягодка опять”**, а сама у себя в скотницах, в огородницах, кухарках*» [Сеня едет: 6]; «*Егорьевна, сдобная, белотелая, крутозадая женщина в возрасте “бабы ягодки опять”, была замужем дважды*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 55]. И та, и другая единицы характеризуют примерно один период в жизни женщины, но по-разному. В семантике крылатого выражения *бальзаковский возраст*, функционирующего в повести В. Распутина, актуализируется сема ‘завершение расцвета’. Указание на нисходящую линию физического развития женщины усиливается употреблением существительного *исход* в значении ‘завершение, конец’, а также указанием на загрубевшую кожу и «формы, выпирающие как тесто из квашонки». Последняя цитата перекликается с описанием «пышной невыстрипанной молодойки» Любки Молодцовой из рассказа «Поминный день», которая «взросла, как на дрожжах» – то же сопоставление женского тела и теста. Но звучат они по-разному. То, что в молодой матери вызывает у окружающих восхищение, смешанное с иронией, воспринимается как расцвет, в женщине на исходе бальзаковского возраста – признак приближающейся старости.

Употребление фрагмента пословицы, характеризующей возраст женщины, отражает совершенно иные представления о физическом развитии героинь в этот период. Здесь нет места представлениям о закате, завершении расцвета. «Сорокапятiletние» героини остаются «нераздавшимися», «неразношенными». Их физическое развитие сохранило в них то, что позволяет писателю ассоциировать их, как и юных героинь, о развитии которых говорилось выше, со спелыми плодами: «*Грудастая, с полными руками и с*

ямочкой на чувствительной шее, сразу за которой начиналось изобильное плато, рослая, **раздобревшая**, но **нераздавшаяся**, словно бы только **размягчившаяся** от доброго нрава, она [Егорьевна] оставалась в той **спелости**, которая ещё брызжет соком» [Дочь Ивана, мать Ивана: 57]. Следует отметить, что «плодово-ягодные» ассоциации с данным этапом развития женщины не являются специфическими для концептосферы В. Распутина. Эти представления отражены и в просторечном значении слова *ягода* – ‘о здоровой и привлекательной женщине, девушке’, и в указанной поговорке.

О физическом развитии мужчин в возрасте сорока-пятидесяти лет В. Распутин пишет меньше, чем о развитии женщин. В этот период в мужчинах проявляются результаты прожитых лет и, как правило, не красят их: «Следователь, сидевший за столом, был из того распространённого типа мужчин, в который в схожих условиях и со схожим образом жизни к сорока годам попадают многие: рыхлое и **посиневшее** крупное лицо, лысина на голове, которую **уже** и маскировать нечем, нарочито замедленные движения, поскольку в неконтролируемом положении они нервны и суетливы, и мутный взгляд **много повидавших** глаз» [Дочь Ивана, мать Ивана: 31]). Кроме времени, на мужчин в преддверии старости накладывает отпечаток пьянство: «<...> “наш орёл” [Сеня] успел **растерять свои пёрышки**. Усохший, **потрёпанный** водкой, с затухающей порывистостью, он сохранил лишь одно – чистые свои голубенькие глазки на морщинистом лице» [Сеня едет: 6]; «Сеня опытным взглядом **поизучал** Кешу. Да, никакому богатырю выпивка **без поседа не даётся**. Кешины глаза были в красных прожилках, будто морщинки такие на глаза легли, лицо под щетиной было в ямках и буграх» [По-соседски: 20]. Физические изменения героев В. Распутина, причиной которых является водка, затрагивают не только внешность. Например, у пьющих мужиков, по мнению Сени, становится более слабым голос: «Она [корова] подошла к палисаднику, положила голову на штaketник, почесала с шорканьем шею и, едва не

доставаая до окна, взревела вдруг с такой мощью, что Сеня и бабка Наталья враз вздрогнули.

–Ну, здорова! Ну, здорова! – поразился Сеня, подумал и добавил: – Раздоенная корова завсегда горласта. Как и раздоенная баба.

–Чёй-то я не знаю, – с сомнением сказала бабка Наталья.

–*Точно. Это какой-то закон. А у мужика наоборот: если мужик пьёт, у него голос **слабнет**. До того слабнет, у бедного, что он другой раз и ответить бабе не в состоянии*» [Вечером: 92].

Однако в то же время способность выпить большое количество спиртного воспринимается героями как эталон физического состояния человека: *«Через полчаса он [Анатолий] опьянел совсем ни с чего, с двух рюмок водки. Рюмки, верно, были вместительные, пузатенькие, с какими нужна осторожность, но для мужика это всё равно только лёгкая разминка. Значит, вконец **вышел** мужик, ничего не осталось»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 57]. Изменения в физическом и душевном состоянии Анатолия Воротникова произошли под влиянием несчастий, упавших на его семью. Но весьма знаменательно, что окончательный вывод о том, что в нём не осталось мужской стойкости, герой делает не после того, как его жена, а не он, берёт оружие и мстит за дочь, а после быстрого опьянения. В целом закат физического развития мужских персонажей В. Распутина начинается раньше заката женщин.

Последний период в физическом развитии человека, который характеризует В. Распутин в своих произведениях, – старение персонажей. Изменения этого периода характеризуются писателем преимущественно на примере Агафьи из рассказа «Изба»: *«Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья **состарилась** рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в неё однажды раз и навсегда и дотаскивая до последней мочи»* [Изба: 15]; *«Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая своё сухое тело легко и быстро, она стала потеть, высохла ещё больше и **выострилась** грудью вперёд. Сама себе говорила голосом Савелия: “А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху. Вот так пополам и лопнешь”*. И

сама же себе отвечала: “Но-о, лопну! Я посередь воза никогда не лопну. Не имею такого права”.

И вдруг, ночуя в Криволицкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли руки <...> “**Вся, чё ли, вышла?**” – с ясностью думала она, совсем просто и коротко, без досады и страха» [Изба: 12].

Очень часто в представлениях о старении человека, вербализованных в произведениях В. Распутина, не разделяются характеристики физических и духовных перемен: «[Наталья] Я, древля старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. **Источилася** вся от жизни» [Женский разговор: 12]. «Источилася» – значит, с одной стороны, дошла до физического истощения, крайней слабости, с другой стороны, пережила все отмеренные ей судьбой духовные перемены.

Старые героини В. Распутина все изменения, происходящие в них, воспринимают как подготовку к смерти. Этот шаг их не пугает, а расценивается как закономерное продолжение изменений, то есть следующий шаг в развитии человека. Это отношение к смерти высказывает бабка Наталья в разговоре с Сеней:

«– Неохота помирать-то?»

– Помирать-то? – повторила бабка Наталья осторожно. Она с уважением и осторожностью относилась ко всему, что стояло рядом со смертью. – Помирать-то, Сеня, нас не спросят: охота, неохота... А я уж к такой поре **подживаюсь**, что смерть за пощадку будет.

– А всё равно от такой красоты уходить...

– И там, поди-ка, будет, чё показать...

Сеня собрался усомниться, но промолчал. Уж больно не хотелось спорить, особенно по этому делу. Старикам видней. Бабка Наталья старше его на двадцать лет – и на столько же она видит лучше, что там дальше. Это для молодых смерть – посторонняя безжалостная секира, а для стариков – то, что исходит от них же, их же **продолжение**...» [Вечером: 95].

Смерть в концептосфере, вербализованной в произведениях В. Распутина, предстает как продолжение жизни, следующий этап в развитии человека. В рассказе «В ту же землю...» Акси́нья Егоровна, мать Пашуты, в последний месяц тоже не жила, а «подживалась»: «*Так её **намаяла**, так **изъездила** жизнь, что в последний месяц и не знала, живёт она или не живёт. **Оскудевшая** телом, **высохшая**, с бескровным жёлтым лицом, с руками в **обвисшей** коже, похожими на перепончатые лапки, она лежала в кровати, как в усыпальнице и по большей части спала*» [В ту же землю...: 5]. Выделенные слова характеризуют ослабление героини, ухудшение её физического состояния под воздействием прожитой жизни. Смерть приносит Акси́нье Егоровне облегчение, которое проявляется в физических изменениях её тела: «*<...> тело как бы **налилось** чем-то изнутри, **разгладив** излишнюю **изношенность***» [В ту же землю...: 10]; «*Морщинистое лицо, ещё вчера досуха обтянутое кожей, **разгладилось** от какого-то последнего посмертного дуновения*» [В ту же землю...: 15].

Представления о физическом развитии человека так же, как и о духовном, входят в инвариант концепта «Развитие». Однако в его индивидуальном варианте, вербализованном в произведениях В. Распутина, присутствуют специфические представления. Прежде всего это относится к представлению о смерти как о продолжении развития, причём не о жизни души после смерти (представление, распространённое не только в христианстве, но и в других религиях), а о закономерных изменениях тела человека. Смерть принесла Акси́нье Егоровне не тление, а заслуженное облегчение от «изъездившей, намаявшей» её жизни, и в результате тело героини *налилось, разгладилось*.

Рассмотрим, какие концептуальные метафоры функционируют в высказываниях В. Распутина о физическом развитии человека. Первой областью-источником, соответствующей области-мишени «физическое развитие человека», является «развитие растений». Метафорические связи между этими группами представлений проявляются в функционировании следующих единиц: *доспевать, окориться, вызревший, колоситься*

(морщинами), *налиться, налитой, пробивающийся, налитость, спелость*. Параллели между физическим развитием женщин и плодов, проводимые В. Распутиным в анализируемых произведениях, мы уже отмечали, поэтому остановимся на употреблении метафор с областью-источником «развитие растений», характеризующих физические изменения мужчин и являющихся специфическими для концепта писателя. Повторим, что о физических изменениях мужчин В. Распутин пишет меньше, и метафоры данной группы, естественно, встречаются реже. В произведениях 1994–2003 гг. мы отметили употребление трёх единиц, характеризующих физические изменения персонажей посредством «растительных» метафор: *«Лифт, в котором поднимали [в палату Алексея Петровича], был с зеркалом, и санитар, совсем ещё парнишечка с едва **пробивающимися** усиками, всё оттягивал верхнюю губу перед зеркалом»* [В больнице: 19]; *«Немногословный, с выражением внимания и терпения на крупном лице, только-только начинающем **колоситься** морщинами, <...> следовательно объяснил, пока шли от троллейбуса, что он всего лишь “сегодняшний” на этом деле, дежурный»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 51]; *«Ему [Ивану Савельевичу] уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, исхлётанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы **окорилось** с выщербами»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 63]. В этих фрагментах отражены концептуальные связи между физическими изменениями героев и ростками (*пробивающиеся усики*), колосьями (*колосющиеся морщины*), деревьями (*окорившееся лицо*).

Другой областью-источником концептуальных метафор, вербализующих представления о физическом развитии человека, является «обработка материалов», которая уже отмечалась в предыдущем разделе как источник метафор, характеризующих духовное развитие человека. К этой группе метафор мы относим случаи употребления следующих единиц: *врезаться, выкрепиться, выостриться, выткаться, заостриться, затвердеть, источиться, обостриться, заострившийся, истрёпанный, потрёпанный, изношенность, выстрогавшись*. Большая часть названных метафор,

отражающих физические изменения человека, связаны с представлением об обработке чего-либо, направленной на то, чтобы сделать объект более острым: «Лицо [Агафьи] ещё больше **заострилось**» [Изба: 13]; «Не было на Светке её лица, слезло оно – так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжёлой болезни. Всё в этом новом лице **обострилось** и распалось: глаза, глядевшие тускло, сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы тоже сами по себе. Всё на месте и всё сдвинуто, не соединено: во всём видна стылость донельзя измученного человека» [Дочь Ивана, мать Ивана: 68]; «Сеня только сейчас заметил, как удлинилось у неё [у Нади] лицо, **выстрогавшись** в одно страдание» [Поминный день: 19]. Причинами таких изменений, как правило, выступают трудности, переживаемые героями.

Трудности могут либо истрепать человека (функционирование единиц *изношенность, истрёпанный, потрёпанный* см. выше), либо закалить его. Последнюю мысль писатель демонстрирует на примере описания Агафьи, которая от всех болезней, кроме «надсады», «**выкрепилась в кремень**» [Изба: 5] и тело которой «**затвердело в грубое и комковатое орудие для работы**» [Изба: 12].

Вербализация представлений В. Распутина

о социальном развитии человека

Социальное развитие человека, то есть изменение его общественного статуса, находится в сфере внимания автора гораздо в меньшей степени, чем духовное и физическое развитие. Случаи, когда В. Распутин обращает внимание читателя на профессиональные успехи или неудачи своих героев, на их общественное положение, единичны. Для писателя прежде всего важна душа персонажа, а не его социальный статус. Тем не менее, в анализируемом концепте не последнее место занимают представления о социальном развитии человека. Высказывания В. Распутина, характеризующие социальное развитие его персонажей, как правило, отличаются экспрессивностью, образностью, так как являются проявлением концептуальной метафоры «социальное развитие – передвижение».

Представления автора о социальном развитии человека соотносятся с образом дороги, стези: «<...> как же, Господи, быстро свершаются сроки, в которые суждено детям в свою очередь быть родителями взрослых детей, **выходящих на самостоятельную дорогу, полную ловушек**» [Дочь Ивана, мать Ивана: 21]; «Многие из его [Алёшиных] приятелей **пошли далеко**» [Новая профессия: 9].

Эта дорога имеет два направления – вверх и вниз. Социальные успехи ассоциируются с подъёмом, как правило, долгим, трудным, но иногда и стремительным, что находит отражение в употреблении глаголов *подняться, взлететь*: «<...> **пройдёт три года, она сама [Тамара Ивановна] поднимется до заведующей, <...> не переставая удивляться, как она здесь оказалась**» [Дочь Ивана, мать Ивана: 11]; «Он [Алёша] **пошёл в лабораторию, от месяца к месяцу всё ярче сияя своим именем <...> К тому времени, защитив диссертацию и став завлабом, он **взлетел на первую высоту, его приглашали на конференции, на конференциях дважды делали заманчивые предложения, но надо было покидать город, уже обжитый, уже привечающий его, и он не решился****» [Новая профессия: 13].

Движение героев вниз по дороге социального развития вызвано в произведениях В. Распутина прежде всего пьянством. Поддавшись ему, человек падает с той высоты, которой достиг: «Мать [Лиды] *пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней **стадии, есть ещё куда **падать****. Продолжает обманываться, что устоит*» [Дочь Ивана, мать Ивана: 6]. У людей, ступивших на этот путь, нет будущего, устоять им не удастся, и только «подвиг жизни», если они бросят пить, как Сеня Поздняков (рассказ «Сеня едет»), может их спасти.

Восходящая линия социального развития персонажей В. Распутина представлена в его произведениях противоречиво. С одной стороны, достижение более высокого социального статуса оценивается положительно (как, например при описании научной карьеры главного героя рассказа «Новая профессия»). С другой стороны, если речь идёт о достижении героями

материального благополучия, писатель использует единицы, имеющие негативную коннотацию: «*[Иван Савельевич о Ефроиме] В колхоз не пошёл, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то **чинодралом** заделался. Но это уж потом. А до того при самой нашей глухой бедности... она его не касается, наша бедность... На задах избёнки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избёнки, а избёнку смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось<...> Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы **возрос, как чирей на ровном месте**» [Дочь Ивана, мать Ивана: 67].*

Следует отметить, что за десятилетие, разделяющее публикацию рассказа «Россия молодая» (1994 г.) и повести «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003 г.), отношение писателя к «новоиспечённым толстосумам» несколько изменилось. В середине 1990-х гг. упоминание о коммерсантах, людях, достигших хоть какого-то успеха в своей деятельности, проникнуто сарказмом: «*Ведь это же они, кормильцы наши, спасители Отечества, труженики киоскового изобилия – коммерсанты! Не те, что успели **накачаться, как пауки**, и в великосветском обществе друг друга улетели утром, а те, что только **избрали стезю** и, как приказчики, собственноручно «гоняют товар», вынужденные мириться с обществом прочих. Конечно же, они: и фразы о том, и молодцеватость, и победительность среди неудачников... Ещё не купцы, подкупечники только, но уже с взглядом, с характером, с лицом» [Россия молодая: 1]. Эти люди, стоявшие на вершине социальной лестницы, но одновременно находившиеся в глубочайшей нравственной пропасти, вызывали у писателя лишь негативное отношение, смешанное с непониманием. Таково же отношение автора к большинству гостей на свадьбах в рассказе «Новая профессия» или Зуихе, «закрепостившей полдеревни самогонным аппаратом», из рассказа «Вечером», которая «*была баба как баба, пока жизнь не выгнулась на другой бок и не сотворила из неё шишку, бесстыжую, ничего не боящуюся*» [Вечером: 94].*

В повести «Дочь Ивана, мать Ивана» вновь появляются образы предпринимателей, коммерсантов Дёмина и Егорьевны. Но отношение автора к ним другое. Непонимание, пожалуй, остаётся, это выражается в довольно отрывочных упоминаниях о деятельности Егорьевны – читателю остаётся неясным, чем же она занимается: *«Где-то там, в кругу таких же расторопных и ловких, она [Егорьевна] поднялась в своём положении и больше уже баулы не ворочала, отдаваясь делу, которое несведущим, далёким от этой деятельности людям разъяснить невозможно»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 56]. Но появляется признание того, что материальное благополучие – результат труда и не каждый способен достигнуть успеха на стезе предпринимательства. Успешная в социальном развитии Егорьевна уже не ассоциируется с пауком, высасывающим соки из окружающих. И она, и Дёмин сочувствуют Воротниковым и предлагают бескорыстную помощь. Поднявшись по социальной лестнице, они не утратили человеческого облика, и автор, несмотря на проглядывающую в его словах иронию, испытывает симпатию к «процветающей купчихе»: *«<...> Егорьевна, яркая, сдобная, белотелая, всё больше смахивающая на **процветающую** купчиху, **набирающую обороты**, изредка милостиво подъезжала к дёминской неказистой лавке и давала Дёмину наставления»* [Дочь Ивана, мать Ивана: 80].

Успешность социального развития персонажей в произведениях В. Распутина, как правило, зависит от самого человека, то есть субъект и объект развития совпадают. Герои сами «поднимаются в своём положении», «избирают стезю», «выходят на самостоятельную дорогу», «набирают обороты» или «накачиваются, как пауки», «заделываются чинодралами», «возрастают, как чирей на ровном месте». Только с Аграфены Зуевой, продающей самогон за отработку в рассказе «Вечером», В. Распутин частично снимает ответственность за результат её социального развития: жизнь сотворила из бывшей заведующей детским садом «мироедку Зуиху», «шишку, бесстыжую, ничего не боящуюся».

Итак, самую большую группу вербализаторов концепта «Развитие» в произведениях В. Распутина, написанных на рубеже XX-XXI вв., образуют единицы, имеющие в значениях семы нисходящего направления развития. Кроме того, значительное количество единиц второй группы, в узусе имеющих семы восходящего направления развития, в контексте произведений В. Распутина становятся вербализаторами представлений о регрессе (*цивилизовать, привести в порядок, лучиеть*). Единицы, в значениях которых нет указания на направление развития, функционируют преимущественно в контекстах, характеризующих нисходящее направление развития объекта. Такое количественное распределение единиц по названным группам свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в индивидуальном концепте «Развитие», вербализованном в произведениях В. Распутина, преобладают представления о нисходящей линии развития. Писатель в своих произведениях чаще обращает внимание на упадок, регресс, ухудшение состояния общества, окружающей среды, жилищ и жизни в целом, чем на факты, свидетельствующие об улучшении чего-либо. Это, видимо, вызвано свойственным В. Распутину отношением к миру. Писатель принадлежит по классификации М. О. Гершензона, цитируемой в работе В. И. Постоваловой, к дисгармоничному типу личностей, которые «характеризуются врожденной дисгармоничностью, разладом между собственным сознанием и космическим разумом <...> В их душе неистребимо живет сознательное или бессознательное представление о мире таком, каким он должен быть и каков он не есть, и чувства их улавливают в мире лишь те черты, которыми он уклоняется от этого идеального образа» [Постовалова 1988: 30]

Человек – типичный объект развития. Своеобразие индивидуального концепта «Развитие человека», вербализованного в произведениях В. Распутина, заключается в том, что в духовном развитии ведущая роль отводится не развитию ума, а формированию традиционных нравственных устоев, без которых человек неминуемо сойдет с пути; в социальном развитии человека важно не разбогатеть, а сохранить человеческий облик, не

превратиться ни в чирей, ни в паука, ни в шишку; а смерть предстаёт не как завершение развития, а как его продолжение.

Источники

Распутин, В. Г. В больнице / В. Г. Распутин // Роман-газета. – 1995. – № 17 (1263). – С. 17–30.

Распутин, В. Г. В ту же землю... / В. Г. Распутин // Наш современник. – 1995. – № 8. – С. 3–21.

Распутин, В. Г. Вечером / В. Г. Распутин // Москва. – 1997. – № 3. – С. 91–97.

Распутин, В. Г. Дочь Ивана, мать Ивана / В. Г. Распутин // Наш современник. – 2003. – № 11. – С. 3–100.

Распутин, В. Г. Женский разговор / В. Г. Распутин // Роман-газета. – 1995. – № 17 (1263). – С. 8–12.

Распутин, В. Г. Изба / В. Г. Распутин // Наш современник. – 1999. – № 1. – С. 3–20.

Распутин, В. Г. Нежданно-негаданно / В. Г. Распутин // Наш современник. – 1997. – № 5. – С. 7–28.

Распутин, В. Г. Новая профессия / В. Г. Распутин // Наш современник. – 1998. – № 7. – С. 3–23.

Распутин, В. Г. Поминный день / В. Г. Распутин // Роман-газета. – № 11 (1281). – 1996. – С. 18–26.

Распутин, В. Г. По-соседски / В. Г. Распутин // Москва. – 1995. – № 7. – С. 10–22.

Распутин, В. Г. Россия молодая / В. Г. Распутин // Роман-газета. – 1995. – № 17 (1263). – С. 1–5.

Распутин, В. Г. Сеня едет / В. Г. Распутин // Роман-газета. – 1995. – № 17 (1263). – С. 5–8.

А. А. Осипова

ЗОНА ВЕРБАЛИЗАТОРОВ КОНЦЕПТА «СМЕРТЬ» С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕМОЙ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ НА СЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ, В ТВОРЧЕСТВЕ В. П. АСТАФЬЕВА 1980-1990-Х ГГ.

Концепт «Смерть» входит в число так называемых исходных, первичных концептов русской национальной концептосферы. Пути лингвистического описания вербализованной части концепта разнообразны. Так, инвариантную часть концепта «Смерть» мы выявили, проанализировав материалы различных

лексикографических источников [см. Осипова 2006, 2007]. Алловариантная часть концепта «Смерть» была обнаружена при исследовании его как элемента индивидуально-авторской картины мира российского писателя-современника В. П. Астафьева. Исследователи считают, что «художественные произведения признанных авторов представляют ценность не только для анализа индивидуального процесса познания мира и отражения полученной информации в тексте. Подобные исследования важны и для изучения всей “концептосферы” русского языка, в которой фиксируются результаты индивидуального когнитивного опыта того или иного поэта или писателя» [Дзюба 2001: 4]. Т. Н. Колокольцева отмечает, что исследование концептосфер, характерных для идиостиля того или иного автора, является «одним из актуальных направлений в современной когнитивистике и лингвоанализе художественного текста» [Колокольцева 2003: 242].

В творчестве В. П. Астафьева 80-90-х гг. XX в. концепт «Смерть» относится к числу важнейших (в рассказах 1980-х гг. тема смерти почти везде сопутствует основному повествованию; в произведениях о войне, написанных в 1990-х гг., она становится ведущей).

Ранее мы уже описывали единицы поля вербализаторов (ПВ) концепта «Смерть», реализующиеся в произведениях В. П. Астафьева 1980 – 1990-х гг. Так, была рассмотрена структура ядерной зоны (включающей единицы со стержневой сложной семой ‘процесс прекращения жизнедеятельности и переход из состояния бытия в состояние небытия’); околядерных зон (включающих единицы с дополнительной семой, подчеркивающей естественный или неестественный характер смерти); зоны ближней периферии (охватывающей единицы, семантика которых связана с представлением о состоянии умирающего/умершего и о бытии души после смерти) [Осипова 2005, 2006].

Не меньший интерес представляет зона ПВ концепта «Смерть», включающая единицы с дополнительной семой ‘следствие смерти’.

Независимо от характера перехода из состояния бытия в состояние небытия кого-, чего-либо этот процесс порождает некоторые совпадающие для естественной и неестественной смерти следствия. Зона ПВ концепта «Смерть» в творчестве В. П. Астафьева 1980 – 1990-х гг., манифестирующая представления о следствиях смерти, занимает второе место по количеству вербализаторов (128 слов и 5 сверхсловных языковых единиц из 626 от общего числа вербализаторов).

Общей для описываемой зоны вербализаторов, помимо семемы *‘прекращение жизнедеятельности и переход из состояния бытия в состояние небытия’*, является сема *‘следствие прекращения существования кого-, чего-л.’*. Значения слов и сверхсловных языковых единиц данной области актуализируют одну из составляющих фрейма *смерть* – результатив и связаны с именем анализируемого ПВ посредством нескольких интегральных сем. На основании этих сем в данной зоне выделяется 3 группы языковых единиц.

I. Единицы, манифестирующие представление о мертвом теле человека или животного, об остатках чего-либо уничтоженного (41 лексема и 2 сверхсловных образования). Их (с учетом грамматического значения) можно разбить на 4 подгруппы.

Первая подгруппа включает предметные единицы с общей сложной семой *‘мертвое тело человека/животного; останки кого/остатки чего-л. разрушенного как следствие прекращения жизнедеятельности’*. Это нейтральные существительные *мертвечина, мертвый* (субстантиват *‘умерший, лишенный жизни’*), *мясо* *‘часть туши убитого животного, употребляемая в пищу’*, *пушнина, развалина, расстрелянный* (субстантиват), *труп, человечина, шкура, шкурка*. В эту же подгруппу входят стилистически окрашенные слова – прост. *дохлятина, мертвенький* (субстантиват *‘умерший, лишенный жизни’*), стар. высок. *прах* *‘мелкие сухие частицы земли, чего-нибудь высохшего, распавшегося, сгоревшего’*; *‘останки, то, что осталось от тела умершего’*, *трупик* *‘мертвое тело человека или животного’*; слова, претерпевшие авторские трансформации в значении или морфемном облике, – *косточка* *‘останки*

мертвого человеческого тела’, *кость* (то же), *мясо* ‘части мертвого тела человека’, *останки* (не только по отношению к человеческому телу), *отбросы* ‘перен. о мертвом человеческом теле’, *падаль* ‘мертвое тело человека’, *сор* ‘мертвые тела людей’, *туша* (не только тело существа, но и предмета), *тушка* ‘убитое тело некрупного животного’, *убоина* (обл.) – всего 23 единицы.

Большинство единиц данной подгруппы относятся к стилистически окрашенным или претерпели авторскую трансформацию. Некоторые из них номинируют разнообразные мертвые объекты (человека, животное, растение, предмет и т. п., ср.: *мертвый*, *мясо*, *труп*, *дохлятина*, *останки*, *прах* и др.), другие четко дифференцируют их (ср. о человеке: *сор*, *человечина*; о животном: *пушнина*, *убоина*, *шкура*, *шкурка*; о предмете: *развалина*). Среди значений производных слов можно отметить субъективно-оценочное уменьшительное значение (суффиксы *-к-*, *-ик-*: *шкурка*, *трупик*, *тушка*) и ласкательное значение (суффиксы *-очк-*, *-еньк-*: *косточка*, *мертвенький*). В качестве безаффиксного способа словообразования выступает субстантивация прилагательных и причастий (*мертвый*, *расстрелянный*).

Вторая подгруппа состоит из процессуальных единиц с дифференциальной семой ‘распад мертвого тела человека/животного; останков кого/остатков чего-л. разрушенного как следствие прекращения жизнедеятельности’ – стилистически нейтральных глаголов *гнить/сгнить*, *изгнить* ‘разрушиться совсем, полностью, подвергаясь органическому разложению’, *истлеть*, *разлагаться*; причастий *гниющий*, *полуистлевший* ‘не вполне или почти сгнивший, разложившийся’, *полусгнивший* ‘не вполне или почти сгнивший, разложившийся’, *раскисший*, *сгнивший*. Сюда же входят устар. высок. существительное *тлен* и слова с окказиональными значениями: глагол *удобрить* (в качестве удобрения выступают человеческие тела), причастие *засохший* (о свойстве мертвого тела) – всего 13 единиц.

Интегральная сема ‘следствие’ подчеркивается в данной подгруппе производными со значением результата действия (префиксы *за-*, *с-*: *засохший*, *сгнивший*, *сгнить*); процесс распада репрезентируется глаголами длительно-

интенсивного способа действия (префиксы *из-/ис-*, *раз-*: *изгнуть*, *истлеть*, *разлагаться*). Первая часть сложных слов *полуистлевший*, *полусгнивший* вносит в значение дополнительный семантический оттенок незаконченности процесса.

Третья подгруппа содержит призначные единицы с дифференциальной семой ‘такой, который характеризует мертвое тело человека/животного; останки кого/остатки чего-л. разрушенного как следствие прекращения жизнедеятельности’ – стилистически нейтральные прилагательные *безжизненный*, *дохлый*, *мертвый* ‘умерший, лишенный жизни’; ‘лишенный жизненности, оживления’, *трупный*, *омертвелый* ‘лишенный жизни’, *трупелый* ‘свойственный трупу’.

Специфичным в данной подгруппе является авторское прилагательное *трупелый*, сконструированное по аналогии с *омертвелый*.

Четвертая подгруппа включает стилистически окрашенные единицы – качественно-обстоятельственные устойчивые сравнения *как дрова*, *как падаль* с дифференциальной семой ‘как нечто ничтожное, не стоящее сожаления’.

Разнообразные вербализаторы, входящие в анализируемую группу, дают не только то общее представление о теле мертвого существа (или об остатках чего-л. разрушенного), которое присутствует в сознании носителя языка (*останки*, *прах*, *труп*, *туша*), но и о процессе распада (с его стадиями), и о качествах, свойствах того, что перешло из состояния бытия в состояние небытия.

Мертвое тело человека традиционно репрезентируют в творчестве В. П. Астафьева 1980-1990-х гг. нейтральная лексема *труп* и лексемы с пометой «высок.» *останки*, *прах*: *Где **труп** взять? Может, денег накопить да за границей сторговать? <...> У нас за **труп** засудят и засадят* [«Мною рожденный»: 388]; *Тыщи могил, тыщи крестов и обелисков, за три столетия Изагаша накопившихся, – под водой. Што **прах** переносили ханыги какие-то со дна <...> так то видимость одна* [«Жизнь прожить»: 313]; *Лядовское кладбище попало под затопление <...> **прах** полковника перенесен*

или нет – не знаю [«Веселый солдат»: 154]; *Конскими и ручными граблями, вилами, крючьями <...> свозили, стаскивали под яр <...> **останки** солдат <...> все-все добро, все пожитки вместе с хозяевами валили в большие неглубокие ямы <...> спешащие поскорее укрыть **прах** и срам человеческий* [«Прокляты и убиты»: 737]. В повествовании В. П. Астафьева о войне слово *труп* употребляется особенно часто (всего 52 раза): *Зажимая пилотками носы, крючками стаскивали они покойников в воду, но **трупы** никуда не уплывали <...> от иного раскисшего **трупа** крючком отрывало руку или ногу...* [«Прокляты и убиты»: 661-662]; *Высоту Сто, заваленную **трупами**, снова пришлось оставить* [Там же: 698] и др. Тело умершего человека обозначает и лексема *мертвечина*: *Шинель принесло водою, он ее высушил на солнце, выхлопал о камни, но сукно так напиталось духом **мертвечины**, что не вытрясешь его, не вымоешь* [Там же: 704] и др.

Сему ‘остатки/части мертвого человеческого тела’ развивают в романе «Прокляты и убиты» слова *косточка, кость, человечина*: *Через десяток лет покроеет место боев <...> толстой водой нового, рукотворного моря и замочет песком, затянет илом белые солдатские **косточки*** [«Прокляты и убиты»: 741]; *...крысы, объевшиеся **человечиной** <...> плотной чередой сидели по урезу реки...* [Там же: 659] и др. Останки погибших солдат в повествовании В. П. Астафьева о войне становятся и *отбросами* (*А он и его бойцы <...> горевали в Сибири о каких-то ребятах-снегирятах <...> Да это ж хорошо, что не попали они на этот уютный бережок <...> не превратились в вонючие **отбросы** войны – Там же: 612), и *сором* (*Гаубицы-полторасотки как жахнут осколочным <...> Брызги вверх, клочья, лохмотья. И тут же дыра <...> в пороге закружится, завьется и **сором** наполнится. Людским **сором!** О Господи! – «Жизнь прожить»: 290), и просто *мясом* (*Угарной, удушающей вонью порченого чеснока, вяжущей слюну окалины, барачной выгребной ямы <...> пропащих грибов, блевотной слизи пахло в этом месте сейчас, а над ядовитой смесью, над всей этой смертной мглой властвовал приторно-сладковатый запах горелого **мяса** – «Прокляты и убиты»: 397; Живые, боясь***

увязнуть в протухшем *мясе* и грязи, норвят ходить по откосам... – Там же: 611-612) и др. Употребления лексем *отбросы*, *сор*, имеющих в своем значении сему 'негодные остатки', затрагивают тему, которой В. П. Астафьев постоянно касался в повести «Веселый солдат» и в романе «Прокляты и убиты», – тему ничем не оправданных, бездумных человеческих жертв.

С особой болью писатель всегда относился к смерти детей, что обострялось личными трагедиями в его семье. Описывая мучительную смерть от голода и холода детей в мирное время из-за пьянства отца и матери, которые, бросив их, уехали в гости, автор употребляет лексему *трупик*: *Когда вернулись отец с матерью, обезумевшая от пьянства мать попинала замерзшие трупики и, не найдя среди них ни одного мягкого, сказала едва живому мужику... «Ссяс печку натопим, барана сварим и съедим, новых ребенков делать будем...»* [«Из тихого света»: 715]. Слово *трупик* объединяет в своем значении не только сему 'маленькое тело', но и дополнительные семы – 'беззащитный', 'невинный'.

Нередко В. П. Астафьев употребляет слова *дохлятина*, *падаль* по отношению к телу умершего/погибшего человека, хотя словарная дефиниция предполагает их использование только по отношению к телу животного (ср. 'труп павшего животного' [Ожегов: 178, 488]). Причем лексема *падаль* в повести «Веселый солдат» выполняет разные задачи. В одном случае – это стремление через сниженное по отношению к человеку слово показать свое презрение к нему (*Распахнув дверь <...> я <...> сквозь зубы проговорил <...> – Еще одно невежливое слово, я изрублю тебя на куски и собакам выброшу <...> Осторожно <...> я закрыл дверь и, обмерив взглядом оглушенного капитана – все это комфортное жилище, добавил: – Хотя такую **падаль** здешние собаки жрать не станут... – «Веселый солдат»: 176); в другом случае – описать разлагающееся тело, которое долго где-нибудь лежит (*Я мимоходом отметил, что если здесь, в этой каменной выемке, стрелиться, вовек никто не найдет. И прежде чем вороны налетят, зверушки набегут**

*точить зубами **падаль**, засыплет труп мелким камешником...* – Там же: 228). В романе «Прокляты и убиты» сниженная лексика позволяет читателю прочувствовать реальную обстановку на переправе, где у солдат, измученных боями, каждодневно подвергающихся смертельной опасности и движимых только одной целью – спасти свою жизнь, притуплялись все человеческие чувства: *Возле блиндажа возились бойцы, убирая трупы. «Че эту **падаль** закапывать-то? – слышался голос Шорохова... [«Прокляты и убиты»: 549]; Я устал <...> – он в страхе – не произнес ли эти слова вслух? – обвел глазами изможденно сникших солдат, приткнувшихся в грязной рывтине, замусоренной, невыносимо воняющей **дохлятиной**, человеческим дерьмом [Там же: 682].*

Необычна контекстная реализация слова *удобрить*, имеющего значение ‘внести удобрения (органическое или минеральное вещество, предназначенное для питания растений)’. В повести «Веселый солдат» в качестве удобрений выступают человеческие тела: *Зачем, зачем судьба нас свела в человеческом столпотворении..? Зачем лихие российские ветры сорвали два осенних листочка..? Для того чтобы сгнили? Удобрили почву? Но она и без того так **удобрена** русскими телами, что стон и кровь из нее выжимаются [«Веселый солдат»: 226].*

Устойчивая сравнительная конструкция *как дрова* в контексте В. П. Астафьева включает в свою семантику и количественный показатель: *Назавтра после боя, когда враз все затаяло и поплыло, обозначилось такое количество убитых, что не счесть. **Как дрова** лежат люди, только в поленницы не сложенные, друг на дружке [«Жизнь прожить»: 291]. Несметное количество убитых подчеркивается соседствующей периферийной количественной ФЕ *не счесть* и лексемой *поленницы*.*

Отжившее тело животного в произведениях В. П. Астафьева обозначается лексемами *мясо, пушнина, туша, тушка, убойна, шкура*. Они, в основном, используются для описания охотничье-промыслового дела, когда человек добывает определенные составляющие тела животного: *Оказалось, что он*

привез из Шайтана на продажу тушу летошней телки. Тушу ту вывесили в сенках... [«Веселый солдат»: 129]; *Теткин муж на Сретенье как раз свинью заколол, и тетка нажарила картошки со свежей убоиной...* [«Прокляты и убиты»: 110]; *Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едовой <...> Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики <...> загуляли по древнему обычаю...* [Там же: 186]; *Попавши в ловушку или под выстрел, зверек делается пустой шкуркой – ничего в нем не остается, кроме багрово-синей тушки...* [Там же: 554]. Все эти лексемы дают представление о теле животного как о средстве пропитания (областное слово *убоина* даже имеет в значении дополнительную сему ‘свежий’), предмете одежды, возможности зарабатывания денег человеком и выполняют мелиоративную функцию в текстах В. П. Астафьева.

Но природа часто изображается писателем с негативной стороны, причем губит природу почти всегда сам человек. Пейоративная оценка подчеркивается лексемами, объединенными общей семой ‘распад кого-, чего-л. мертвого’: *Сел на притоптанную и припорошенную землю лед, а подо льдом-то и у нас много чего остается и гибнет; здесь же, в благодатном климате, в прогретой воде, живет и растет всего так много, что от обсохшей, гниющей дохлятины стоит смрад...* [«Ловля пескарей в Грузии»: 265]. Лексему *дохлый* и сравнение как *падаль* В. П. Астафьев использует при описании реки Енисей: *Топил, топил Анисей нашего брата, теперь самого утопили, широкой лужей сделали, хламьем, как дохлую падаль, забросали* [«Жизнь прожить»: 312]. Автор применяет прием контрастности: сравнивает гордого, непокорного, вершащего судьбы людей «Анисея» с чем-то ничтожным, давно отмершим и при этом дурно пахнущим (что подчеркивается дополнительным компонентом *дохлую*). В. П. Астафьев лишний раз подтверждает мысль о том, что природе нет спасения от человека. Сравнительные конструкции точно характеризуют те или иные явления, так как им всегда свойствен ярко выраженный семантический элемент усиления признака.

Разрушенные остатки какого-л. неодушевленного предмета описываются В. П. Астафьевым с помощью слов *истлеть*, *останки*, *полусгнивший*, *прах*: *Лежит без Божьего надзора, в пустом селе, в полусгнившей избенке на холодной печи, лежит бесчувственный, всем чужой, никому не нужный* [о покойнике – А. О.] [«Слепой рыбак»: 229]; *Вокруг городища и оно само – все-все почти истлело, обратилось белым и серым прахом...* [«Ловля пескарей в Грузии»: 256]. Узуальное значение ограничивает сферу применения существительных *останки* (ср. ‘высок. тело умершего или то, что осталось от его тела (о человеке)’)) и *туша* (ср. ‘освежеванное и выпотрошенное тело убитого крупного животного, зверя’) исключительно к людям и к животным, но в астафьевском повествовании все ограничения снимаются: *Как повелось на нашем фронте, поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса <...> зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло седое облако <...> В небо взметнулись <...> ракеты* [«Прокляты и убиты»: 373]; *Он отплюнул с губ пыль, вонючие брызги, дождался, когда вспыхнут останки машины, и <...> пошел «домой»* [Там же: 737]; *За свертывающийся, шипящий <...> понтон и даже за пушечку уцепившись, копошились люди. И когда понтон <...> все же опрокинулся и накрыл <...> людское месиво, Ерофей и Родион обрадовались: не обзарились, не ухватились за эту гиблую плавучую тушу* [Там же: 438].

Итак, первая группа единиц позволяет охарактеризовать мертвые останки кого-, чего-л. как традиционными употреблениями слов (*мертвечина*, *труп*, *прах*), так и окказиональными (*мясо*, *останки*, *падаль*, *туша*). При этом список вербализаторов, участвующих в повествовании о войне, значительно шире, чем список подобных единиц, функционирующих в повествовании о мирном времени. Это связано со спецификой произведений В. П. Астафьева о войне и особенно романа «Прокляты и убиты», где на передний план выводятся картины смерти. Многие лексемы данной группы дополнительно содержат в своей семантической структуре сему ‘распад кого-, чего-л. мертвого’, и самым ярким перцептивным признаком становится обонятельный.

II. Единицы, манифестирующие представления о различных атрибутах, возникающих только после смерти кого-л. (62 лексемы и 3 сверхсловные языковые единицы). Здесь выделяется 4 подгруппы, объединенные различными семами.

Первая подгруппа состоит из нейтральных предметных единиц с дифференциальной семой 'профессия, возникшая в связи с прекращением чьей-л. жизнедеятельности' – существительных *гробовщик* и *палач*: *На фронте возник даже древний гробовщик, но за ненадобностью иль растворился в толпе, иль отодвинулся в тень...* [«Прокляты и убиты»: 481]; *И снова думаешь о Боге. Где ты?.. Почему Ты такую чудовищность допускаешь? Испытываешь? Караешь? Но не так же, не так же сурово, Господи! А то ведь уже дела Господа и палача становятся неразличимы и неразделимы, разве что палач виновных казнит, Господь же в назидание нам невинных выбирает...* [«Из тихого света»: 717]. В первом случае В. П. Астафьев синонимизирует слова *Господь* и *палач*, когда описывает эпизоды страшной смерти людей, и в особенности детей, в мирное для страны время. Но второе употребление показывает, что «профессии» *палача* и *Господа* все же отличаются объектом смерти (*виновные* и *невинные*). При этом ключевой сопроводитель *в назидание* подчеркивает, что Господь специально избирает невинных, чтобы человек, наконец, понял свои ошибки и попытался жить по-другому.

Следующее употребление лексемы *палач* реализует представление скорее не о профессии, а о качествах человека, способного в выгодной для себя ситуации убить кого-либо: *И шныряли по тылам, докладывали, обманывали... предавали служивых бесовски ловкие ярыжки с лицами и ухватками дворовых холуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом* [«Прокляты и убиты»: 286].

Вообще, в русском языке слов, именующих профессии, возникшие вследствие смерти кого-либо, очень мало. Это связано, как уже говорилось

выше, с общей тенденцией в русском языковом сознании: если возможно, не называть все относящееся к смерти прямо.

В т о р а я п о д г р у п п а включает предметные единицы с дифференциальной семой ‘документы, записи, возникающие вследствие прекращения чьей-л. жизнедеятельности’, – нейтральные существительные *завещание*, *некролог*, *эпитафия* ‘стихотворение, написанное по поводу чьей-нибудь смерти’ и стилистически окрашенное существительное *похоронка* (прост.).

Существительное *завещание* используется у В. П. Астафьева в упрощенном значении ‘предсмертная воля’: *...в кармане гимнастерки Шпатора с обратной стороны военной накладной написано было химическим карандашом завещание, в котором старшина Шпатор просил не снимать с него нательный крест и похоронить его рядом с мучеником – солдатом Попцовым либо с убиенными агнцами, братьями Снегиревыми* [«Прокляты и убиты»: 316]. Просторечное существительное *похоронка* является сугубо военным атрибутом – официальным извещением о смерти военнослужащего. Оно используется в романе В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» четыре раза, например: *...уж после отбытия хозяйки похоронка на хозяина пришла* [«Прокляты и убиты»: 238]; *...Валерия Мефодьевна чуть было не проговорила, что Анька получила похоронку на мужа...* [Там же: 295] и др.

Слова *некролог*, *эпитафия* являются принадлежностью торжественного текста, созданного по поводу чьей-либо смерти: *...скорбнет по мне Союз писателей десятью строчками некролога в «Литературке»...* [«Тельняшка с Тихого океана»: 179]. Комический эффект создает слово *эпитафия* в рассказе В. П. Астафьева «Вимба»: *Хорошо закусив, спутница Гария откинулась на раскинутый на берегу клетчатый плед <...> Гарий захохотал и, показывая пальцем на Рениту, патетически прочел стих-эпитафию: Здесь спит Мария Магдалина, / Была красавица лиха. / Прохожий, если ты мушчина, / Пройди подальше от греха!* [«Вимба»: 196].

Третья подгруппа состоит из единиц, называющих принадлежности умершего и его местопребывание. Она включает в себя несколько разрядов.

- ***Разряд предметных единиц с дифференциальной семой ‘местопребывание где/в чем-л. кого-л. вследствие прекращения его жизнедеятельности’.*** В него входят нейтральные существительные *гроб, гробик, катафалк, кладбище* ‘место погребения умерших’; ‘место массового залегания останков животных’, *крематорий, могила, могилка, могильник, морг, погост, саван, скотомогильник*; сверхсловная единица *братская могила* и стилистически окрашенные лексемы (обл. *домовина, домовинка*, офиц. *захоронение*) или слова, приобретшие у В. П. Астафьева окказиональное значение (*домик* в значении ‘гроб’), *холмик* ‘то же, что могила’, *яма* ‘то же, что могила’, *ямка* ‘то же, что могила’. В этом разряде объединились единицы, называющие индивидуальный предмет/место, куда помещают мертвое существо (*гроб, домик, домовина, катафалк, могила, саван, яма* и др.), и общий предмет/место, где помещают всех мертвых людей и животных (*братская могила, захоронение, кладбище, крематорий, морг, скотомогильник* и др.). Иногда В. П. Астафьев использует эти слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (*гробик, домик, домовинка, могилка*).

- ***Разряд призначных единиц с дифференциальной семой ‘такой, который характеризует местопребывание где/в чем-л. кого-л. вследствие прекращения его жизнедеятельности’.*** Его составляют нейтральные прилагательные *кладбищенский, могильный, погребальный*. Данные лексемы содержат дополнительное значение принадлежности, привносимое суффиксами *-енск-, -н-*.

Места, где содержатся умершие до похорон, традиционно репрезентируются в творчестве В. П. Астафьева 1980-1990-х гг. словами *крематорий* и *морг*: *Начальник угрозыска <...> объяснил Сошнину всю его глупость <...> Ты изучал его биографию? Силу?.. А если б матерый? Да он бы тебя разделал, как киевский мясник! И собирали бы тебя по частям в морге,*

чтоб прилично выглядел в гробу... [«Печальный детектив»: 58]; *«Царство тебе Небесное, парень. Лежишь вот сейчас в полковом морге <...> и ничего-то тебе не больно...* [«Прокляты и убиты»: 90]; *Где-то на окраине этого бездушного города дни и ночи масляно курится жирным дымом крематорий...* [«Из тихого света»: 719]. В последнем примере контекстные сопроводители *жирным дымом, масляно, дни и ночи* (ФЕ) актуализируют семы ‘безостановочный процесс’ и ‘избыток материала’ (в роли материала выступают человеческие трупы).

Представление о предмете, в который помещают покойника, выражается нейтральной частотной лексемой *гроб*: *Когда хоронили тетю Лину, поднимали гроб <...> так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия* [1, «Печальный детектив»: 33]; *Тяжелый разговор вышел у меня с человеком, и вроде это был Шолохов, по поводу «Поднятой целины». Еще тяжелее, но тоже безрезультатный – с товарищем Фадеевым, у гроба которого довелось мне побывать...* [«Веселый солдат»: 236] и др. В. П. Астафьев всегда старается неодинаково описать все, что касается детей и взрослых, и даже их смерти. В отношении мертвого ребенка он использует слово *гробик*, подобно рассмотренной выше лексеме *трупик*: *С этого беспросветного, туманного утра меня начал преследовать кошмарный сон <...> У переезда кучка народу, и я бегу, бегу, заранее зная, что там, на линии, лежит пополам перерезанная дочка <...> Я расталкиваю <...> толпу любопытных и вижу там не эту, нынешнюю, детсадовскую дочку, а ту, Лидочку, в крохотном гробике...* [«Веселый солдат»: 234]. Синонимична слову *гроб* областная лексема *домовина*, довольно часто встречающаяся в повествовании В. П. Астафьева: *Сплетаясь в клубки, траве удастся выстоять против многолюдства <...> сделать мягче почву под стопами старцев, перед уходом в мир иной <...> срывающих стебелек трудовой и терпеливой травы, чтобы положить его под подушку в домовину* [«Ловля пескарей в Грузии»: 258]; *Она поступила работать в химчистку <...> и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди <...> и когда умерла, то Лёне*

казалось, и в *домовине* она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки... [«Печальный детектив»: 22] и др. Дважды В. П. Астафьевым используется лексема *домовинка* с уменьшительным значением (опять же с целью отличить смерть ребенка от смерти взрослого): *Домовинку грубо вытесал папаша <...> взял я под мышку почти невесомую домовинку и понес на гору* [«Веселый солдат»: 190]. Оказиональное значение ‘гроб’ приобретает в свете мортальной тематики произведений В. П. Астафьева лексема *домик*, призванная не только представить сам предмет, но и имплицитно отразить представления о загробной жизни; в загробной же жизни это слово реализует свое прямое значение ‘свое жильё’: *Глубоко у нас закапывают. Черная щель, как пропасть, летит в нее человек в нарядном домике, летит и конца полета не видно* [«Из тихого света»: 711]. Дополнительной принадлежностью покойного может стать *саван*: *Вид поля являл собою полное согласие с тем, что взошло, отцвело, созрело растение, пора ему <...> на прялку. Потом ниткой в клубок, с клубка на ткацкий станок, а там уж чего швеи-мастерицы решат: рубахой ли быть льну <...> может, половичком под ноги молодых постелиться, саваном укрыть жницу иль швею, может...* [«Голубое поле под голубыми небесами»: 320]. Оригинально использование В. П. Астафьевым этого слова в романе «Печальный детектив», где первоначально задуманное как сравнение, оно затем манифестирует непосредственно тот предмет, с которым сравнивают: *Все, что было деревянное, сгорело <...> ржавели оградки и памятники, пустовали могилы – снег упрятал головешки под собой, накрыл белым саваном – к месту слово пришлось, – совсем уж скорбным саваном приют человеческой юдоли и печали* [«Печальный детектив»: 117].

Примечательно, что в повествовании о войне представление о предмете, в который помещают покойника, выражается только одной лексемой *гроб*: *...под утро в машине в глухо закрытом брезентовом кузове привезли четыре горелых трупа <...> солдаты-знатоки уверяли, что сожгли их живыми. Были похороны. На машинах везли заколоченные гробы* [«Веселый солдат»: 88]. В романе В. П. Астафьева «Прокляты и убиты» это слово ни разу не используется

при описании погребения простых солдат. Достойной гроба военной персоной оказывается в романе «Прокляты и убиты» начальник политотдела Мусенок, который ни разу не участвовал в военных действиях, но при этом «сражался, палил словами, поддерживая боевой дух воинов» [Там же: 732]. Мусенка, ненавидимого всеми солдатами, уничтожил командир Щусь. При описании сцены захоронения погибшего В. П. Астафьев использовал лексему *гроб* 9 раз (в то время как общее количество употреблений составляет 11 и распределяется на 735 страницах романа): *Изольда Казимировна <...> являла собой целомудренную, непреходящую скорбь. Сидя на табуретке возле орехового **гроба** с серебряными ручками <...> внятно шептала: «Чешь его паменчи. Чешь его паменчи»... [Там же: 738]; *Сверху, посередь крышки **гроба** серебрилась лавровая ветвь. Крышка и обрез **гроба** также окантованы серебром, довольно ярким для погребального предмета... [Там же: 738]; *Вдова не вдова, в общем-то близкий покойнику человек <...> гладила и гладила <...> рукой крышку **гроба**... [Там же: 738] и др. Один раз слово *гроб* в тексте В. П. Астафьева выполняет функцию сравнения: *Но подвалы сии ни пламя, ни проклятье земное, ни силы небесные не брали, лишь время было для них гибельно <...> они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимся в них народом, точно злоеущие **гробы** обреченно погружались в бездонные пучины [Там же: 30].****

Средство передвижения, везущее покойника на погребение, называется лексемой *катафалк*, но она лишь косвенно участвует в повествовании: *Хоронили бабуку на новом <...> кладбище, да и старое-то началось лишь в сорок пятом году, тоже на голом <...> холме, но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью выросший из семян, прилетевших из заречья <...> с железнодорожных посадок и просто притащенных с землею на обуви, на колесах телег, грузовиков и **катафалков**... [«Печальный детектив»: 115].*

Общее место погребения для всех умерших манифестируют лексемы *захоронение, кладбище, кладбищенский, могильный, погост* (лексемы *кладбище* и *погост* отличаются только принадлежностью к населенному пункту: первое –

атрибут города, второе – деревни), а индивидуальное место каждого называют лексемы *могила*, *могилка*, *холмик*. При этом самыми частотными оказываются нейтральные слова *кладбище* (50 случаев) и *могила* (48 случаев): *Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму, под снег...* [«Печальный детектив»: 117]; *Сколько свежих могил на новом кладбище? Черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто* [Там же: 118]; *Наконец он <...> длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу с кладбища, боясь выплюнуть откашлянную мокроту в кладбищенский снег* [Там же: 117]; *Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост...* [«Людочка»: 406]; *Свежие могилы возле лыковского стана да будут наглядным уроком и укором всем...* [«Медвежья кровь»: 132]; *Через десяток лет покроет место боев <...> толстой водой <...> Захоронение же начальника политотдела будет перемещено в глубь территории* [«Прокляты и убиты»: 741] и др. Могила без опознавательных знаков номинируется словом *холмик*: *Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашенными крестами и просто холмиками безо всяких знаков* [Там же: 426].

В повествовании о войне самой частотной лексемой, описывающей место погребения, является лексема *могила* (25 употреблений): *Их приговорили к расстрелу. Через неделю... из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густо населенном <...> заполненном кладбище <...> Командир полка <...> добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем...* [«Прокляты и убиты»: 195]; *Перед уходом немцы кланялись могиле, тихо молились...* [Там же: 630] и др. Слово *кладбище* в обоих случаях используется в эпизоде книги первой романа «Прокляты и убиты» (приготовление к расстрелу братьев Снегиревых, см. выше). Пять раз В. П. Астафьевым используется выражение *братская могила*: *...на родниках не пишут плохих, бранных слов, не блудословят, не кощунствуют <...> как это случается порой на святом и скорбном месте, называемом могилой, даже братской...* [«Ловля пескарей в Грузии»: 252]; *Могила братская, в которой покоится Иван Павлович, находится в пригороде*

Волгограда... [«Веселый солдат»: 82] и др. В приведенных высказываниях компоненты внутри сверхсловной языковой единицы подвергаются синтаксической инверсии с целью акцентирования внимания на главном слове – могила. Синонимичны в романе «Прокляты и убиты» лексеме могила слова холмик, яма, ямка: Уже корчились, барнаулили на берегу те, на кого ни уговоры, ни крики, ни ругань, ни мольбы не действовали, пили, жрали от пуза, и свежие холмики добавлялись к тем, что уже густо испятнали и левый берег [«Прокляты и убиты»: 722]; Работники, изнуренные боями, решали: одну малую ямку копать под Мансурова или уж разом братскую могилу затевать – для всех убитых, собранных по речке; посоветовались маленько и порешили: пусть немцы роют ямы под немцев, русские – под русских [Там же: 426].

Лексемы анализируемых разрядов называют места захоронения не только людей, но и животных (существительные кладбище, скотомогильник): Народу на рынке почти нету, лишь в павильонах <...> маячили неустанные продавцы табака, семечек, краденого барахла и подозрительно розового свиного мяса, со скотомогильника, не иначе, увезенного [«Веселый солдат»: 212]; Рыба, водоросли, лягухи и больные птицы, мыши и крысы, зайчата и норки – целая бойня на непролазном и непроездном кладбище живности... [«Ловля пескарей в Грузии»: 265]. В последнем примере место отживших животных, названное кладбищем, сформировалось стихийно. В. П. Астафьев рассуждает о бездумном и при этом широко распространенном способе людей сохранять запасы воды – о водохранилище: «А-а, знакомая картина. По России знакомая» [«Ловля пескарей в Грузии»: 265]. Осенью водохранилище покрыто толщей воды (и в нем, естественно, живут разного рода существа), зимой воду выкачивают и все, что было живым подо льдом, становится мертвым. Двойко употребление слова могильник в следующих примерах (оно используется как место погребения и человека, и животного): Почему, зачем, для чего два отчаянных патриота по доброй воле подались на фронт? Защитить свободу и независимость нашей Родины? Вот она тебе, свобода и независимость, вот она Родина, превращенная в могильник [«Веселый солдат»: 229]; ...как-то умудрились

некоторые уходившие из лагеря <...> в степях раскапывали **могильники** павшего скота, обрезали с него мясо [«Прокляты и убиты»: 285]. В обоих примерах значение лексемы *могильник* трансформируется, оно утрачивает сему ‘древнее’ (ср. ‘древнее кладбище, место захоронения’).

Данные разряды вербализаторов характеризуются не только разнообразием и частотностью употреблений, но их состав расширяется за счет включения сюда областных слов (*домовина, домовинка*), авторских обозначений (*домик, яма*). Примечательно, что в повествовании В. П. Астафьева о войне происходит заметное снижение количества подобных единиц и их употреблений по сравнению с повествованием о событиях в мирное время (ср. 57 и 142 употребления соответственно). Это связано с особыми причинами (условия войны, в которых невозможно осуществить обрядовые действия, невозможно обеспечить умершего определенными принадлежностями и похоронить его в специально отведенном месте).

- **Разряд предметных единиц с дифференциальной семой ‘знаки памяти на месте пребывания кого-л. вследствие прекращения его жизнедеятельности’.** Его составляют нейтральные лексемы *надгробие, обелиск, эпитафия* ‘надгробная надпись’ и слова, имеющие в произведениях В. П. Астафьева окказиональное значение (*звезда, звездочка* ‘намогильный знак’; *крест, крестик* ‘намогильный знак’; *ограда, оградка* (внешний атрибут на кладбище); *памятник* ‘намогильный знак’; *пирамидка* ‘намогильный знак’). Некоторым наименованиям присуще дополнительное значение ласкательности, которое несут суффиксы *-ик-, -к-, -очк-*.

- **Разряд призначных единиц с дифференциальной семой ‘такой, который характеризует знаки памяти на месте пребывания кого-л. вследствие прекращения его жизнедеятельности’.** Его составляют нейтральные прилагательные *надгробный, намогильный* ‘находящийся на/сверху могилы’. Словообразовательные префиксы *на-, над-* в данном случае подчеркивают пространственную составляющую описываемого предмета.

Данные два разряда логически продолжают предыдущие, так как единицы, входящие в них, содержат в семантике указание на атрибуты, присутствующие на месте захоронения человека. Их объединяет общая сема 'знак', позволяющая отнести предметы, ими обозначаемые, к разряду семиотических.

Знаки на могилах выполняют определенную информативную функцию. Например, звездой отмечают могилу военного или участника боевых действий. Все употребления лексемы *звезда* (9 случаев из 12 на одной странице) принадлежат кошмарным видениям Лешки Шестакова в запасном полку и на переправе, когда к нему являлась умершая бабка Соломенчиха из их села: *«Ох, Алексей, Алексей! Зачем ты украл звезду с могилы Корнея-комиссара?.. – Звезду я не сламывал. На меня свалили. «Скажи, кто взял звезду дяди Корнея?» – «Сторож с причалу. Он враг народа был, долго звезду ломал <...> Корней-то все ходил за ним: «Отдай мою звезду! Отдай! Не тебе, а мне партия на могилу звезду прикрепил...» Без звезды могила потерялась. Все кладбище со звездами и крестами потерялось [«Прокляты и убиты»: 185]. Крест символизирует христианскую веру, которой придерживался умерший: Весной на кладбище сжигали мусор, и поднимись же ветер на ту пору – и пошли палы по могилам и крестам [«Печальный детектив»: 116]; Старое кладбище, заброшенное в лесу, и среди всех упавших крестов и памятников стоит один фигурный лиственничный крест... [«Из тихого света»: 727]; Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашеными крестами и просто холмиками безо всяких знаков [«Прокляты и убиты»: 426]. В связи со смертью ребенка В. П. Астафьев использует слово *крестик* в эпизоде похорон дочери главного героя повести «Веселый солдат»: Я сам сделал из поперечинки и ножек выброшенного в сарай стола крестик <...> взял я под мышку почти невесомую домовинку и понес на гору. Сзади плелись жена и папаша, с крестиком и лопатой на плече [«Веселый солдат»: 190].*

На русских кладбищах могила получает еще дополнительное окружение, выражающееся в анализируемых произведениях словами *ограда*, *оградка*. Они

дополняют картину последнего пристанища человека: *Пламя побывало и на могиле Сошниных, оплывило краску на оградке...* [«Печальный детектив»: 117]; *Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия* [Там же: 117]; *Я пришел на могилу один <...> могила и оградка завалены ломаными сучьями и листьями* [«Из тихого света»: 711] и др.

Другие знаки памяти об умершем представлены в творчестве В. П. Астафьева лексемами *надгробие, обелиск, памятник*: *Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия...* [«Печальный детектив»: 117]; *Тыщи могил, тыщи крестов и обелисков, за три столетия Изагаша накопившихся, – под водой* [«Жизнь прожить»: 313]; *На памятнике, сделанном в виде развернутой книги, на одной странице <...> было крупно выбито: «Незабвенной Елене Денисовне – Дон Кишоту наших дней»* [«Мною рожденный»: 389]. Надгробие, возвышающееся над могилой главной героини в последнем примере, дополняется эпитафией: *На другой странице золотая лавровая веточка. Ниже – красивым витым почерком писана эпитафия, старательно подобранная самим безутешным вдовцом...* [Там же]. Прилагательное *надгробный* получает в контексте обобщенный характер, так как имеется в виду целый ряд знаков: *На севере все зарастает медленно, зато могилы теряются быстро – изопревшие в сырости надгробные знаки выталкивает мерзлотой* [«Тельняшка с Тихого океана»: 187].

Военные действия, о которых рассказывает главный герой повести «Веселый солдат», происходят вблизи города. Когда они заканчиваются, солдаты и мирное население получают возможность похоронить погибших должным образом. Поэтому умерших не только погребают на кладбище, но и отмечают могилы знаками: *На ровненском кладбище большая территория была заселена свежими могилами. Пирамидки в отдалении уже смыкались в такой голый, срубленный лесок, на пеньки которого воткнуты стандартные железные звездочки* [«Веселый солдат»: 88]. В романе «Прокляты и убиты», несмотря на описание кровопролитных боев, ненависть к врагу, в авторском повествовании сквозит уважение к немцам за должное отношение к убитым

соотечественникам: *Чужеземцы – не какие-нибудь красные нехристи – связали обрывками провода две палочки, водрузили на братской могиле крест <...> так и просвечивало сквозь кусты над Черевинкой <...> древний **намогильный** знак, пусть жалкий, пусть временный, но заставлял он людей почтительно притихнуть возле могилы, поклониться тем, кто еще не забыл Бога [«Прокляты и убиты»: 630]. Русские солдаты в романе «Прокляты и убиты» чаще всего не имеют возможности ни хоронить, ни отмечать места захоронений особыми знаками. Это наглядно подтверждается следующим высказыванием: – *Робяты! Откуль это покойником-то прет, аж до тошноты <...> – Хоронили мы <...> – А-а, ну Царствие имя Небесное <...> Как собак, без креста, без поминанья, побросали в яму. – Финифатьев всхлипнул [Там же: 587].**

Подобно единицам предыдущих разрядов, лексемы, вербализующие представление о знаках памяти на местах захоронений, в повествованиях о войне представлены меньшим числом по сравнению с употреблением в группе единиц, изображающих смерть не на войне (9 и 34 употребления соответственно), что закономерно, так как напрямую зависит от обстановки, в которой наступает смерть человека.

Четвертая подгруппа состоит из единиц, актуализирующих представления об обрядах, традициях, действиях, совершаемых после смерти кого-либо. Она также объединяет несколько разрядов.

- ***Разряд процессуальных единиц с дифференциальной семой ‘совершать обряды, традиции, действия, ставшие следствием прекращения жизнедеятельности кого-л.’*** Его представляют нейтральные отглагольные существительные *поминки, поминовение, похороны*; глаголы *помянуть, хоронить/похоронить*; причастие *похороненный*; ФЕ *предать земле кого*. В этом же разряде размещаются стилистически окрашенные слова (офиц. *захоронить*, прост. *схоронить, схоронивший*, укр. *ховать* ‘хоронить кого-л.’) и слова с окказиональным значением (глаголы *закапывать/закопать* ‘то же, что хоронить/похоронить’, *зарывать/зарыть* ‘то же, что хоронить/похоронить’,

захоранивать ‘закапывать в землю тело умершего’); причастие закопанный (‘похороненный’) – всего 15 вербализаторов.

Префиксы за-, с- (закопать, зарыть, захоронить, схоронить и др.) позволяют большинству единиц этого разряда выражать дополнительное значение результата действия. К данному разряду примыкает диалектное существительное *сороковины* с общей семой ‘обряд, связанный с прекращением жизнедеятельности кого-л.’.

• **Разряд признаков единиц с дифференциальной сложной семой ‘такой, который характеризует обряды, традиции, действия, ставшие следствиями прекращения жизнедеятельности кого-л.’.** Он включает нейтральные прилагательные *погребальный, поминальный, похоронный, посмертный*, прилагательное с окказиональным значением *траурный* ‘характеризующий торжественную скорбную речь по поводу чьей-л. смерти’. К этому разряду примыкает модальный устаревший оборот *на помин души* с дифференциальной семой ‘в память об умершем, в честь покойного’.

Смерть человека предполагает определенные действия живых, в которых воплощаются какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции. В. П. Астафьев, касаясь темы смерти в мирное время, постоянно сопровождает ее темой русской обрядовости по отношению к умершим. Так, определенные действия в отношении покойного и после его погребения содержатся в употреблениях лексем *захоронить, погребальный, поминальный, поминки, помянуть, похоронный, похороны, хоронить/похоронить*: *Но с музыкой хоронили мало кого...* [«Веселый солдат»: 223]; *Они нас приютили. Мы их скоро и похоронили* [«Мною рожденный»: 377]; *Когда слезы матери со звуком бились о тарелки <...> мать Людочки роняла: «Извините!.. Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте»...* [«Людочка»: 423]; *Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии...* [«Печальный детектив»: 44]. В следующем примере при помощи контекстного сопроводителя дело прилагательное *погребальный* дает представление о похоронах как об определенной работе: *...Брыкин первый подставился под изголовье гроба*

плечом и во время похорон помогал делать **погребальное** дело толково... [«Прокляты и убиты»: 740-741]; *Генералы-таймени* <...> сгоняли рылом и хвостом в кучи оцепеневших рыбок и горстями пожирали их. А вокруг пошакальи действовали, шустрили <...> окуни, ерши, ленки <...> Щука-подкоряжница <...> трясла головой: «Что дееется! Что дееется! **Форменное изменишество** <...> Хаптурой это при моей прабабке называлось – **поминальной** едой, где всякому дармоеду раздолье» [«Ельчик-бельчик»: 338]. Последний пример, в котором лишь происходит сравнение с интересующим нас предметом, подчеркивает очень важную черту обряда поминок: на них обычно кормят всех, кто пришел, независимо от того, знал пришедший покойного или нет. Обряд похорон предполагает присутствие всех родственников, друзей, сослуживцев и т. п. умершего, что сигнализирует об уважении к покойнику: «А так ли прошли мои годы? А сколько осталось прожить? А много ли будет народу, когда понесут **хоронить**?» [«Тельняшка с Тихого океана»: 186]; *Все дети съехались на похороны, даже и невестки, и зятья съехались, и дальние родственники пришли-приехали...* [«Печальный детектив»: 47]. Однако у В. П. Астафьева не всегда описывается именно такое отношение к похоронам. В рассказе «Людочка» на протяжении всего повествования главная героиня живет в обстановке, когда никому до нее нет дела, никто, включая мать, не хочет вникать ни в ее беды, ни в ее проблемы. Такое положение дел наблюдается и после смерти Людочки: *Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались, и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки* [«Людочка»: 422]. Иногда в повествовании В. П. Астафьева из обряда похорон исключаются некоторые составляющие: **Поминок по девочке не было. Ничего не было. Даже хлеба на ужин не осталось** [«Веселый солдат»: 190]. Повесть «Веселый солдат» рассказывает о тяжелой послевоенной жизни молодой семьи в условиях нищеты, голода, необустроенности. Провести обряд как положено в данном случае не позволяют материальные возможности героев. Видимо, по той же причине автор не употребляет для этой ситуации глагол *похоронить* с его значением,

осложненным семей 'обычно с соблюдением принятых обрядов', а заменяет его глаголом *зарыть*: *Когда зарыли девочку в землю, Семен Агафонович... сказал: – Ну вот, Калерия, Вася и Лидочка при месте... [Там же: 190].*

Единожды употребляются слова *поминки* и *поминовение* в романе «Прокляты и убиты», причем в одной и той же сцене: *...она вмиг улетучилась на прежние позиции, в полуразбитую хату, где по приказу командира полка на сбитых в виде стола плахах был накрыт торжественный обед в честь благополучного возвращения с того света и одновременно – поминовение павших [«Прокляты и убиты»: 731]; Бескапустин выслал Барышникова за своим комбатом, и когда тот сказал давнему другу про коллектив <...> и про поминки, Щусь <...> двинулся в расположение штаба [Там же: 731].* Здесь поминовение погибших является лишь случайно выпавшей возможностью, дополнением к основной причине торжественного обеда. Также один раз употребляется сверхсловная языковая единица *на помин души*, но, скорее, в ироническом ключе: *Вместе с домашним адресом хранилась в пистончике престранная бумага-расписка: «Дана бойцу первой роты Булдакову А. Г. в том, что он оставил на сохранение 1 (одну) пару сапог <...> Если же Булдаков А. Г. не вернется по какой-то причине назад – сапоги продать и пропить на помин души [Там же: 716].*

Наряду со словами *поминки*, *хоронить/похоронить* употребляются лексемы *закопать/закапывать*, *сороковины*, *схоронить*, *схоронивший*: *Капитан во время прощания с покойной женой бился головой о стену <...> Через совсем короткое время, сороковины не справив, товарищ капитан, сделав разведбросок в город Ростов, вернулся за манатками, забрал все, не оставив даже лоскутка на пеленки сыну [«Веселый солдат»: 184-185]; Закопали брата Сергея <...> на родном на анисейском берегу [«Жизнь прожить»: 304]; ...всеми брошенный, больной, он только у своей средней сестры и найдет отзыв, только она ему и поможет чем может, и схоронит его... [«Веселый солдат»: 214] и др. Сюда же примыкает и глагол *ховать*, использованный В. П. Астафьевым для стилизации украинской речи: – *Такэ молодюсэнькэ, такэ**

нижнэ ж хлопчишко було. Романы читав <...> Колы ховалы того охвицэра-хлопца, уси плакали [«Прокляты и убиты»: 42].

В. П. Астафьев, затрагивая тему похоронного обряда на войне, четко разграничивает «достойных» и «недостойных» его. Настоящие похороны совершается только после смерти каких-либо важных военных чинов, простые же солдаты хоронятся без всяких церемоний. Такое противопоставление наглядно проступает в одной из сцен романа «Прокляты и убиты»: *На правом берегу реки <...> конскими и ручными граблями, вилами, крючьями, лопатами, на волокушах, на носилках... свозили, стаскивали под яр, сплошь избитый, осыпанный, останки солдат, кости, тряпки, осклизлые части тела <...> в большие неглубокие ямы <...> На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии* [«Прокляты и убиты»: 737]. Похороны Мусенка также сопровождаются торжественным митингом, соответствующее направление которому задает прилагательное *траурный*: *Над рекой вырос холм с ворохом венков <...> вознесся временный, пока еще деревянный, обелиск с золотом писанными на нем словами, теми самыми, которые произносились на **траурном** митинге...* [Там же: 741].

При употреблении В. П. Астафьевым вышеназванных единиц в повествовании о войне обычно утрачивается одна из важных составляющих их значения – сема ‘обычно с соблюдением принятых обрядов’ (которая более свойственна группе единиц, описывающих смерть в мирной жизни). То есть на войне погребение кого-либо становится просто процессом закапывания его в землю: *Генерал <...> улыбнулся: – Раз шутите, значит, дальше будем воевать. Только у меня просьба к вам большая, товарищи. Понимаю, устали, но помогите населению убрать и **похоронить** трупы* [«Жизнь прожить»: 292]; *Но что бы ни свершалось со мной, с людьми, с миром, тот убитый и **похороненный** мной на картофельном поле человек неотступно будет следовать за мной...* [«Веселый солдат»: 98]; *Саперы, посланные вытаскивать трупы из воды и **захоранивать** их, с работой не справлялись...* [«Прокляты и убиты»: 661]. С одной стороны, живые стараются дать телу мертвого

успокоение (по религиозным обрядам). Об этом ярко свидетельствует употребление процессуальной сверхсловной единицы *передать земле кого*: *За рекой же продолжалось сгребание обезображенных трупов <...> однако многих и многих павших на Великокриницком плацдарме так и не удалось найти по оврагам, передать земле* [«Прокляты и убиты»: 741]. С другой стороны (в большей степени), захоронение трупов необходимо, чтобы не было разного рода эпидемий среди оставшихся в живых.

Список вербализаторов этой подгруппы весьма разнообразен даже в повествовании о войне, но количество их употреблений здесь, учитывая большой фактор смертности на войне, меньше по сравнению с употреблениями, описывающими смерть в мирное время (42 и 52 употребления соответственно). Это связано с тем, что на войне, непосредственно в местах боевых действий, нет места и времени для соблюдения обрядов, даже погребальных.

III. Единицы, манифестирующие представления о статусе кого-либо, возникающем вследствие прекращения чьей-л. жизнедеятельности и перехода из состояния бытия в состояние небытия (27 лексем). Здесь выделяются 4 подгруппы, объединенные дифференциальными семами.

Первая подгруппа состоит из предметных единиц с дифференциальной семой ‘статус кого-л. как следствие прекращения его жизнедеятельности’ – нейтральных существительных *мертвец, покойник* ‘умерший, мертвый человек, мертвец’; ‘тот, кто умер (как лицо, о котором вспоминают, упоминают)’, *покойный* (субстантиват), *убиенный* (субстантиват ‘лишенный жизни’), *убитый* (субстантиват), *умерший* (субстантиват), *умирающий* (субстантиват), *утопленник, утопленница*. Сюда же входят стилистически окрашенные слова – разг. *покойница* (у В. П. Астафьева также о животном), *покойничек* ‘тот, кто умер’, прост. *удавленник*, обл. *упокойник* ‘то же, что покойник’, устар. высок. *усопший* (субстантиват) – всего 14 единиц.

Единицы, входящие в данную подгруппу, с помощью различных словообразовательных суффиксов (-ец/-иц-, -ик: *мертвец, покойник, удавленник, утопленница* и др.) выражают значение лица, которое прекратило

жизнедеятельность и перешло из состояния бытия в состояние небытия. Причем, некоторые лексемы дают указание на причину смерти: а) вследствие убийства (*убиенный, убитый*), б) вследствие удушения (*удавленник*), в) вследствие взаимодействия с водой (*утопленник, утопленница*). Значение лица имеют и образованные безаффиксным способом – субстантивацией – слова *покойный, убиенный, умерший, усопший* и др.

В творчестве В. П. Астафьева 1980-1990-х гг. часто употребляются единицы, указывающие на статус того, кто умер: *Покойников у нас всегда жалели и любили больше, чем живых* [«Мною рожденный»: 388]; *Месяц назад <...> привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко...* [«Печальный детектив»: 41]; *И уж самый жуткий слух – будто бы у одного из покойников оказались отрезаны ягодицы...* [«Прокляты и убиты»: 285]; *Лешка косил взгляд на убитого им врага, которого по счету – он не помнил, потому как, ставши покойником, немец делается обыкновенным мертвецом, единицей для военных отчетов* [Там же: 552]; *Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих давно опочивших, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла?* [Там же: 42]. В следующем примере, изображая не похороненного умершего человека, В. П. Астафьев осложняет лексему *покойник* словом *сирота*: *Несколько дней, сколько – никто не помнил, лежал сирота-покойник <...> в новом костюме...* [Там же: 42], где компонент *сирота* подчеркивает, во-первых, одиночество, во-вторых, отсутствие приюта у умершего. Синоним лексемы *покойник* – областное слово *упокойник*, имеющее просторечную окраску, дважды встречается в речи деревенского жителя – Ивана Тихоновича Заплатаина: *Через неделю их самих из ямины, из камней вытащило и на косу выбросило. Воронье над косой забаламутилось и указало упокойников...* [«Жизнь прожить»: 306]; *Уж пуцай бы жили Костинтин с Борькой. Пуцай бы пили... только чтоб не одному в голой избушке, кругом упокойниками обступленной...* [Там же: 306]. Существительное *упокойник*, по всей

вероятности, было образовано от устаревшего глагола *упокоиться* ‘умереть’ [Ожегов 2002: 835].

Знаменательно, что слово *усопший* трижды употребляется в романе «Прокляты и убиты» в составе интертекстемы-молитвы, например: «*Упокой, Господи, души усопших раб Своих <...> и прости им все согрешения, вольные и невольные...*» [«Прокляты и убиты»: 90]; «*Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый <...> упокой души усопших раб Твоих, Еремея и Сергея...*» [Там же: 208]. В молитвенные тексты входит и лексема *новопреставленный*: «*...Помяни, Господи, новопреставленных рабов Божиих Еремея и Сергея и даруй им Царствие Небесное*» [Там же: 208]. Вообще, молитвы присутствуют в романе «Прокляты и убиты» с первых страниц повествования. Сначала В. П. Астафьев вкрапляет их отрывки в описание быта солдат в запасном полку. Молитвы звучат из уст старообрядцев – людей, держащихся особняком и живущих по божьим законам. В первой книге романа постоянно идет борьба между божескими/человеческими и партийными установками. Но чем дольше живут люди в запасном полку, чем больше они страдают, тем чаще им хочется отступить от установок коммунистической партии и, слушая молитвы Коли Рындина, спастись ими от ужасов окружающей их жизни: болезней и смертей парней от нечеловеческих условий, голода и холода, тупоголовости многих командиров и политагитаторов, обращающихся с людьми, как с «безрогим стадом», считающими себя вправе запинать до смерти болезненного, доходного рядового. Во второй книге романа, когда солдаты окажутся брошенными в самую горячую точку, перед смертельной опасностью, они не вспомнят ни одного лозунга, которые им вдалбливали те, кто остался в стороне от настоящих сражений. Каждый из них будет понимать, что здесь уповать можно только на Бога, и бойцы будут пытаться вспомнить хотя бы обрывок молитвы. Характерно в этом ключе высказывание одного из героев романа – Володи Яшкина: – *Они что, и на фронте будут молиться? – будто не слыша Яшкина, пошел в наступление комиссар. – Если успеют, – непременно взмолятся. Там раненые Боженьку да*

маменьку кличут. Но не политрука. И мертвенькие все сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сражение же крестик надевают... [«Прокляты и убиты»: 210].

Авторская ирония сквозит в одном из употреблений слова *покойница* в отношении собаки: *Когда умерла Булька и в генеральском доме поднялся стон и плач по покойнице, я, в утешение дорогой теще Нюсечке, принес ей сиамского котенка* [«Мною рожденный»: 386]. Любовь и огромное уважение к животному не мешали хозяйке выгнать девочку на улицу, а хозяину расстреливать людей по доносам. Лексема *покойничек* функционирует в качестве звания в тексте романа «Печальный детектив», где его получает молодой милиционер, которого запросто убил преступник: *...к кассе подошел молодой безоружный сотрудник милиции <...> «Ваши документы, гражданин...» Тот отвечает «Шшас!» Лезет за пазуху, вынает пистолет и в упор тремя выстрелами валит милиционера <...> Молодой же парень сразу получил вечное звание – покойничек...* [«Печальный детектив»: 89-90].

Лексеммы *убиенный, убитый, утопленник, утопленница* содержат указание на причину смерти: *...я начал видеть во сне совсем уж ошарашивающий кошмар, будто темной ночной порою, пробравшись на старое кладбище, раскопав могилу утопленницы-матери, рвал ее черную кожу и ел багрово-красное мясо...* [«Веселый солдат»: 235]. Примечательно, что словом *утопленник* в романе «Прокляты и убиты» называется не только утонувший человек (*Лешка <...> увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы, ничего не страшатся, садятся на все, что плывет по реке и расклевывают всплывших утопленников* – «Прокляты и убиты»: 504), но и человек, который тонул, но спасся (*– Э-эй, утопленник! Принимай бойца в гости! – крикнул наверху Финифатьев... – Там же: 518*).

В т о р а я п о д г р у п п а включает процессуальные единицы с дифференциальной семой ‘приобрести статус кого-л. вследствие прекращения чьей-л. жизнедеятельности’ – нейтральный глагол *овдоветь*, причастия *овдовевший, осиротевший*, а также стилистически окрашенные и авторские

образования – причастия *опочивший, поовдовевший* ‘ставший вдовцом’, *упокоенный* ‘умерший’, *усопший*.

Префикс *-о-* (*овдоветь, опочивший, осиротевший*) придает единицам этой подгруппы дополнительное значение результата действия; префиксы *по-*, *-у-* (*поовдовевший, упокоенный*) – длительно-интенсивного способа действия.

Третья подгруппа представлена нейтральными предметными единицами с дифференциальной семой ‘статус родственника как следствие прекращения чьей-л. жизнедеятельности’ – существительными *вдова, вдовец, сирота, сиротство*.

Четвертая подгруппа состоит из нейтральных призначных единиц с дифференциальной семой ‘характерный признак того, кто приобрел статус кого-л. вследствие прекращения чьей-л. жизнедеятельности’ – лексем *новопреставленный, сиротский*. Сложное прилагательное *новопреставленный* несет в значении дополнительную сему, указывающую на временную составляющую процесса, – ‘только что’.

Какой-либо статус, связанный со смертью кого-л., может принадлежать только самому близкому родственнику (мужу, жене, ребенку). Языковым узусом подобные отношения закреплены в нейтральных лексемах *вдова, вдовец, овдоветь, сирота, сиротский*, которые употребляются и в произведениях В. П. Астафьева 1980-1990-х гг.: *Ах, какой это был человек!.. – сжимая ладошками лицо и раскачиваясь из стороны в сторону, восторгалась бедная вдова* [«Веселый солдат»: 241]; *Крестная росла без отца – мать ее рано овдовела...* [«Веселый солдат»: 181]; «*В стране миллион сирот*» – из доклада Альберта Лиханова, ведающего Детским фондом, произнесенного на съезде депутатов десять лет назад [«Из тихого света»: 715]; *Попутно вспомнилось, что наиболее преданные сиротам и сиротскому делу бывают одинокие люди* [Там же: 715]; *Взять моего тезку, Александра Васильевича. Истаскал за собою по Европе, извел тучи русских мужиков <...> Русские вдовы и сироты до сих пор рукоплещут, Россия поклоняется светлой памяти*

полководца... [«Прокляты и убиты»: 327]; *Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед...* [«Людочка»: 407].

Зона ПВ концепта «Смерть» в творчестве В. П. Астафьева 1980-1990-х гг., включающая наименования с дополнительной семой, подчеркивающей следствия смерти, широко представлена единицами с предметной семантикой (существительными, субстантивированными словами, предметными ФЕ, ср. 82 из 133 единиц). Далее по убывающей следуют прилагательные (17), причастия (16), глаголы и процессуальные сверхсловные единицы (15). Преобладание в анализируемой зоне предметных слов и сверхсловных языковых единиц не случайно. Значения вербализаторов данной зоны актуализируют одну из составляющих фрейма *смерть* – результатив, которая логично проистекает из предыдущей составляющей этого фрейма – модификатора (изменяемости). Следствия смерти проявляются в возникновении в сценарии фрейма *смерть* определенных новых предметов (*гроб, звезда, катафалк, крест, памятник, саван* и др.), мест (*кладбище, крематорий, могильник, морг, яма* и др.), обрядов (*поминки, похороны, сороковины*). Отсюда налицо явное количественное преобладание подобных единиц: почти половина (64 из 133) слов и сверхсловных языковых единиц выделенной зоны ПВ концепта «Смерть» приходится на вторую группу, где объединяются единицы, манифестирующие представление о различных атрибутах, возникающих только после смерти кого-л. Вследствие смерти также возникает неизменяемый статус у лица, прекратившего жизнедеятельность и перешедшего из состояния бытия в состояние небытия (*мертвец, покойник, убитый, умерший* и др.), и у лица – родственника умершего (*вдова, вдовец, сирота*). Единицы, принадлежащие к другим частям речи (глаголы, прилагательные, причастия), в основном, сопровождают общий сценарий следствий процесса смерти (*хоронить, зарыть, закопать, схоронить* и др.) или характеризуют признак того, что названо в производящей основе слова (*закопанный, погребальный, поминальный, похоронный, траурный* и др.).

Единицы данной зоны включают производные слова, выражающие следующие основные словообразовательные значения: результата действия, длительно-интенсивного способа действия, лица, субъективно-оценочное уменьшительное, ласкательное значения. Одним из продуктивных способов словообразования для единиц описываемой зоны является субстантивация прилагательных и причастий.

Источники

Астафьев, В. П. Собрание сочинений : в 15 т. / В. П. Астафьев. – Красноярск : ПИК «Офсет», 1997. – Т. 9. Произведения 1980-х годов. Печальный детектив : роман. Рассказы. – С. 7 – 438.

Астафьев, В. П. Собрание сочинений : в 15 т. / В. П. Астафьев. – Красноярск : ПИК «Офсет», 1997. – Т. 10. Прокляты и убиты : роман. – С. 5 – 744.

Астафьев, В. П. Собрание сочинений : в 15 т. / В. П. Астафьев. – Красноярск : ПИК «Офсет», 1998. – Т. 13. Веселый солдат : повесть. – С. 5 – 242.

Астафьев, В. П. Собрание сочинений : в 15 т. / В. П. Астафьев. – Красноярск : ПИК «Офсет», 1998. – Т. 13. Из тихого света : попытка исповеди. – С. 707 – 728.

Литература

Bedford, C. H. The Seeker: D. S. Merezhkovskiy / C. H. Bedford. – Kansas, 1975. – 222 с.

Rosenthal, B. G. Rosenthal, Dmitri Sergeevich Merezhkovsky and the Silver Age: The development of a revolutionary mentality / B. G. – The Hague, 1975.

Алефиренко, Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Academia, 2002. – 394 с.

Алимушкина, О. А. Экспериментальное исследование результатов категоризации и концептуализации / О. А. Алимушкина // Очерки гуманитарных исследований. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. – Вып. 1. – С. 5-12.

Асмус, В. Ф. Примечания к диалогу «Государство» / В. Ф. Асмус // Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий. – М. : Мысль, 1999. – С. 529-560.

Баран, Х. Мережковский и журнал-газета «Меч» // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / Х. Баран. – М. : Наследие, 1999. – С. 178 – 197.

Белый, А. Мережковский. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М. : Республика, 1994. – 528 с.

Блюменкранц, М. А. Буревестник психоанализа / А. М. Блюменкранц // Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков : Изд-во «Фолио», 1998. – 1040 с.

Брюсов, В. Я. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней / В. Я. Брюсов. – М. : Книгоизд-во «Скорпион», 1912. – 214 с.

Васильев, Л. М. Современная лингвистическая семантика: учеб. пособие для вузов. / Л. М. Васильев. – М. : Высш. шк., 1990. – 176 с.

Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 1999. – 792 с.

Вендина, Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка / Т. И. Вендина – М.: Индрик, 2002. – 336 с.

Воркачев, С. Г. Концепт как «зонтиковый» термин / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация: сб. ст. – М. : МАКС Пресс, 2003. – Вып. 24. – С. 5-11.

Голомидова, М. В. Искусственная номинация в русской ономастике: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / М. В. Голомидова. – Екатеринбург, 1998. – 37 с.

Григорьева, О. Н. Цвет и запах власти. Лексика чувственного восприятия в публицистическом и художественном текстах / О. Н. Григорьева. – М. : Флинта; Наука, 2004. – 248 с.

- Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М.: Наука, 1984. – 527 с.
- Дзюба, Е. В. Концепты *жизнь* и *смерть* в поэзии М. Цветаевой : дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Дзюба. – Екатеринбург, 2001. – 255 с.
- Долинин, А. Д. Мережковский / А. Д. Долинин // Русская литература XX века. 1890–1910 / под ред. проф. С. А. Венгерова. – М., 1914. – Т. 1. – Кн. 3–4. – С. 295–356.
- Ермакова, О. П. Об иронии и метафоре / О. П. Ермакова // Облик слова. – М., 1997 – С. 48-57.
- Ермолаев, М. Загадки Мережковского // Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский. Вечные спутники / М. Ермолаев – М. : Республика, 1995. – С. 561–567.
- Есин, А. Б. Введение в культурологию: Основные понятия культурологии в систематическом изложении: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Б. Есин. – М.: Академия, 1999. – 216 с.
- Жолковский, А. Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) / А. Жолковский. – <http://www.ka2.ru/nauka/limonov.html>.
- Задражилова, М. Символизированное пространство в исторической прозе Мережковского // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / М. Задражилова – М. : Наследие, 1999. – С. 150–163.
- Залевская, А. А. Национально-культурная специфика картины мира и различные подходы к ее исследованию / А. А. Залевская // Языковое сознание и образ мира: сб. ст. – М. : Ин-т языкознания РАН, 2000. – С. 38-54.
- Зеньковский, В. В. История русской философии / В. В. Зеньковский. – Харьков : Фолио ; М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 895 с.
- Зимин, В. И. Синхронная этимология фразеологизмов, пословиц и поговорок / В. И. Зимин // Рус. Словесность. – 2003. – № 4. – С. 55 – 59.
- Иванов-Разумник, Р. В. Мертвое мастерство // Иванов-Разумник Р. В. Творчество и критика / Р.В. Иванов-Разумник. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 110–179.
- Ильев, С. П. Эволюция мифа о Петербурге в романах Дмитрия Мережковского («Петр и Алексей») и Андрея Белого («Петербург») // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / С. П. Ильев. – М. : Наследие, 1999. – С. 56 – 71.
- Ильин, И. А. Творчество Мережковского // Москва / И. А. Ильин. – № 8 – 1990. – С. 187–197.
- Калакуцкая, Л. П. Имена собственные в орфографическом словаре русского языка и в других лингвистических словарях / Л. П. Калакуцкая // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 59-75.

- Кнабе, Г. С. Изменчивое отношение двух постоянных характеристик человека / Г. С. Кнабе // Одиссей. – М. : Наука, 1990. – С. 10-12.
- Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика: Учебник / И. М. Кобозева – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.
- Козловский, Л. Д. С. Мережковский как художник и мыслитель // Жизнь для всех / Л. Д. Козловский. – № 8 – 1910. – 120 с.; № 9. – 147 с.
- Колобаева, Л. А. Мережковский-романист // Известия АН СССР. Серия литературы и языка / Л. Д. Колобаева. – 1991. – Т. 50. – № 5. – С. 445–453.
- Колобаева, Л. А. Тотальное единство художественного мира (Мережковский – романист) // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / Л. Д. Колобаева. – М. : Наследие, 1999. – С. 5 – 18.
- Колокольцева, Т. Н. Генерализующий концепт «солнце» в идиостиле К. Бальмонта / Т. Н. Колокольцева // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста : матер. междунар. симпозиума : в 2 ч. – Волгоград : Перемена, 2003. – Ч. 2. – С. 242 – 245.
- Кондаков, И. В. К феноменологии «грядущего хамства» // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / И. В. Кондаков. – М. : Наследие, 1999. – С. 150 – 163.
- Кондаков, И. В. Культурология: история культуры России: Курс лекций / И. В. Кондаков. – М. : ИКФ Омега-Л, Высш. шк., 2003. – 432 с.
- Корецкая, И. В. «Грядущий хам» Д. С. Мережковского: текст и контекст // Мережковский Д. С. Мысль и слово / И. В. Корецкая. – М. : Наследие, 1999. – С. 136 – 149.
- Красных, В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология : Курс лекций / В. В. Красных. – М. : ТТДГК «Гнозис», 2002. – 284 с.
- Краюткин,¹ Ф. А. Фридрих Ницше: Антагонизм культуры и государства / Ф. А. Краюткин. – <http://www.lebed.com/2003/art3472.htm>.
- Краюткин,² Ф. А. Философские основы политического учения Ф. Ницше / Ф. А. Краюткин. – <http://www.nietzsche.ru/read-204.php>.
- Краюткин,³ Ф. А. Фридрих Ницше. Критика просветительской концепции / Ф. А. Краюткин. – <http://www.lebed.com/2003/art3518.htm>.
- Лихачёв, Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1967. – 372 с.
- Лихачёв, Д. С. Развитие русской литературы X–XI веков: Эпохи и стили / Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1973. – 265 с.
- Лосский, Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский.– М. : Сов. писатель, 1991. – 476 с.

Лукашевич, Е. В. Моделирование концепта: психолингвистический аспект / Е. В. Лукашевич // Языковое бытие человека и этноса: психолингвистический и когнитивный аспекты: сб. ст. / под общ. ред. В. А. Пищальниковой. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. – С. 126-131.

Макарий (С. Булгаков), митрополит. История русской церкви / Макарий. – СПб., 1883. – Т. VI-VII; Репринт. – М. : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. – Т. VI. – 766 с.; Т. VII. – 671 с.

Микешина, Л. А. Трансцендентальные измерения гуманитарного знания / Л. А. Микешина // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С. 49-65.

Мильдон, В. И. История и утопия как типы сознания / В. И. Мильдон // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С. 15-24.

Можейко, М. А. Языковые игры / М. А. Можейко // Постмодернизм. Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов. – М. : Интерсервис; Книжный дом, 2001. – С. 1023-1025.

Мордовцев, Д. Самозванцы и понизовая вольница / Д. Мордовцев. – СПб., 1886. – Т. 1. – С. 115 – 307.

Низова, И. И. К проблеме художественной рефлексии Мережковского и Мандельштама // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / И. И. Низова. – М. : Наследие, 1999. – С. 280- 301.

Никитина, С. Е. Устная народная культура и языковое сознание / С. Е. Никитина. – М. : Наука, 1993. – 189 с.

Овчаренко, А. И. От Горького до Шукшина / А. И. Овчаренко – М. : Сов. Россия, 1984. – 432 с.

Осипова, А. А. Структура ядерной и окооядерных зон поля вербализаторов концепта «Смерть» в творчестве В. П. Астафьева 1980-1990-х гг. / А. А. Осипова // Виноградовские чтения-2005 : матер. всерос. науч.-пр. конф. – Тобольск : ТГПИ им. Д. И. Менделеева, 2005. – С. 121 – 123.

Панина М. А. Комическое и языковые средства его выражения. – Автореф. к.ф.н. – М. : МГУ, 1996 – 20 с.

Панченко, А. М. О цвете в древней литературе восточных и южных славян / А. М. Панченко // Труды отдела древнерусской литературы, 1968. –Т. 23. – С. 3-15.

Пахмусс, Т. Д. С. Мережковский в эмиграции: романы-биографии и сценарии // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / Т. Пахмусс. – М. : Наследие, 1999. – С. 72-81.

Петров, В. В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы / В. В. Петров // Вопросы языкознания. – 1988. – № 2. – С. 39-48.

- Поварцов, С. Возвращение Мережковского // Мережковский Д. С. Акрополь: Избр. лит.-критич. статьи / С. Поварцов. – М. : Кн. палата, 1991. – С. 337-350.
- Полонский, В. В. «Наполеон» Мережковского: к вопросу о типологии биографического жанра в XX веке // Д. С. Мережковский: Мысль и слово В. В. Полонский. – М. : Наследие, 1999. – С. 89-105.
- Попова, З. Д. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку / З. Д. Попова, И. А. Стернин // Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – Волгоград : Парадигма, 2005. – Т. 1. – С. 7–10.
- Попова, З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З. Д. Попова, И. А. Стернин – Воронеж : Истоки, 2001. – 191 с.
- Постовалова, В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников и др. – М. : Наука, 1988. – С. 8–69.
- Приходько, И. С. «Вечные спутники» Мережковского (к проблеме мифологизации культуры) // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / И. С. Приходько. – М. : Наследие, 1999. – С. 198 – 206.
- Пятнадцать встреч в Останкине / Сост. Т. Земскова. – М. : Политиздт, 1989. – 303 с.
- Рудич, В. Дмитрий Мережковский // История русской литературы: XX век: Серебряный век / В. Рудич. – М. : Изд. группа «Прогресс» – «Литера», 1995. – С. 214–225.
- Рузин, И. Г. Когнитивные стратегии именованя: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке / И. Г. Рузин // Вопросы языкознания. – 1996. – № 6. – С. 79 – 101.
- Руткевич, А. Миф о герое. Предисловие к книге Р. Дадуна «Фрейд» / А. Руткевич // Дадун Р. Фрейд. – М. : Изд-во АО «Х.Г.С.», 1994. – С. 7-22.
- Руткевич, А. М. Вступительная статья к публикации книги З. Фрейда «Недовольство в культуре» / А. М. Руткевич // Философские науки. – 1989. – № 1. – С. 89-92.
- Свасьян К. А. Фридрих Ницше: мученик познания / К. А. Свасьян // Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. Литературные памятники. – М. : Мысль, 1990. – С. 5-46.
- Свасьян, К. А. Хроника жизни Ницше / К. А. Свасьян // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – М. : Мысль, 1990. – 820 с.
- Семенова, А. Л. Роман Е. Замятина «Мы» и «Государство» Платона / А. Л. Семенова // Русская литература. – 1999. – № 3. – С. 175-184.
- Серио, П. Анализ дискурса во французской школе (Дискурс и интердискурс) / П. Серио // Семиотика: антология / Сост. Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – С. 549-562.

- Слободнюк, С. Л. «Дьяволы» «Серебряного» века. (Древний гностицизм и русская литература 1890–1930 гг.) / С. Л. Слободнюк. – СПб. : Алетейя, 1998. – 425 с.
- Соборное Уложение 1649 года. Текст и комментарии. – Л. : Наука. Ленингр. отд., 1987. – 448 с.
- Три века русской литературы. Актуальные аспекты изучения: межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. О. Ю. Юрьевой. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2003. – Вып. 2. – 200 с.
- Усок, И. Е. «Ночное светило русской поэзии» (Мережковский о Лермонтове) // Д. С. Мережковский: Мысль и слово / И. Е. Усок. – М. : Наследие, 1999. – С. 258 – 273.
- Успенский, Б. А. История русского литературного языка (XI – XVII вв.) / Б. А. Успенский. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 560 с.
- Федотов, Г. П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам) / Г. П. Федотов. – М. : Прогресс, Гнозис, 1991. – 192 с.
- Филатов, М. Ф. Иван Неронов. Пора становления / М. Ф. Филатов // Труды отдела древнерусской литературы. – Т. XLVIII. – СПб., 1993. – С. 319-322.
- Фромм, Э. Миссия Зигмунда Фрейда. Анализ его личности и влияния / Э. Фромм. – М. : Весь мир, 1996. – 144 с.
- Хомская, Е. Д. Мозг и эмоции (нейропсихологическое исследование) / Е. Д. Хомская, Н. Я. Батова. – М. : МГУ, 1992. – С. 6–67.
- Хронология. – <http://www.ortho-rus.ru/titles/hronology.htm>
- Цейтлин, Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. / Р. М. Цейтлин. – М. : Наука, 1977. – 336 с.
- Чуковский, К. Д. С. Мережковский // От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики / К. И. Чуковский. – СПб.; М., 1908. – С. 183-200.
- Чурилина, Л. Н. Лексическая структура художественного текста: принципы антропоцентрического исследования: монография / Л. Н. Чурилина. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 283 с.
- Шестак, Л. А. Фреймовая семантика языка и текста / Л. А. Шестак // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста : матер. междунар. симпозиума : в 2 ч. – Ч. 1. Науч. статьи. – Волгоград : Перемена, 2003. – С. 163–171.
- Щеглова, Л. В. (В. А. Щ.). Мережковский. Публичная лекция, прочитанная в феврале 1909 г. в С.-Петербурге, в зале Соляного Городка / Л. В. Щеглова. – СПб., 1910. – 43 с.
- Юрьева, О. Ю. Мимесис: Достоевский и русская литература начала XX столетия / О. Ю. Юрьева // Три века русской литературы. Актуальные аспекты изучения: межвуз. сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2003. – Вып. 2. – С. 20-48.

Словари

Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : «Сов. энци.», 1966 – 605 с.

БРЭ: Большая российская энциклопедия. Россия. – М. : Большая Росс. энциклопедия, 2004. – 1007 с.

БРЭС: Большой российский энциклопедический словарь. – М. : Большая Росс. энциклопедия, 2006. – 1887 с.

БСКС: Берков, В. П. Большой словарь крылатых слов русского языка: Около 4000 единиц / В. П. Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. – М. : изд-во «Рус. словари», ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2000. – 624 с.

БСЭ: Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 22: Ремень - Сафи / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд-е 3-е. – М. : Сов. энциклопедия, 1975. – 628 с.

БТС: Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.

Даль: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. – М. : Рус. яз., 1989 – 1991.

Квятковский, А. П. Поэтический словарь / А. П. Квятковский. – М. : «Сов. энци.», 1966. – 376 с.

Книга: Энциклопедия / редкол. И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. – М. : Большая Росс. энциклопедия, 1998. – 800 с.

Краткая Российская энциклопедия: в 3 т. Т. 3 : Р-Я / сост. В. М. Карев. – М. : Большая Росс. энциклопедия: ООО «Издат. дом ОНИКС 21 век», 2003. – 1134 с.

Краткий психологический словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 506 с.

КСКТ: Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – М. : МГУ, 1996. – 248 с.

Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1. — СПб. : Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. – 447 с.

Левашов, Е. А. Географические названия. Словарь-справочник / Е. А. Левашов. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. – 602 с.

Малый энциклопедический словарь : в 4 т. Т. 4 / Репринтн. воспроизведение издания Брокгауза–Ефрона. – М. : ТЕРРА, 1994. – 1596 с.

МАС: Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. – М. : Рус. яз., 1985 – 1988.

Мокиенко, В. М. Толковый словарь языка Совдепии / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – СПб. : Фолио-Пресс, 1998. – 505 с.

- НовЭС*: Новейший энциклопедический словарь. – М. : ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 1172 с.
- НФС*: Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицианов. – Мн. : изд-во В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
- НЭС*: Новый энциклопедический словарь. – М. : Большая Российская энциклопедия, РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 1456 с.
- Овсянников, М. Ф. Краткий словарь по эстетике. Книга для учителя / М. Ф. Овсянников. – М. : Просвещение, 1983. – 223 с.
- Отечество. История, люди, регионы России: Энциклопедический словарь / сост. А. П. Горкин, В. М. Карев. – М. : Большая Росс. энциклопедия, 1999. – 795 с.
- Перспект*: Фразеологический словарь старославянского языка : более 4000 единиц. Перспект / под ред. С. Г. Шулежковой. – М.; Магнитогорск : ООО «Издательство ЭЛПИС»; Магнитогорск. гос. ун-т, 2006. – 340 с.
- Репкин, В. В. Учебный словарь русского языка: Учебное пособие для 2-9 классов / В. В. Репкин. – Томск : Пеленг, 1994. – 654 с.
- Российская цивилизация: Этнокультурный и духовный аспект: Энциклопедический словарь / ред. кол. М. П. Мчедлов и др. – М. : Республика, 2001. – 544 с.
- Россия. Энциклопедический словарь. – Л. : Лениздат, 1991. – 922 с.
- РСС*: Русский семантический словарь / Ю. Н. Караулов [и др.]; под ред. С. Г. Бархударова. – М. : Наука, 1983. – 564 с.
- Св. Русь¹*: Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское государство / гл. ред. и сост. О. А. Платонов. – М. : Православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2002. – 941 с.
- Св. Русь²*: Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации / сост. О. А. Платонов. – М. : Православное изд-во «Энциклопедия русской цивилизации», 2000. – 1037 с.
- СИЭ*: Советская историческая энциклопедия: в 16 т. Т.12: Р-С. / гл. ред. Е. М. Жуков – М. : Сов. энциклопедия, 1969. – 976 с.
- Скляревская*: Толковый словарь русского языка начала XXI в. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. Скляревской. – М. : Эксмо, 2006. – 1131 с.
- Сл. др.-р. яз. XI–XIV*: Словарь древнерусского языка XI – XIV вв. : в 10-ти т. / АН СССР. Ин-т рус. яз. (Андрианова и др.) Гл. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Рус. яз., 1987 – 2004 (изд-е продолжается).
- СОШ*: Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская Академия наук. Ин-т рус. яз. им.

В. В. Виноградова / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 2002. – 944 с.

СРЯ XI–XVII: Словарь русского языка XI–XVII вв. – М. : Наука, 1975 – 2005. – Вып. 1 – 27 (изд-е продолжается).

СРЯ XVIII: Словарь русского языка XVIII в. / ред. кол. Ю. С. Сорокин, С. Г. Бархударов. – Т. 1 – 14. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1984 – 2004 (изд-е продолжается).

СС: Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка : практический справочник / З. Е. Александрова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1989. – 495 с.

Ст.-сл. сл. Цейтлин: Старославянский словарь (по рукописям X – XI вв.) / под ред. Р. М. Цейтлин и др. – М. : Рус. яз., 1994. – 842 с.

Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: изд. 2-е, испр. и доп. / Ю.С. Степанов – М. : Академический проект, 2001. – 990 с.

СЭС: Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. –1600 с.

УФС: Универсальный фразеологический словарь русского языка / под ред. Т. Волковой. – М. : Вече, 2001. – 464 с.

Харченко, В. К. Словарь богатств русского языка. Редкие слова, метафоры, цитаты и биографемы / В. К. Харченко. – Белгород : Изд-во Белгородского гос. ун-та, 2003. – 842 с.

Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. / ред. колл.: С. С. Аверинцев и др. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1993–1995.

Научное издание

Под ред. С. Г. Шулежковой

**ОТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
СРЕДНЕВЕКОВОГО СЛАВЯНИНА
К СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА**

Коллективная монография

Издается в авторской редакции

Регистрационный № 0250 от 27.07.2006 г. Подписано в печать 27.02.2008 г.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип № 1. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 10,00. Уч.-изд. л. 9,56. Тираж 200 экз. Заказ № 104.

Цена свободная.

Издательство Магнитогорского государственного университета

455038, Магнитогорск, пр. Ленина, 114

Типография МаГУ